



СУДЬБА, СУДЬБОЮ, О СУДЬБЕ...

Лиана Бреверн

СУДЬБА, СУДЬБОЮ, О СУДЬБЕ...

Лиана Бреверн





Книга переводчицы португальской и бразильской литературы, члена Союза писателей СССР и России Лилианы Бреверн – не просто органичное сплетение воспоминаний автора о своей жизни, семье, творчестве, многолетней работе в одном из крупнейших издательств страны. Это, прежде всего, летопись эпохи, биография целого поколения людей, ввергнутого в ужасы истории и сумевшего их преодолеть. Это не просто рассказ о родных и близких, коллегах и друзьях – это исповедь человека, прожившего необыкновенную жизнь и преданного своим корням, своим принципам, своему любимому делу – до самого конца.

ISBN 978-5-00087-008-2



9 785000 870082



Лилиана Бреверн

**СУДЬБА,
СУДЬБОЮ,
О СУДЬБЕ...**

Центр книги Рудомино
Москва 2014

УДК 821.161.1

ББК 84-4

Б 87

В оформлении переплета использована картина
Юрия Кафенгауза «Портрет жены» (1970 г.)

Дизайн — С.А. Виноградова

Бреверн, Лилиана

Б87 Судьба, судьбою, о судьбе... / Лилиана Бреверн. — М.: Центр
книги Рудомино, 2014. — 384 с.: илл.

ISBN 978-5-00087-008-2

Книга переводчицы португальской и бразильской литературы, члена Союза писателей СССР и России Лилианы Бреверн — не просто органичное сплетение воспоминаний автора о своей жизни, семье, творчестве, многолетней работе в одном из крупнейших издательств страны. Это, прежде всего, летопись эпохи, биография целого поколения людей, ввергнутого в ужасы истории и сумевшего их преодолеть. Это не просто рассказ о родных и близких, коллегах и друзьях — это исповедь человека, прожившего необыкновенную жизнь и преданного своим корням, своим принципам, своему любимому делу — до самого конца.

УДК 821.161.1

ББК 84-4

*Запрещается полное или частичное использование
и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах
без письменного разрешения правообладателя.*

ISBN 978-5-00087-008-2

© Л. Бреверн, автор, фотографии, 2014

© ООО «Центр книги Рудомино»,

издание на русском языке, оформление, 2014

Знатная фамилия,
полученная по наследству, —
это не только подарок судьбы,
но и большая ответственность.

Императив дворянина

Как всегда, в восемь вечера раздался телефонный звонок. Уже готовая услышать голос мужа и его обычные слова: «домываю кисти, одеваюсь и еду домой», (муж у меня художник) я, подняв трубку, вдруг услышала:

— Мадам Бреверн?

Акцент иностранца меня не удивил: мне часто звонят португальские корреспонденты: хотят узнать, что нового вышло в свет в моих переводах, какой роман или повесть у меня на столе и каковы мои планы на будущее. Правда, как правило, произнеся первые слова, они тут же переходят на португальский. Однако мужской голос продолжал по-русски:

— С вами говорит Жорж де... — И он назвал мою фамилию.

От неожиданности я онемела — и стала ждать, что последует дальше.

— Я гражданин Франции, но мои родители родом из России. И я очень хотел бы, если вы, конечно, сочтете возможным, поговорить с вами.

Обретя дар речи, я, по-моему даже с явным укором (у меня ведь в России даже тезок никогда не было и нет!), спросила:

— Уж не тот ли вы Жорж Бреверн, которому я десять лет назад, едучи в Париж в составе группы российских

писателей, отправила письмо на улицу Сент-Оноре в надежде на встречу, но ответа не получила?

— Нет, нет! Тот Бреверн, который жил на Сент-Оноре, насколько я знаю, давно умер. Я живу на бульваре Перейр. И знаком с Владимиром, вашим братом, ну и с его семьей, конечно, которую всегда навещаю, когда бываю в Москве.

Услышанное поразило меня нисколько не меньше, чем фамилия звонившего. С Владимиром и его семьей мы с мужем общались редко, но в случаях, подобных этому, ему следовало бы позвонить мне.

— Владимир, — продолжал он, почувствовав мое смятение, — рассказал мне прискорбную историю вашего отца!

Эти слова я пропустила мимо ушей, стараясь осознать происходящее и понять, чего же от меня хотят.

— Ваш брат очень похож... вернее, очень напоминает мне моего деда Николая. И я хочу сказать, что мы с вами, вполне возможно, родственники.

— Ну, по большому счету, мы все братья и сестры во Христе, не так ли? — ответила я, стараясь держать оборону.

— Так, так, но мы, возможно, близкие, даже очень близкие родственники. — Слово *близкие* он произнес подчеркнуто. — И ваш отец Эдуард Николаевич...

— Мой отец — Иоганнес Эдуард Николаевич...

— Да, да, я это узнал совсем недавно...

«Интересно, — подумала я, — откуда? Знакомство с Владимиром таких знаний дать не могло: у него одно отчество — Эдуардович».

— Так вот... Иоганнес Эдуард Николаевич Бреверн, похоже, помогал в начале тридцатых годов моему отцу, вернее нашей семье, выехать из России.

«О боже! Что это? Уж не мистификация ли?» — подумала я.

— Простите, вы сказали, что родились в Париже, но вы так хорошо говорите по-русски!

— По-русски меня, моих сестер и брата обучала русская бабушка с материнской стороны. Она хотела, чтобы мы не забыли язык своих русских предков. К тому же в Париже я окончил Школу живых восточных языков.

— А как вы нашли семью Владимира?

— Нет, семью Владимира я не находил, а меня находил, нашел, — поправился он, — сын Владимира, ваш племянник Андрей. Нашел, будучи в Париже, по парижской телефонной книге, и позвонил, и попросил о встрече.

— А как вы нашли меня? Неужели Владимир дал мой телефон?

— Нет, Владимир не дал ваш телефон, он о вас вообще не говорил ни слова.

«Похоже, он действительно знает Владимира», — подумала я.

— А вот Андрей, когда я его спросил, есть ли еще кто-нибудь из Бревернов в Москве, — сказал, что есть родная тетка, но мы с ее семьей почти не общаемся.

— Ну и как же вы нашли меня? Мистификация какая-то! — вырвалось у меня.

— Почему мистификация, Лилиана, если позволите так называть вас. Я нашел вас в Интернете.

— И что же там написано? — спросила я в изумлении.

И тут он прочел мне текст короткой справки, которую я сама давала о себе и своей литературной деятельности для Посольства Испании перед своей поездкой в 1999 году в Гранадский университет в составе группы испанистов.

— А-а, понятно, — сказала я, а про себя подумала: «Это несколько меняет дело». — И все же...

— Так вот, как я вам уже сказал, похоже, именно ваш отец помогал в начале тридцатых годов семье моего

отца Анатолия Николаевича Бреверна выехать из России.

— А-а... так вы Анатольевич?!

— Вы меня знаете?

— Да нет. Просто в нашем Дворянском собрании мне дали о вас кое-какие сведения на французском языке. Подождите минуту, сейчас открою записную книжку. Вот, пожалуйста: — Brevern Georges Anatolievich — chevalier de l'ordre du Mérite de la République Fédérale d'Allemagne, décoré de Naval Commendation Medaille (USA), né le 12.01/1943 à Paris, France. Nationalité Française. Relig. Orth. Diplôme d'Ecole Normale des langues Orientales Vivantes. Officier de Marine — Capitaine de Corvette. Madame Françoise Pavlovna. Boudet 16. Boulevard Perreire — 75017 Paris. France. Enfant: Alexandère (1972)¹. — прочла я ему по-французски и спросила: — Vous êtes d'accord?²

— Вы говорите по-французски? — удивился он. — В Интернете ваш французский не указан.

— Так я с ним не работаю.

— А в Дворянском собрании состоите?

— Нет, Бог миловал. Поначалу меня интересовал этот возродившийся институт России.

— Вот как!

— Ну а как же: царя и двора Его Величества нет, а Дворянское собрание есть. Шутка ли! И я, прихватив с собой кое-какие бумаги, отправилась на Знаменку в бывшее помещение Института марксизма-ленинизма, где,

¹ Бреверн Жорж Анатольевич — кавалер ордена «За заслуги» Федеративной Республики Германии, награжден медалью Военно-морского флота США, родился 12.01.1943 в Париже, Франция. Национальность — француз. Православный. Диплом Школы живых восточных языков. Военно-морской офицер — капитан судна. Женат. Франсуаза Павловна. Буда 16. Бульвар Перейр — 75017. Париж. Франция. Сын Александр (1972).

² Вы согласны? (фр.)

после известных вам событий, разместилось Дворянское собрание. Чего у нас в России только ни бывает!

— Да, это так! — подтвердил мой собеседник.

— Я-то думала, что уцелевшие у нас в России дворяне — явление штучное. — На другом конце провода Жорж хихикнул. — Так ничего подобного! В дурно пахнущем коридоре с обшарпанными стенами и висящими на них досками со всевозможными объявлениями, донельзя советскими, например: секция такая-то и такая-то, работа с детьми, взносы и т.д. и т.п., ну прямо как в Союзе писателей, Союзе художников или других подобных учреждениях, — толпились люди с хозяйственными сумками и даже чемоданами. На мой вопрос, у кого можно узнать, все потенциальные, как потом я поняла, дворяне дружно...

— Почему потенциальные? — спросил Жорж.

— Да потому что вроде бы абитуриенты, еще не принятые приемной комиссией этого нового института новой России, живущей по старым правилам.

— А-а, понятно.

— Так вот, потенциальные дворяне дружно ответили: «Вставайте в очередь. Мы все туда, куда и вы!» — «О-о, не перевелись, как вижу я, дворяне на советской земле!» — сказала я, улыбаясь, и тут же почувствовала обступившую меня со всех сторон враждебность. Время шло... Жорж, между прочим, оно и сейчас идет, и вам наш разговор обойдется в копейчку, точнее сказать, во франки.

— Ничего, ничего! Вы человек с юмором, мне приятно с вами разговаривать и очень интересно.

— Так вот, время шло, а очередь не двигалась. Кто-то стал возмущаться, кто-то — просить выделить еще кого-нибудь, раз один человек не справляется. Ну прямо как в обычном советском магазине, где что-то дают и чего-то может не хватить.

«Сегодня же канун старого Нового года!» — громко выкрикнул кто-то. Вам известно, Жорж, что мы справ-

ляем все: и старый Новый год, и Новый, и западное Рождество, и православное.

— Да, да, известно, — ответил он.

— И все-таки, Жорж, откуда вы звоните? Из Парижа? Мы ведь уже минут двадцать беседуем. Вы заплатите большие деньги.

— Нет, нет, не волнуйтесь, я звоню из Москвы, из гостиницы на Тверском бульваре... И потому — мы можем...

Но я его перебила:

— А где же это на Тверском бульваре гостиница? Что-то не припомню. Ну да бог с ней!

— И потому, — продолжил он, — мы можем беседовать сколь долго угодно.

— Сколь угодно долго, — поправила я его, — продолжая бесплатно пользоваться этим еще сохранившимся в нашей стране преимуществом социализма, так?

— Так, так! — подтвердил он, громко смеясь.

— Ну что ж, тогда я расскажу вам, чем завершился мой визит на Знаменку. Знаменка находится в центре старой Москвы, недалеко от Библиотеки имени Ленина.

— Знаю, знаю, но я не имел чести там бывать.

— Так вот, в Дворянском собрании мне прежде всего пришлось держать ответ перед некой старушенцией — специалистом по вопросам религии и церкви — так, во всяком случае, нам ее отрекомендовали. Сухонькая старушенция невзрачной наружности, задержав взгляд на моем имени, двух отчествах и фамилии, подняла на меня свои красноречиво вопрошавшие глаза. Поняв немой вопрос ее озабоченного взгляда, я поспешила успокоить ее: «Православная, православная, крещеная в церкви Николы в Хамовниках. (Кстати, в последнее время я в этом начала сомневаться.) Заповеди чту. В церкви не бываю».

Честно говоря, при теперешней бедности народа, в церкви меня очень раздражает обилие золота, пышные одежды, лоснящиеся холеные лица и тучность слу-

жителей Бога. Вполне возможно, во мне говорит генетически заложенный протестантизм отца, при том, что мать у меня православная. Умолчала я только о крепких руках этих служителей, которые, как нельзя кстати, сгодились бы сегодня на заводах, фабриках и поросших лютиками колхозных полях.

«Так, — сказала старушенция, — тогда у меня к вам еще один вопрос: скажите, а кто такой Христос?»

Видя мою растерянность, а, по сути, незащищенность перед воинствующей уверенностью малограмотного человека, которого и на место-то ставить бессмысленно, старушенция стала меня подбадривать:

«Он человек или? Ну, ну, подумайте. Ну!»

«Простите, — сказала я, стараясь держать себя в руках, — я тридцать лет без малого проработала редактором в издательстве «Художественная литература», где переводила на русский язык и издавала португальских и бразильских классиков, сопровождая тексты исчерпывающими комментариями по любому вопросу о Христе, заповедях, короче Библии, и я позволю себе ваш вопрос оставить без ответа».

— И чем же все это кончилось? — спросил Жорж.

— Да ничем. Просто я поинтересовалась, есть ли у нее еще ко мне вопросы.

«Да, да, конечно!» — ничтоже сумняшеся, ответила она.

«В таком случае прошу великодушно извинить меня. Сегодня я никак не ожидала, что мне придется держать экзамен по такому серьезному вопросу, да еще без подготовки, — съехидничала я, — к тому же, я спешу на встречу старого Нового года. (Это была правда.) С вашего разрешения, я приду как-нибудь в другой раз».

Уже выходя на улицу, я услышала, что она — бывшая медсестра, а сегодня — член Дворянского собрания и, похоже, приемной комиссии.

Господи, да нужна ли мне такая компания — да еще зависимость от таких ее членов, а может, и начальников?

Жорж, слушая меня, посмеивался.

— Правда, позже я все-таки пошла на *jour fixe*¹, уже из чистого любопытства. И не разочаровалась: любопытного было столько, что хватит на всю оставшуюся... Ой, простите, Жорж, муж, как видно, не дозвонившись по телефону, уже у дверей. Минуту. Я открою ему.

Приложив палец к губам, я открыла дверь мужу.

— Алло! — вернулась я к телефонной трубке.

— А вы, я вижу, шутиха, — сказал Жорж, — любите шутить над людьми.

— Не шутиха, а шутница и не шутить, а подшучивать над людьми. Вот теперь я убедилась окончательно, что ваш русский — благоприобретенный. По-моему, Жорж, на сегодня мы с вами на все сто использовали сохранившееся в нашей стране преимущество социализма: болтай сколько хочешь по телефону, тариф... Вы меня поняли?

— Думаю, да! Наговорились в сладость!

— Не в сладость, Жорж, а всласть!

— Однако, завтра утром я улетаю в Париж, — продолжил Жорж, — правда, скоро буду опять в Москве. Позвоню вам, и, если на то будет ваша воля, мы повидаемся.

Еще он что-то начал говорить о нашей большой немецкой семье, но я, не поняв, о чем он, прервала его вопросом:

— Да, а о какой такой печальной участи отца вам поведал Владимир?

— Он рассказал мне, что ваш отец был репрессирован!

— Да-а-а? Ну, до скорого!

После моего разговора с неожиданно объявившимся у меня «близким» родственником, проживающим

¹ Журфикс — прием гостей в заранее установленный день недели.

в Париже, который всякий раз, когда бывает в Москве (а тому уже три года), общается с моим родным братом, который до сих пор не поставил меня о том в известность, мы с мужем проговорили полночи.

II

Господи, отец! Кому и зачем ты, брат, я, а может, и твой внук Андрей понадобились спустя шестьдесят лет после того, как ты ушел из жизни? Кто и что надеется теперь извлечь из твоего имени, дворянского происхождения (в Прибалтике сейчас идет реституция бывшей собственности прибалтийских немцев), или твоей боевой юности, прошедшей на полях Первой мировой и Гражданской войн? или твоей трагической смерти? — спрашивала я себя после телефонного звонка неожиданно объявившегося у меня «близкого» родственника.

В тридцать девятом, когда тебя не стало, тебе было сорок шесть, ровно столько, сколько сейчас Андрею, твоему внуку, маме — сорок пять, брату — пятнадцать, а мне — девять. Что же я сегодня помню о тебе, отец, и жизни нашей семьи до страшного тридцать девятого?

Как оказалось, не так уж и мало. У меня был большой красивый папа с большими сильными руками, который поднимал всех нас троих: маму, брата и меня сразу. И мы, как говорила мама, «жили за крепкой папиной спиной».

Ты был военным с тремя шпалами в петлицах и большим начальником на Курсах усовершенствования командного состава запаса РККА. Все эти слова: КУКС, комбриг, комдив, РККА, комначсостав, как и обе стороны широкой лестницы Военторга (туда мы с мамой ездили за покупками) — остались в моей памяти навсегда. Так вот, на КУКСах ты, отец, был большим начальни-

ком. Всегда подтянутый, чисто выбритый, аккуратно одетый, внимательный к окружающим, ласковый с нами, детьми, но со всей строгостью наказывавший за серьезные проступки, особенно брата. Ты был всеми уважаем, а нами с мамой любим.

Самым большим праздником в нашем доме был канун Нового года, когда ты со мной и братом садился за большой стол делать елочные игрушки. Гусиные яйца в твоих руках превращались в головы клоунов с кружевными бумажными воротниками, обклеенные цветной бумагой спичечные коробки — в тома произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова с золотыми обрезами, а еловые шишки — в шишки золотые. Елку ты привозил ночью на машине, спускал в подвал и только тридцатого перед Новым годом ставил ее... Тридцатого ли? Скорее (как понимаю я теперь) двадцать четвертого декабря, перед Рождеством. Ставил ее в большой комнате. Может, именно потому и были у нас плотно зашторены окна весь день? Квартира-то находилась на первом этаже, и нарядно одетая к двадцать пятому декабря елка, без сомнения, могла привлечь внимание бдительных граждан нашего переулка (в те годы бдительность была высочайшей!).

Елку, которая наполняла комнату хвойным ароматом, мы украшали всей семьей. Кроме сделанных нашими руками елочных игрушек, мы вешали на нее настоящие крымские яблочки с красными бочками, пряники, золоченые грецкие орехи и конфеты «Соломка», длинные такие, в разноцветных блестящих обертках, хрустящие и очень вкусные. Их оценил и прирученный тобой мышонок. Обычно он выбегал на твой свист из норки за кусочком сала (тоненький кусочек сала к кофе ты по утрам любил положить на черный хлеб, нарезанный квадратиками). А тут мышонок вдруг пожаловал на елку без приглашения, да еще всю ночь, не давая вам

с мамой спать, хрустел пряниками и конфетами, за что и поплатился жизнью: на следующий день ты поймал его на буфете и отдал Мурзику. Мурзик, черный-пречерный кот без единого белого волоска, съел его, раз того желал хозяин, но без всякого удовольствия. Как правило, Мурзик мышей не ел. Поймает, придушит, поиграет и бросит. «Кормят тебя слишком сытно, вот что!» — говорил ты. Кот слов не понимал, но старался жить по принятым в доме правилам: ел все, что ему давали, спал, свернувшись калачиком, через форточку уходил из дома и через форточку возвращался. А если вдруг она оказывалась закрытой, орал, как говорил ты, «благим матом» под дверью, пока ему не откроют. И если дверь открывал ты, опрометью проскакивал у тебя между ног и долго не показывался на глаза. Норка, откуда выбегал мышонок, на следующий же день была заделана. И мы с братом остались без развлечения.

Первого или второго к нам приходили твои сослуживцы (все они были одеты в штатское) с детьми. Мы обменивались подарками, играли в разные игры, пока взрослые что-то обсуждали и о чем-то спорили. Потом начинали бегать и прыгать вокруг елки с зажженными свечками. Вот тут ты брал в руки скрипку и играл «В лесу родилась елочка», а потом вальс. Мы успокаивались и, получив подарки, кружились уже под звуки вальса. То, что это был вальс из балета «Коппелия», я узнала много позже, когда тебя уже не было в живых.

Стоя у станка в Доме пионеров Киевского района на уроке хореографа Марины Фоминичны Нижинской (подруги матери), я вдруг услышала до боли знакомые звуки.

«Так, — громко командовала бывшая балерина, — после *battement tendu*, не останавливаясь, переходим к *ronde de pied par terre*, круговращению стопы по полу. Приготовились. Стоп, стоп, дайте нам вальс из «Коппелии».

Так, взяли спину, приготовились, и-и, начали! Тянем, тянем носок!»

Делая круговые движения натянутой, как струна, ногой, у меня до предела натянулись нервы и закружилась голова. Марина Фоминична тут же это заметила: «Что с тобой? Держись крепче за палку! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три».

Случалось, что на елку мы ходили в землячество, но что это такое, я, маленькая, не знала, а где оно находилось, я, взрослая, не помню. Помню только, что там с тобой, отец, все дяди и тети разговаривали на непонятном мне языке, и это мне не нравилось.

Когда приходила весна, у нас под окнами начинали торговать ранними цветами. Мама протягивала сквозь оконную решетку деньги, и к нам в дом с букетами кувшинок, ландышей и незабудок входили ароматы весны, предвещающая близившееся теплое лето.

На Пасху к нам приезжала бабушка (мамина мама). Твоих родителей, отец, мы никогда не видели и ничего о них не знали. Помню только, что как-то я тебя спросила: «Папа, а почему твоя мама никогда к нам не приезжает?» — «Она далеко живет, в другой... в другом городе» — ответил ты, подумав. «А папа?» — не унималась я. — «Он умер, когда мне было тринадцать лет». — «И похоронен там же, где мамин, на Даниловском?» — спросила я. — «Нет, — улыбнулся ты, — в другом городе».

А вот мамина мама жила в Москве в Козицком переулке, рядом с Елисеевским магазином, и каждый год на Пасху привозила нам пасхальные подарки, не забывая купить в этом красивом магазине наш любимый «ландрин» и «жаворонков» в Филипповской булочной.

Бабушка была верующей, и дядя Вася, мамин младший брат, учившийся в те годы в Военно-воздушной инженерной академии, вступая в партию, «испросил», как говорила бабушка, у своего начальства разрешения

оставить «мне, старухе», висящую в углу икону с лампадкой. Входя в наш дом, бабушка говорила: «Христос воскрес, Иоган... ой, не выговариваю я вашего имени». — «Воистину воскрес, Мария Петровна, — отвечал ты, — не выговариваете, и не надо! Зовите меня Иван. Ведь Иоганнес по-русски Иван. Так что Иван Николаевич. Все просто».

Где-то в это же время к вам с мамой приходили гости. Нам с братом либо позволяли встретить гостей и, сказав «Спокойной ночи!», идти спать в маленькую комнату, либо укладывали спать заблаговременно, но мы часенъко бодрствовали и, когда гости уже сидели за столом, поочередно на цыпочках выходили в коридор и в приоткрытую дверь подглядывали за тем, что происходит в большой комнате.

На столе в графинах, где обычно бывала кипяченая вода, теперь плавали лимонные корочки, в стеклянных вазочках на высоких ножках красовалось клубничное и яблочное варенье, а на большом блюде — мамино любимое пирожное «Наполеон». Из Елисеевского, конечно. Весь день домработница Степанна и мама хлопотали на кухне: пекли пироги, готовили винегрет и все прочее. А к вечеру, когда стол в большой комнате был раздвинут и накрыт, встречали гостей — мама в голубом крепдешиновом платье с желтой и голубой хризантемой у пояса, а ты в штатском и с бабочкой.

Однажды, когда гости уже сидели за столом под нашим большим абажуром, с которого свисал маленький звоночек, проведенный на кухню, чтобы в нужный момент позвать Степанну, я, стоя босиком у двери и глядя на красивую маму в темно-синем бархатном платье и длинном жемчужном ожерелье, вдруг чихнула. Тетка Маня, как всегда в старушечьей кофте и со старушечьим пучком на затылке, с которым она прошла всю свою бесцветную жизнь, от неожиданности вскрикнула. Дяди Андрея с ней

не было, я помню точно. Неужели он уже тогда был в ссылке? Отец вышел в коридор и, увидев меня в ночной рубашке и босиком у двери, проводил до двери маленькой комнаты, которую нашел запертой изнутри.

«Вовка, немедленно открой! Завтра я с тобой разберусь!» — громко сказал он.

Интересно, что по весне вы праздновали? Как теперь это узнать?! Вполне возможно, день твоего рождения, который я столько раз за последние годы, вороша свою тревожную детскую память тридцать шестого — тридцать девятого годов, старалась вспомнить, просматривая уцелевшие фотографии разорванного семейного альбома, который мне после смерти мамы отдал Владимир, сказав: «Это все! Остальное было в чемодане, который выбросили». Однако ни на одной фотографии, кроме твоих ревельских, где ты в форме прапорщика с Георгиевским крестом, да еще двух-трех уже в советское время со мной и братом, дат не было. Как же мне была нужна эта дата, чтобы к столетию со дня твоего рождения сделать достоверную надпись на надгробной плите после твоего символического перезахоронения в могилу мамы. Я говорю символического, потому что ты, как и прежде, лежишь через две могилы от материнской, но высящийся над тобой памятник поставлен не тебе, а другому, захороненному в нее позже, во время Великой Отечественной войны, когда круглившийся над тобой холмик с воткнутой в него табличкой с номером, фамилией и датой захоронения сравнился с землей. И ты исчез с ее лица даже на всё и всех примиряющем погосте.

III

Летом, когда у брата заканчивался учебный год, мы выезжали на дачу в Шереметьевку, чтобы быть, как го-

ворила мама, «на свежем воздухе и под боком у отца. И брать обеда в военной столовой хлебниковских КУКСов». «Пусть мама отдыхает!» — говорил отец.

Каждый ли год мы выезжали в Шереметьевку? Не помню. Нет, один раз вы все-таки отправили нас в лесную школу Московского военного округа в Кимрах. Это был то ли тридцать пятый, то ли тридцать шестой год, скорее всего тридцать шестой, когда ты заканчивал вечернюю Военную академию РККА, а мама проходила повышение квалификации педагогов-хореографов внешкольного сектора на курсах при Мосгороно, где она и познакомилась (а может, я ошибаюсь?) с Мариной Фоминичной Нижинской. У них еще преподавал Асаф Мессерер, и, как мама мне позже рассказывала, она все время с ним конфликтовала. Он даже как-то сказал ей: «Если вы со мной не согласны, можете не посещать мои уроки!»

В этой лесной школе я заболела скарлатинозной ангиной — так говорили врачи. Узнав, что у меня высокая температура и что я лежу в изоляторе с девочкой, больной скарлатиной, ты, отец, бросил всё и приехал в Кимры. Раздобыл лодку, переправился на другой берег, взял меня, больную, на руки и, не желая слушать ни возражений врача, ни советов воспитателей (ты что-то им такое сказал, что они тут же замолчали), всю дорогу до дверей нашей квартиры нес меня на руках. Когда мама открыла нам дверь, на дворе уже была глубокая ночь. Несколько дней спустя у меня спала температура, ангина прошла, но потом долго болели суставы рук и ног. Мне их перевязывали, делали ванны, чем-то мазали. Потом появился шумок в сердце. И все же, как только я теперь оказываюсь в молодом сосняке, усыпанном мелкими зелеными шишками, и дышу его густым ароматом, или вдруг вижу на берегу реки благоухающий полог из белых соцветий пушистого хмеля, за которым даже не просматриваются растущие деревья,

я с благодарностью вспоминаю эту лесную школу в Кимрах.

Вообще ты, отец, очень любил меня. И, как много позже мне рассказывала мама, мечтал, когда был мальчиком, иметь сестру, а когда стал взрослым, — дочь. Однако, когда мама забеременела в первый раз, просил ее сделать аборт. Что-то ты ей говорил о хиромантке, которая в тысяча девятьсот шестнадцатом году нагадала тебе, молодому красивому офицеру горийской школы прапорщиков, что твой будущий первенец, от руки которого ты... Но мама и слушать не хотела! «Все эти гадания — глупости! А вот то, что после аборта многие рожать не могут, это факт!» — твердо ответила она.

И первенец родился, маленький, тщедушный. Мама и бабушка его долго выхаживали. По ночам он кричал. Ты, как рассказывала мама, не спал, нервничал. Потом он стал спокойнее, стал набирать вес и расти. А когда ему исполнилось пять лет, ты стал уговаривать маму родить второго ребенка: «Вот увидишь, будет девочка, я это точно знаю!» Вначале мама сопротивлялась. «Но ты же такой нервный, опять не будешь спать по ночам!» — отвечала она тебе, но потом сдалась.

И действительно, в двадцать девятом на свет появилась я. Брат, сколько я себя помню, всегда обижал меня. Может быть, конечно, потому, что теперь особое внимание и любовь были отданы новорожденной. Однако позже, когда я подросла, он даже стал надо мной издеваться. Ну как это иначе назвать? Не дать мне глотка воды, когда я просила пить, а самому выпить всю кипяченую воду (сырую нам пить запрещали) прямо у меня на глазах. Или разобрать по прутику и, бросая каждый прутик в огонь, сжечь в печке только что подаренную мне плетеную коляску для куклы. Я уж не говорю о том, как он хватил меня однотомником царского издания Пушкина по голове, когда я маленькая сидела на горш-

ке. Фаянсовый горшок тут же подо мной развалился на две половинки. Брат очень смеялся, а я потом долго лежала вроде бы с сотрясением мозга.

В тридцать седьмом мне было восемь, а брату тринадцать. И летом мы жили, как обычно, на даче в Шереметьевке, но последний год, так как работы на канале Москва–Волга шли полным ходом, и к середине лета дом с участком и фруктовым садом должны были сравнять с землей. Именно в это лето у нас появился еще один член семьи — собака Делька, рыжий доберман-пинчер. «Лучше, если с вами на даче будет собака», — сказал отец. «А как же Лилька?» — спросила мама. В раннем детстве на Зубовском бульваре, где со мной гуляла нянька, меня напугал огромный пес. Какое-то время я заикалась, потом все прошло. «Ничего, — ответил ты, — привыкнет, щенок же. Но он большой и лает громко. Делька, голос!» И Делька с восторгом заливалась звонким лаем в надежде получить награду. Кот принял Дельку с безразличием: как не было, так и нет! С утра пораньше Мурзик исчезал из дома. Брат рассказывал, что видел его у пруда, где тот бегал по берегу и, подпрыгивая, ловил передними лапами бабочек. Потом, похоже, находил валериановый корень, откапывал его и, как говорил отец, «нализывался», а потом, весь в пыли, еле держась на лапах, возвращался домой и, растянувшись на веранде, дрых до вечера, когда, приходил с КУКСов. «Ах, забуддыга, — говорил ты ему, но не будил, — пусть проспится! И вы не будите!»

И вот как-то, когда у нас в очередной раз гостила наша двоюродная сестра Мила (дочь тетки Мани), мы с ней пошли под кустик. За нами увязалась Делька. Только мы сняли трусики, как из-за куста, что прикрывал нас сзади, поднялся одетый в грязную робу, обросший бородой мужик. С пронзительными криками, под громкий, срывающийся на визг лай Дельки мы побежали к дому.

Вечером, узнав о случившемся, отец сказал: «Плохо, надо собираться в Москву, и чем скорее, тем лучше. Похоже, это — строитель канала, заключенный». Кто такой «заключенный», мне тогда было неизвестно.

Вообще, в это последнее лето в Шереметьевке все время что-то происходило: отец то уходил в свой КУКС позже обычного, то неожиданно возвращался, а то уезжал в Москву по делам и приезжал назад темнее тучи. Молча ел и молча ложился спать. Мама тоже была какая-то не такая. Тоже ездила в Москву, оставляя меня на брата, а чаще на знакомых, которые жили на соседней даче. В один из таких дней брат чуть не утонул в Клязьминском водохранилище, которое наконец заполнили водой. Отец моей подруги Ирки — не помню, как его звали, — на третий день после пуска воды решил, как он выразился, «его опробовать, пока еще вода чистая». Брат попросился поехать с ним. Ну, а поскольку меня оставить одну было никак нельзя (отец не разрешал), то решили взять и меня.

Войдя в воду, мы с Иркой долго дурачились, изображая, что умеем плавать, естественно, у берега. А брат пошел вперед, сказав, что здесь воробью по колено. Шел, шел, а потом вдруг шагнул (как он потом рассказывал) — а дна нет. Стал барахтаться, махать руками, кричать: «Тону, тону!» Мы с Иркой к тому моменту уже вышли на берег и обсыхали. Дядя Костя (вот, вспомнила, как звали Иркиного отца), который курил папиросу, смеясь, замахал ему в ответ и закричал: «Хватит дурить! Выходи!»

Брат плавать не умел, но выплыл. Только потом все время отплевывался. А позже сказал, что не утонул потому, что от страха утонуть научился плавать. После этого случая сборы в Москву пошли полным ходом. По совету соседки, матери актера Малого театра, у которой было замечательное отчество Феофановна и внук

Толя (с ним мы познакомились в это последнее лето в Шереметьевке), мама сняла с яблонь незрелые яблочки и сварила варенье: «Не пропадать же добру!», собрала и упаковала вещи. Отец нашел и подогнал машину. Все погрузил, и часа через два мы в самый разгар лета вернулись в Москву.

Изнывающая от жары Москва встретила нас пышущими стенами домов, раскаленным асфальтом, над которым дрожал воздух, и большим скоплением машин и трамваев на Пушкинской площади. Здесь мы довольно долго стояли, вдыхая запахи бензина и выхлопных газов. Вся мокрая от испарины я, как и мама, старалась не шевелиться. Не шевелилась и Делька. Вывалив язык, она часто дышала, лежа у ног отца. И только Мурзик блаженствовал, дрых под сиденьем.

По возвращении в Москву никаких явных перемен в жизни нашей семьи не произошло. Ты, отец, как и прежде, работал. Во всяком случае, каждый день рано утром уезжал в Хлебниково и поздно вечером, разве что иногда уж очень поздно, возвращался. И если я еще не спала, то слышала: «Почему так поздно? Где ты был? Опять выпил!» Что ты отвечал маме, я не слышала. Возможно, потому, что уже спала.

С сентября мама, как и раньше, вела кружок хореографии в московской школе № 7. Брат учился в восьмом классе, я пошла в первый. Возиться с Делькой было некогда и некому. Мурзик, по обыкновению, с утра через форточку отправлялся на улицу, но к нашему приходу всегда был дома. В одиночестве Делька грызла обувь, оставляла по углам, как ты, отец, выражался, «визитные карточки», и в один из дней ты ее куда-то отвез. И, как потом сказал, «сдал». Привязаться к ней за последнее, короткое для нас, лето тридцать седьмого мы не успели, а потому и не переживали. А вот когда пропал Мурзик — не вернулся домой на ночь, не появился

на следующий день и в последующие, — мы забеспокоились. Где он? Куда подевался? Брат обследовал все закоулки нашего двора, заглянул на помойку, обошел соседей, расспрашивая всех и каждого: «Не видали ли вы нашего Мурзика, черного-пречерного кота без единого белого волоска?» Никто не видел. Только спустя неделю одна старая злыдня, что жила на третьем этаже, крикнула вдогонку брату: «Забери своего Гитлера. Он все газеты у нас порвал. Бросается на стены, когтями рвет обои и орет как бешеный». Кто такой Гитлер, я тогда не знала, но явно это был плохой человек, раз так называли нашего милого Мурзика за то безобразие, что он творил. Но, став Гитлером в чужом доме, где, похоже, его насильно удерживали и, вынуждая ловить мышей, морили голодом, у нас Мурзик стал опять Мурзиком, но неделю спустя сдох. Как же он, несчастный, тяжело умирал, лежа у печки! Какие умоляющие кидал на нас взгляды! Как душераздирающе мяукал! И все мы трое: мама, брат и я (тебя, отец, теперь мы видели только по утрам) решили вызвать ветеринара. Когда ветеринар пришел, у Мурзика уже начались судороги. «Ничем помочь не могу, — сказал он. — Ваш кот, скорее всего, съел отравленную мышь». В подвале дома время от времени травили мышей. Когда-то наш первый этаж был торговым помещением, которое отец взял под застройку и сделал отдельную квартиру. Мышей Мурзик не ел (мы его хорошо кормили), он распугивал их своим кошачьим запахом, но у злыдни той, возможно, с голодухи и съел. Мы горько оплакивали Мурзика, а мама даже забыла, что у нее урок, и не пошла на работу.

Теперь ты, отец, все чаще и чаще после работы пропадал в Латышском клубе и возвращался домой за полночь, вначале навеселе, потом хорошо подвыпив, а потом и просто пьяный. Ссорился с мамой, упрекая ее в непонимании происходящего: «Ты ничего не понима-

ешь, начались аресты эстонцев, латышей и, конечно, немцев. Исчез такой-то, арестован такой-то, вызван на допрос такой-то. Скоро придут за мной, а ты танцуешь!» (Да, мама танцевала. Как теперь я понимаю, зная о готовящемся увольнении отца из кадров, она пошла на курсы бальных и западных танцев, чтобы в случае чего заработать для всех нас кусок хлеба. Ведь одним уроком хореографии, да еще в обычной общеобразовательной школе, не прокормишься.) «Да, танцуешь! С кавалерами! — кричал пьяный отец вне себя от ярости. — А этот уса́тый...» — и, выхватив револьвер (ты имел личное оружие), палил по висевшему у нас в большой комнате портрету Сталина, не отдавая себе отчета, что за стеной могут услышать соседи и сообщить, как говорили тогда, «куда следует». На следующий день с утра пораньше мама бежала покупать новый портрет вождя, чтобы повесить его на прежнем месте. И так было не однажды. В один из таких дней ты случайно (случайно ли?) прострелил маме ногу. Не протрезвев сразу, ты прокричал: «Не будешь танцевать! Слышишь? Не будешь танцевать!» В квартире потом долго стоял кислый запах пороха. Маму увезли в госпиталь. Ты ее сопровождал. А когда привез обратно, ухаживал за ней, как говорила она, «как в первые дни нашей совместной жизни. Ты, Лилька, этого помнить не можешь: ты была маленькая, а Вовка помнит!»

Потом тебя, отец, лишили права носить оружие, и от трех шпал в твоих петлицах осталась одна.

Почему это случилось? Я, маленькая, не знала. Думаю, что не знал и четырнадцатилетний брат. В те годы не было принято посвящать детей в политику. И я до две тысячи третьего года, когда получила бумаги отца в Центральном архиве Министерства обороны, находящемся в городе Подольске, считала, что из-за мамы, из-за того, что ты, отец, прострелил ей ногу.

Теперь сырыми осенними вечерами ты, растапливая голландку (у нас было печное отопление), мыл купленную в магазине айву, вырезал сердцевину, засыпал сахарным песком, затыкал и, выложив на сковороду, пек ее на тлеющих углях в протопленной печи до блестящей румяной корочки и вскипавшей над ней шапкой сахарной пены. В особо сумеречные вечера и при созвучном настроении ты, как правило, напевал так и не изгладившуюся из моей памяти заунывную песню. Чьи это слова? И музыка чья?

Дин-дон, дин-дон, слышен звон кандалный,
Дин-дон, дин-дон, путь сибирский дальний.
Дин-дон, дин-дон, слышно там и тут,
Нашего товарища на каторгу ведут.

Я горько плакала. Правда, я плакала и тогда, когда, бывало, на даче, отдыхая на опушке после прогулки по лесу, вы с мамой затягивали грустный романс: *«Мой костер в тумане светит...»* И когда доходили до слов: *«На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом стяни...»*, я не просто плакала, а разражалась рыданиями. Ты и мама принимались меня утешать.

Что-то ты пел еще, правда, не по-русски, но тоже не-веселое. А уж с декабря тридцать седьмого, когда у тебя в петлицах не осталось ни одной шпалы, ты чаще пел о каторге. Да и что ты, вступивший, как теперь мне известно, в восемнадцатом году в партию, а в двадцать третьем вышедший из нее по собственному желанию, да еще теперь уволенный из кадров комначсостава РККА (и это при всех твоих боевых заслугах в Гражданскую!), мог ждать, кроме каторги?

Теперь ночи напролет не умолкал собранный твоими руками ламповый радиоприемник, из которого все громче и громче неслись чеканно-гортанные звуки (как

понимаю я теперь, немецкой речи). Проснувшись (я спала в большой комнате с родителями, а брат в маленькой), я ни слова не понимала, о чем так надрывно кричал мужской голос. «Эдик, — говорила мама, — Лилька проснулась, сделай тише! Да и соседи...» — «Подожди, сейчас... это очень важно, — отвечал ты. — Поля, ты не понимаешь, как это важно для нашей семьи? Будет война. Скоро будет война с Германией, понимаешь?»

Что понимала мама в том далеком тридцать девятом, я тогда не знала, как и не узнала позже. Мама, как оказалось, умела хранить тайны. Боясь за мою детскую психику, и без того травмированную трагедией тридцать девятого, мама ни во время Великой Отечественной войны, ни после победного ее окончания, ни разу до самой смерти не обмолвилась мне, что мой отец был прибалтийский немец. А когда первый раз в жизни мне потребовалось писать автобиографию, твердо сказала: «В графе национальность отца пишешь: эстонец. Место рождения: остров Даго».

Где находился этот остров? Я у берегов Советской Эстонии на карте не нашла. Ни тогда, ни позже. Возможно, он уже был переименован в остров Хийумаа.

IV

Да, воспоминания в моем сегодняшнем возрасте — занятие не из веселых: всё вроде в прошлом и ничего в будущем. Вот потому-то я изо всех сил стараюсь жить настоящим: быть современной, хорошо выглядеть, со вкусом одеваться (в нем мне не отказывают) и работать. Да, работать! Работа, особенно если она творческая, держит человека в этой жизни до последнего. Интеллект — это молодость духа, да и тела в старости.

И я работаю. Книги в моем переводе и сегодня выходят с периодичностью одна в два года, включая переиздания (что меня очень радует), подтверждая правильность сделанного мной выбора автора и его произведения. Я никогда ничего не переводила по заказу, а выбирала сама только очень хороших писателей. И со многими из них, даже давно ушедшими из жизни, моя переводческая жизнь прошла бок о бок, в прямом и в переносном смысле. Это и всемирно известный классик португальской литературы XIX века Эса де Кейрош, и мастер интеллектуального романа, философ только что ушедшего XX века Вержилио Феррейра, и Алвес Редол, и Фернандо Намора, и столь читаемый в Советском Союзе, а теперь и в России бразильский писатель Жоржи Амаду. С некоторыми из них я была в большой дружбе, гостила у них дома в Португалии, как и они у меня в Москве. И вся переведенная мною, а в бытность мою редактором издательства «Художественная литература» отредактированная и изданная литература была той, что называлась когда-то *belles lettres* (изящная словесность, в переводе с французского). Но кто сегодня читает изящную словесность в нашей стране?! На книжных прилавках вал печатной массы, одетой в яркие целлофанированные обложки с изображением сладких любовников, жестоких убийц или человекоподобных чудовищ. И сегодня, если кто-то и читает, как прежде, что-то в транспорте, то именно эту литературу, доступную сегодняшнему менталитету. А Эсу де Кейроша — нет! А Вержилио Феррейру — нет! Да и Жоржи Амаду — нет!

И все же, второй том Собрания сочинений Эсы де Кейроша, в который вошли роман «Кузен Базилио» и повесть «Мандарин» в моем переводе, вышел, но спустя три года после первого тома, чудом проскочившего в 1991 году. Ну а что касается третьего и четвертого,

уже готовых к печати, никакой надежды на их издание нет и, похоже, не будет.

«Плохо продается... девятнадцатый век... все-таки», — сказали мне в книжном магазине. Вот так!

А между тем столь любимый всеми нами Михаил Булгаков хорошо знал и даже вдохновлялся творчеством этого всемирно известного классика (правда, в переводах с французского или испанского), что внимательный читатель, не говоря уже о литературоведах, тут же обнаружит, открыв повесть «Мандарин» и роман «Реликвия».

Ну, посмотрим, как пойдет Вержилио Феррейра, он автор двадцатого века, правда, у него своя «беда» — он, интеллектуал и философ, пытается постичь истину и осмыслить ее. Вот как раз его роман «Во имя земли» и был у меня на столе, когда в первых числах наступившего 2001 года вновь позвонил, но на этот раз из Парижа, объявившийся у меня «близкий» родственник.

Поздравив меня с Новым годом и пожелав благополучия, он сообщил, что завтра к вечеру вылетает в Москву и тут же позвонит, чтобы договориться о встрече, если, конечно, мое желание встретиться осталось в силе. Я ответила, что это так.

«Буду ждать вашего звонка».

«Тогда до скорого», — ответил Жорж.

Последовавшие сутки я, несколько было успокоившаяся после его первого звонка, провела в раздумьях и большой тревоге. Нет, меня тревожило не то, что ко мне, вернее, к нам в дом, придет иностранец. К нам и в советское время приходили, причем, не раз, иностранцы — и не только писатели, но и корреспонденты португальских газет, радио и даже телевидения (правда, телевидение — это уже в постсоветское время), которое сделало обо мне и моей переводческой работе передачу на Португалию. Увидев эту передачу у себя дома в Лис-

сабоне, Вержилио Феррейра написал мне: «Вчера мы с Режиной видели тебя по телевидению, ну ты просто «Estrela de Hollywood»¹. «Стараюсь, — ответила я ему тоже в письме, — чтобы все мои авторы, произведения которых я переводила и перевожу, все, кто меня помнят по Лиссабонскому университету и «Португальскому институту книги и библиотек», видели меня и знали, что я продолжаю жить и работать!»

Так что меня волновало или, вернее, тревожило совсем другое. И прежде всего то, что у меня, ну и, конечно, у брата, никогда не имевших родственников со стороны отца, как, кстати, и однофамильцев, объявился родственник и «возможно, — как сказал звонивший, — близкий». Объявись он в тридцать седьмом, когда отца (как я знаю теперь) увольняли из кадров за антисоветские настроения, высказанные в беседе с товарищами при работе февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), и связь с границей, ни мне, ни брату не пришлось бы сегодня ни задумываться, ни тревожиться: нас просто не было бы в живых. Ведь в тридцать седьмом, как теперь мне известно, отец, подавший жалобу в Комиссию при Военном совете Московского военного округа по поводу своего увольнения из состава РККА, вынужден был доказывать, что никакой связи с границей, то есть с матерью и братом Эдгаром Фридрихом, которых видел в последний раз в 1916 году, когда в отпуске после ранения был в Гапсале², не имел и не имеет, не говоря уже о двоюродном брате Вернере Мадике, о котором вообще никогда никаких сведений не было.

Но родственник, близкий или дальний, объявился теперь, на пороге две тысячи первого, когда отца, так же как и матери, уже давным-давно нет в живых. Кто же он? Что за человек? Из справки, данной мне в Дво-

¹ Звезда Голливуда (*португ.*).

² Современный Хаапсалу (Эстония).

рянском собрании, следует, что он человек заслуженный: морской офицер, капитан III ранга, награжден орденом ФРГ за заслуги (интересно, какие?), и медалью Военно-Морского Флота США (а США-то тут при чем?). Не потому ли его заинтересовал Владимир, ведь он тоже морской офицер, капитан III ранга Военно-Морского флота, только России? Что же, вполне возможно. Только ведь Владимир давно на пенсии и болен. После ужаса, случившегося в тридцать девятом, и его ареста в сорок первом, потом досрочного освобождения с правом искупить свою вину перед Родиной (чем он оказался виноват перед Родиной?), полученной контузии, где так и неясно, потом тяжелой продолжительной болезни, а затем уже учебы в Военно-морском училище в Ленинграде, службы под Севастополем, женитьбы, рождения сына... — и так далее, пока жизнь нас развела. Мы редко виделись и практически не общались даже тогда, когда, выйдя на пенсию, он вернулся в Москву и поселился в двух шагах от мамы и меня. Правда, после смерти мамы мы все-таки стали перезваниваться. Чаше звонила я: «Поздравляю тебя с днем рождения!» И слышала в ответ: «Ой, да я и забыл, что у меня день рождения». — «С праздником тебя!» — «Каким?» — «Военно-Морского Флота». — «Да какой это для меня праздник!» Вопрос о здоровье четко вызывал раздражение: «Какое здоровье?! О чем ты говоришь?!»

Два-три раза мы с мужем были у него дома, но наш приход, как и нанесенные нам ответные визиты, скорее, еще больше отдаляли нас, чем сближали. Ведь, выкинув из своей жизни прошлое, а с ним и всех родственников, друзей, знакомых, сокурсников и сослуживцев, он идеально выстроил на бумаге (я имею в виду его послужной список, полученный мной после его смерти) свой безукоризненный жизненный путь и, воссоздав на стене своей комнаты из незатейливой елочной мишуры родовой гапсальский замок, добровольно заточил себя

в типовой двухкомнатной советской квартире. И жил, как говорит муж, по склянкам: утром вставал, осознавал себя хозяином положения, возможно, владельцем замка с венчающим его гербом рода Бревернов, также собственноручно воссозданным, но уже из консервной банки и разноцветного пластика. Поделка даже отдаленно не напоминала герб подлинный, представленный на двадцать седьмом листе одиннадцатого тома «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи и Царства Польского». Однако, это очевидное несоответствие брат объяснил мне, сказав следующее: «Знаешь, я вместо маловыразительного червяка, ползущего по основному полю, махнул змею, ну и еще шлем...» «Святая простота, да и только!» — подумала я, но промолчала. Потом он завтракал, гулял с женой до обеда, после обеда спал (никому не разрешалось будить его), по вечерам читал вслух жене и сыну «Мастера и Маргариту» Булгакова и официально болел. И никем, и ничем не интересовался. А если кто-то интересовался им, как однажды случилось с одним писателем, который в бытность свою на Северном флоте встречался с Владимиром, а теперь, наткнувшись на мою фамилию в справочнике Союза писателей и узнав, что я сестра Владимира, позвонил мне и попросил дать его телефон, резко ответил: «Телефон не давай ни под каким видом! Я такого не знаю, не знал и знать не хочу! Понятно?! Вообще я никого не хочу ни видеть, ни слышать!» Это была вспышка ярости, знакомая мне с детства, и думаю, его семье тоже.

А тут вдруг на него, живущего в полной изоляции от внешнего мира, свалился, как снег на голову, родственник! Да еще отца! Да еще русскоговорящий француз немецко-русского происхождения, проживающий в Париже!

Какие он испытал чувства? Смятение? Страх? Отчаяние? Какие осаждали его мысли? Да мог ли он даже

подумать, что подобное когда-либо случится? Что же делать? Как быть? Выволочку сыну он, конечно, устроил, без нее не обошлось, нет. Ведь это именно он, находясь в командировке в Париже, разыскал Жоржа. Он встретился с ним, что-то рассказал. (Что?) Дал адрес и телефон. А что, если Жорж объявится в Москве? Где гостя принимать? На кухне или в комнате с замком на стене и двумя кроватями тут же, прямо под этим замком, где в дни случавшихся «торжеств» ставили раскладной стол?

Да какое это имеет значение, если ничего нельзя изменить и завтра проживающий в Париже родственник окажется у него дома. Конечно, то, что родственник живет в Париже и в Москве бывает только наездами, к лучшему. Во всяком случае, спокойнее. И он решил принять его. И принял. Где? Не знаю. Знаю только, что принял и принимает всякий раз, когда Жорж бывает в Москве, но меня в известность не поставил и, похоже, уже не поставит.

V

Жорж позвонил мне, как обещал, вечером в день прилета.

— Лилиана, это — Жорж, вечер добрый! Я в Москве и уже в гостинице «Балчуг». Завтра с утра я занят, рабочие дела. А вечером, согласно нашей договоренности, буду готов встретиться с вами, где прикажете.

— Приезжайте к нам!

— Спа-си-бо.

В этом произнесенном по слогам слове я почувствовала искреннюю благодарность за то, в чем он уверен не был.

— В семь, хорошо?

— Хорошо, — ответил Жорж.

— Тогда записывайте адрес и как нас найти.

Я продиктовала адрес, включая код и этаж, и дала все варианты, как до нас доехать.

— Можете и на метро, — сказала я, — до «Университета», где живет Владимир, вам привычнее. Только от «Университета» сядете на трамвай и по Вавилова — четвертая остановка.

— Еще раз спасибо за домашний прием. И до завтра.

Вот и подтверждение того, что он не ожидал, что будет принят дома. Европейцы стараются этого не делать. У них «кафе» — лучшее место для встреч по самым разным поводам.

— До завтра! — ответила я и положила трубку.

Так, завтра у меня трудный день: я должна выглядеть на все сто, дом — тоже и муж — тоже! Выйти из мастерской он должен заблаговременно, чтобы быть дома за час до прихода гостя! Нет, раньше назначенного часа гость не придет. Это у европейцев тоже не принято. Но лучше быть ко всему готовой.

С утра я испекла свой фирменный торт, убрала квартиру и села перед зеркалом. Что известно обо мне Жоржу из Интернета, кроме того, что я писала сама о своей литературной деятельности? Адрес, телефон и... год рождения! «Да, старушке за семьдесят, — думала я, ставя себя на его место, — и хотя голос молодой (мне всегда говорят, что у меня молодой голос) и человек она с юмором... но возраст есть возраст!» И пока я сражалась с ним, пустив, как обычно, в ход магию косметики, я все время думала о том, почему и с какой целью Владимир сказал Жоржу, что отец был репрессирован. Ведь вполне можно было сказать: умер, и все! Да, рано. Да, внезапно, да, очень жалко. Не вызывая у неожиданно объявившегося родственника (и родственника ли?) никаких эмоций, как, скажем, сочувствия к пострадавшему и его семье или негодования по поводу каратель-

ных акций тоталитарного советского государства. А может, имея такую фамилию, как наша, Владимир теперь хотел быть мучеником тоталитаризма, что сегодня у нас так модно? А может, у него был какой другой дальний прицел? Все та же реституция! Чем черт не шутит?! Ведь он даже не позвонил мне и не сказал, что объявился некто по имени Жорж — возможно, наш близкий родственник. Кстати, как давно он у них объявился? Не позвонил ни он, ни его жена, ни сын, мой племянник, которому я двадцать лет назад говорила, что в Париже на Сент-Оноре живет некто Жорж фон Бреверн, вот так. Нет, как-то жена брата позвонила мне и в свойственной ей конспиративной манере сказала: «Надо поговорить!» «О чем?» — с изумлением спросила я. «Разговор не телефонный!» — ответила она.

Боже! На дворе двухтысячный год, какая-никакая, но демократия. Да и все мы уже лет десять, как говорим по телефону обо всем, о чем заблагорассудится, а тут такая конспирация!

Что случилось? О чем ей надо поговорить со мной? А может, ему? Тогда почему звонит она? «Ты что-то хочешь спросить у меня, чего не можешь спросить у Вовы? — поинтересовалась я у невестки. — Но я ведь ничего нового не скажу. Потом, я не предатель по натуре!»

В каком году был этот разговор? Похоже, в девяносто девятом... потому что в девяносто восьмом я ездила с докладом в Италию, а в девяносто девятом в Испанию. И по возвращении из Испании, где-то в июне, неожиданно встретила на остановке трамвая ее и брата. И, естественно, поздоровалась с обоими, но мне ответил только брат. Жена его стояла, крепко сомкнув губы, и не раскрыла рта, даже когда я выходила из трамвая у рынка. «Ну, пока, будь здоров!» — сказала я брату. В ответ по его лицу поплыла плаксивая изви-

няющаяся улыбка. Но он и тут не обмолвился о том, что общается с Жоржем. Я же его пожалела (про себя, конечно): совсем плох. Но только теперь, кажется, поняла его извиняющуюся улыбку и то, о чем его жена, а скорее, они оба, хотели со мной поговорить, а вернее, договориться.

В шесть вечера я открыла дверь мужу.

— Ну ты даешь, — сказал он мне с порога. — Больше сорока тебе никто...

— Не шути, ради бога! Мне, честное слово, не до шуток.

— Ну, сорока пяти, от силы пятидесяти... Проверим на объявившемся родственнике. И как это у тебя получается?

Он переоделся, поел, и мы стали ждать гостя.

— Если он придет ровно в семь, то это точно твой родственник, — продолжал муж, подшучивая надо мной, намекая на мою пунктуальность и отвлекая от тревожащих меня мыслей.

— Знаешь, — сказала я, — поддерживать то, что отец был репрессирован, я не буду. Ты знаешь, я врать не умею, и учиться на старости лет этой науке не собираюсь. И что случилось, то случилось. Могло случиться и худшее, и нас никого не было бы в живых. И это более серьезное оправдание тому, что случилось. Потом, если завязывать отношения с объявившимся родственником, то они должны быть честными или никакими. Ты знаешь, что этим принципом я руководствуюсь всю жизнь. Во лжи человек вязнет, как в трясине, а правда все равно всплывает на поверхность.

— И что же, ты так все это прямо и выложишь Жоржу?

— Да нет, сначала посмотрим на него, что он из себя представляет. Послушаем, что он расскажет о себе, о своей работе в России, что захочет узнать о нас, на-

шей работе, нашей сегодняшней жизни. Может, вообще на беспокоящую меня тему и разговор не возникнет, хотя вряд ли. Если, конечно, он близкий родственник, то сходство по мужской линии с отцом должно быть обязательно. Он даже сказал мне, что Владимир очень похож на его дядю Николая.

— А ведь уже семь, — сказал муж, взглянув на часы.

Я встала, подошла к окну и с высоты своего тринадцатого этажа стала смотреть на лежащую внизу заснеженную Москву. Был канун старого Нового года. Шел снег. Мела поземка. К соседнему корпусу подъехала машина. Какой-то мужчина в красной куртке вылез из нее и быстро пошел к нашему подъезду.

— Уже десять минут восьмого, а его все нет! — сказал муж.

— Сейчас явится, — сказала я почти уверенно. И вскоре услышала шаги за дверью. Потом вытирание ног о коврик и короткий осторожный звонок. Распахнув дверь, я какое-то время, не двигаясь с места и ничего не говоря, сверлила глазами пришельца, держа его у двери, чем явно смутила гостя. Потом широким жестом пригласила войти.

— Прошу вас.

— Спасибо, — ответил он, делая шаг вперед.

— Проходите, раздевайтесь и знакомьтесь: мой муж — Юрий.

— Очень приятно!

— Мне тоже, — ответил муж.

— Так, где нам лучше устроиться... в моем кабинете? Или...

— Простите, — сказал гость, — я только возьму из портфеля кое-какие бумаги, которые я привез вам, Лиана.

Увидев пачку бумаг и, похоже, фотографий, я сказала:

— Пожалуй, лучше сесть в столовой за большой стол, чтобы всем было видно. Берите стул и располагайтесь.

— Извините меня, Лилиана, — гость произнес мое имя так неуверенно, словно все еще сомневался, что оно принадлежит именно мне и что он попал туда, куда шел. — Я искренне потрясен: вы прекрасно выглядите. Ведь, когда вы открыли мне дверь, я был почти уверен, что ошибся адресом, поскольку ваш возраст мне был известен из Интернета.

— Спасибо, — сказала я, — это приятно слышать. — Но тут же подумала: «Естественно, ждал, что увидит старушку, а увидел подтянутую женщину в брючном костюме и на высоких каблуках». — Можете класть прямо на стол, — подбадривала я его.

И на столе появились ксерокопии листов из «Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften»¹, «Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaften»², потом «Genealogisches Handbuch des Adels»³, из которых с очевидностью и хронологической последовательностью явствовало (в чем я убедилась, быстро перелистав несколько страниц), что в Прибалтике на берегах Финского залива, сначала в Лифляндии⁴, а чуть позже в Эстляндии⁵, задолго до шведского владычества появились потомки некоего Иоганна Бревера родом из Верхней Силезии, у которого от брака с Барбарой Меллин родился сын Иоганнес, потом у Иоганнеса от брака с Магдаленой Хаппах родился сын Иоганн, а у Иоганна в 1616 году еще один Иоганнес Бревер, который поселился в Риге на всю оставшуюся жизнь, где произвел на свет десятерых детей, среди которых в 1663 году (от второго брака с Софией Дюnten) родился сын Герман, которого шведский король Карл XI возвел 5 октября

¹ Книга генеалогии балтийского рыцарства (нем.).

² Книга генеалогии эстляндского рыцарства (нем.).

³ Книга аристократических дворянских родов (нем.).

⁴ Латвия.

⁵ Эстония.

1694 года в дворянское достоинство под фамилией фон Бреверн, добавив в конце фамилии букву «н».

— Вот так, Лилиана, мы, Бреверны, обрета приставку фон и букву «н» в конце фамилии, стали шведскими дворянами, что было вписано в Матрикул лифляндский в 1742 году и в Матрикул эстляндский в 1745 году. Да, а с присоединением Лифляндии к России, что, как известно, произошло в 1721 году, — и русскими дворянами. И сегодня дворянскому роду Бревернов в России уже без малого 300 лет.

— Да, да, Жорж, первый фон Бреверн Герман мне известен. О нем мне в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году в день моего сорокалетия рассказал известный журналист Юрий Федосюк, много писавший о происхождении фамилий. Он преподнес мне бумагу о Бревернах, в которой грамотно, основываясь на энциклопедии Брокгауза и Ефрона и других документах, рассказал мне, как поется в песне: «Кто я родом и откуда я». И там же написал, что в начале своего пути Герман фон Бреверн был вице-президентом рижского Гофгерихта¹. Однако позже, пользуясь большим доверием Петра Великого, был назначен им вице-президентом российской Юстиц-Коллегии² сразу же после ее образования, а потом и статским советником. Он владел землями Вайнсель и Кегелн в Лифляндии. Умер в Санкт-Петербурге в 1721 году.

Быстро заглянув вперед, я тут же заметила Жоржу, что и дальше на листках ксерокопии я вижу знакомые имена и лица. И среди прочих — президента Российской академии наук Карла Германовича фон Бреверна, с которым мне довелось «свести знакомство» где-то в году семидесятом (теперь уже ушедшего XX века) в Этнографическом музее Ленинграда.

¹ Верховный суд.

² Министерства юстиции.

— Случай анекдотический, ей-богу, Жорж! — сказала я.

— Да, действительно, — поддержал меня муж, — расскажи!

— Подожди, чуть позже. Так вот, Карл Германович служил по дипломатической части. Но... с тысяча семьсот сорокового года, как написал мне Юрий Федосюк, стал президентом Российской академии наук, что подтвердил мне Виктор Сергеевич Вавилов (сын президента — с тысяча девятьсот сорок пятого года — Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова, на даче которого в Можжинке мы с мужем прожили несколько лет).

«Да, да, все так, — сказал мне Виктор Сергеевич, — вот вам первый том Ежегодника личного состава АН СССР, вышедшего в издательстве «Наука» в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, в котором Карл Германович поименован президентом Российской академии наук. А Дашкова Екатерина Романовна стала президентом позже, с тысяча семьсот восемьдесят третьего года».

Потом я взяла в руки родословную гостя, сопровождаемую фотографиями его отца, деда, прадеда и самого Жоржа при парадном мундире и регалиях, который смотрел на нас с фотографии с сознанием своего достоинства и заслуг. «Как же он был непохож на своих дедов, особенно на маленького и хлипкого Николая Георга Дитриха, действительно смахивавшего на моего брата Владимира. Да, коррективы в фигуру Жоржа и его самооценку, скорее всего, внесла полнокровная и осанистая мать Мария Бауэр, а может, и русская бабушка», — подумала я.

А вот и поименный список всех здравствующих в 2000 году Бревернов в разных странах мира и на всех континентах с их адресами, факсами, имейлами и телефонами.

Вот так, в одночасье, я, никогда не имевшая со стороны отца не только родственников, но и однофамильцев, обрела всех сразу, и живых и мертвых, оптом.

— Да, — сказала я Жоржу, — похоже, не зря я сохранила фамилию отца, а то бы вы никогда не нашли меня, а я не только вас, но и всех их!

Жорж рассмеялся.

— Так, давайте-ка сейчас вот что сделаем: уберем со стола все эти досточтимые бумаги. Я внимательней посмотрю их позже. А сейчас я буду накрывать на стол. А ты, — сказала я, обращаясь к мужу, — покажи-ка Жоржу свои картины, мои книги, словом, погуляйте по квартире.

К живописи Жорж остался равнодушным, возможно, слон наступил ему не на ухо, а на глаза, но зато разохался, увидев обилие книг, и особенно в моих переводах. Скорее всего потому, что увидел мою (свою) фамилию на титуле тех, что были переведены мной. Ну а картины?! Ах да! Ведь фамилия художника (моего мужа), как это бывает на выставках, под каждой не значилась, а снимать и переворачивать картины он не решился. Это, конечно, шутка! И, честно говоря, злая: не очень я верю во всестороннее образование эмигрантов.

Когда же, наконец, я пригласила гостя и мужа в столовую, на скатерти цвета спелой вишни в окружении сервиза из белого фарфора, изящных хрустальных бокалов, рюмок, розеток и старинного позолоченного серебра красовался мой фирменный торт с черной смородиной, грецкими орехами и белой шапкой безе, вишневый ликер и клубничное варенье (собственного приготовления).

— О-о! Какая красота! — воскликнул Жорж, умолчав, правда, что он диабетик.

— Так, — сказала я, — кто будет чай, а кто кофе? Чай — «Выбор императора». Кофе — *Carte noir*!

— И мы дома пьем *Carte noir*, — сказал Жорж. — Так что, мне, пожалуй, кофе.

— Я тоже выпью кофе, — сказал муж.

— Вот и прекрасно, все готово, наливаю. Жорж, если вы хотите что-нибудь поплотнее, я сделаю бутерброды...

— Нет, нет, на столе всего более чем достаточно! — ответил он, беря кусок пирога.

Муж налил ликер.

— Тогда по-русски, — сказал он, — со свиданьем!

Мы выпили.

— Ой, как это вкусно! Что это такое? Вишня?

— Это ее рук дело, — ответил муж, — как и все остальное, что стоит на столе!

— Боже, а какой вкусный торт!

— Берите, берите... К тому же с днем рождения, Жорж! У вас ведь двенадцатого января, так?

— Откуда вы знаете?

— Да все оттуда же. Мне же выдали все ваши данные...

— А-а, в Дворянском собрании!

Мы чокнулись.

— А вы буржуи, Лилиана. Какая квартира! Четыре комнаты, картины, книги. Боже, сколько книг!

— А мои книги видели, я имею в виду переводы португальской литературы?

— Толком не успел, вы позвали к столу.

Позже я показала ему свои переводы. И последний, только что вышедший в издательстве «Аграф» перевод романа Жозе Родригеса Мигейса «Николай, Николай!»

— Это о русском царе Николае Втором? — спросил Жорж, глядя на обложку с портретом последнего русского императора.

— Нет, о вас!

— Не понимаю, — сказал Жорж.

— Да о русских эмигрантах первой волны, — ответила я.

— Интересно.

— Да, португальский писатель Жозе Родригес Мигейс сам был эмигрантом и представителем литературы изгнания и всю свою жизнь прожил в Брюсселе, за пределами родной Португалии, а умер в одиночестве в одном

из госпиталей Нью-Йорка в тысяча девятьсот восьмидесятом году.

— Да, грустная эмигрантская история, — сказал Жорж и, уходя от возникшей вдруг темы, еще раз похвалил нашу квартиру. — Замечательная!

— Стоила больших денег. Кооперативная. Первый послевоенный кооператив, строительство которого подписал Сталин. Наша собственность. А у вас?

— А у нас... Мы снимаем двухкомнатную квартиру на троих, небольшую, но надеемся найти еще меньше, на двоих, отселив сына, и на окраине Парижа, чтобы было дешевле...

— И это при ваших-то регалиях? — спросила я.

— Такова участь эмигранта, Лилиана. И не только дешевле, но и чтобы можно было, не опасаясь, выйти из дома в любое время суток.

— Даже так?

— Конечно!

— Да, один из Португальских Послов, Фернандо Магальяэнс Крус, говорил мне как-то в частной беседе, что не боится за дочь, которая иногда возвращается домой поздно. «В Москве я спокоен (он был Послом при Брежневе) и даже не испугался, когда дочь, накануне седьмого ноября не сумев попасть домой (шла репетиция парада), заночевала у своей русской подруги по школе».

— Да, — в задумчивости поддакнул Жорж. — А вы, Лилиана, собирались рассказать мне о вашей мистической встрече с Карлом Германовичем фон Бреверном, жившим, как известно нам с вами, на этом свете в начале восемнадцатого века.

— А-а, да, да. Но мистики никакой, Жорж. А дело было так: с тысяча девятьсот шестьдесят третьего года я уже работала в издательстве «Художественная литература» в должности редактора. И вот однажды, на редсовеще, ко мне подседа сотрудница нашего Ленинград-

ского отделения. Обычно мы с ней почти не общались: она — испанистка, я — португалистка, то есть мы занимались разными литературами. А тут вдруг, подсев ко мне, она сказала: «Вот смотрю на вас и думаю: как же вы похожи на своего дальнего предка! Просто невероятно. Одно лицо».

«А где вы видели моего предка?» — спросила я ее.

«Да у нас в Ленинграде, в Этнографическом музее висит портрет президента Российской академии наук Карла Германовича фон Бреверна. Будете в Ленинграде — не поленитесь заглянуть в музей, — сказала она. — Удивительное сходство, а ведь вас разделяют два с половиной века. Вот это генетика!» Года через два мы с мужем оказались в Ленинграде. Зашли в музей. С трудом, надо сказать, нашли портрет. Он висел не в залах, а в служебном помещении (как сказали нам, временно), правда, не в одиночестве, а в компании с Лопухиной (думаю, чтобы было не скучно, несмотря на разницу в возрасте).

Жорж хихикнул.

— На вопрос сотрудницы, что же мы хотим, муж ответил: «Я художник из Москвы и хотел бы узнать: кому принадлежит портрет первого президента Российской академии наук?»

«Я этого не знаю, — ответила сотрудница, — но сейчас придет директор музея и все вам расскажет».

Вошел директор. Сотрудница представила ему моего мужа. Они пожали друг другу руки и муж назвал себя: «Кафенгауз Юрий Бернгардович». — «Очень приятно», — ответил директор. — «А это — моя жена», — продолжил муж. Я протянула руку директору и произнесла: «Бреверн Лилиана Иоганнес...» И тут же увидела на лице директора судорожную работу мысли.

«Вот-вот, — поспешила на помощь директору его сотрудница. — Они как раз пришли по поводу портрета нашего президента Карла Германовича фон Бреверна».

«Господи, — вздохнул директор с облегчением, — а я мучительно думаю, глядя на вас, откуда я вас знаю?!»

— Вот так, Жорж! А в случае с вами о сходстве не скажешь! Не похожи мы, хоть и разделяет нас не два с половиной века, а всего пятнадцать лет. Вы видели фотографию нашего с Владимиром отца?

— Нет, он не показывал.

— Тогда я вам покажу.

И я принесла несколько фотографий отца и матери.

— Вот отец еще в царской солдатской форме. Это апрель пятнадцатого года. Вот в форме прапорщика с Георгиевским крестом (как я понимаю, в Горийской школе прапорщиков), а вот в штатском... с бабочкой. Это двадцать седьмой год, когда они с мамой уже были женаты и Владимиру было три года. А вот и мама, приблизительно в эти же годы. Даты нет. Нет, в балетной пачке и русском костюме — это до замужества. Мама до замужества была балериной театра Зимина¹. А вот они в год свадьбы. А вот на этой — отец при полном параде, с бабочкой, сидит прямо на земле. Это на даче в тысяча девятьсот тридцать первом году. Меня он держит на правом колене, а брат вполне самостоятельно, как видите, сидит слева. И еще одна фотография. Тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Хлебниково. КУКС — Курсы усовершенствования комсостава запаса РККА. Отец был руководителем учебной группы. Преподавал военную тактику. Вот, пожалуйста, на фотографии восемнадцать человек — все при трех, нет, есть вот при двух шпалах в петлицах. Одного я помню. Он справа от отца. Это Кац. Может, тоже немец? Он частенько бывал у нас дома. Конечно, их уже никого нет в живых. И это естественно.

¹ Зимин Сергей Иванович (1875–1942) — театральный деятель, создатель частного оперного театра.

— Однако, — сказал Жорж, — помня печальную участь вашего отца, трудно говорить с уверенностью, что все они ушли из жизни естественной смертью.

— И это, конечно возможно, — сказала я, — но сегодня на дворе уже две тысячи первый год! Однако, Жорж, если мы с вами и впредь... Вам это слово понятно?

— Да, да, — поспешил заверить он.

— Так вот, если мы и впредь с вами собираемся поддерживать добрые дружеские отношения, то они должны быть открытыми и правдивыми. Нет, я не говорю без утайки, понятно, о чем я?

— Да, да, без тайн! Понимаю.

— Нет! — продолжала я в раздражении. — Скрывать что-то может каждый, это его личное дело! Но говорить друг другу неправду давайте не будем! Извините меня за вспышку.

— Вспышка гнева — это наша семейная отличительная черта, и она только подтверждает, что вы — Бреверн! Не извиняйтесь. Я принимаю ваши условия.

— Тогда что же вам сказал Владимир об отце?

— Да он мало что говорил о нем, больше плакал и особенно, когда я привез ему книгу: «Die Familie v. Brevern», изданную в Ганновере. Я ее очень хотел привезти и вам, но у меня не получилось. Олаф, ее составитель, сказал мне, что Владимиру был отдан последний оставшийся у него экземпляр. Кстати, Олаф фон Бреверн — глава нашей большой немецкой семьи.

— А-а, теперь мне понятно, что такое большая немецкая семья!

— И Олаф, кроме меня, конечно, — последний русскоговорящий немец. К большому сожалению, он очень стар. Ему девяносто два года. Но он со мной согласился, что вам наша большая немецкая семья обязана много больше, чем вашему брату. Вы своим трудом гораздо больше...

— Жорж, извините, ну если он, я говорю о брате, при встрече с вами только плакал и ничего не говорил, то почему вы решили, что наш отец был репрессирован?

— Нет, Владимир это сказал. Он сказал, что ваш отец был репрессирован.

— Но это неправда. У нас тяжелейшая семейная трагедия, разыгравшаяся, естественно, на фоне событий тридцать седьмого — тридцать девятого годов, но... — сказала я.

— Лилиана, вообще о Владимире я знаю больше от его сына Андрея, который мне еще при первой встрече в Париже...

— А интересно, где вы с ним встречались в Париже: у вас дома?

— Нет, в кафе. Я же его совершенно не знал. И вот, сидя в кафе, мы с ним долго разговаривали. Он рассказывал мне о себе, но больше о своем отце, о его высоких моральных качествах, воспитании, уме. И даже геройстве...

При слове «геройство» лицо мое исказилось. Передо мной возник образ матери в тот далекий теперь тридцать девятый год, когда она всеми правдами и неправдами, стараясь сохранить психику пятнадцатилетнего подростка, назвала его героем.

— Как сказал мне ваш племянник Андрей, в жизни его отца был такой случай, когда он защищал...

— Кого? — перебила я Жоржа, вспомнив о том, как однажды пятнадцатилетний племянник позволил себе сказать мне, что его отец очень пострадал, защищая меня.

— Он точно не сказал кого, — ответил Жорж, — но, как я понял, Владимир вроде бы убил человека! И Андрей, одобряя его поступок, сказал, что, окажись он в подобной ситуации, он поступил бы так же!

— Хорошо бы знать ситуацию, о которой говоришь! — снова вспыхнула я. — А то, что Владимир позже по

другому поводу угодил в тюрьму, племянник вам тоже сказал?

— Нет, — несколько растерянно произнес Жорж, — о тюрьме от него я ничего не слышал.

— Тогда я отказываюсь что-либо понимать! А вы, Жорж, мне кажется, уже кое-что начинаете... Так?! Во всяком случае, наши непростые отношения с братом и его семьей. И поскольку брат и его семья не поставили меня в известность о вашем появлении у них и своем общении с вами, я прошу вас до поры до времени не ставить и их в известность о том, что вы нашли меня в Интернете и общались со мной. Я предпочитаю правду, какой бы она ни была, и привыкла жить прежде всего в согласии с самой собой.

— Послушай, может, на сегодня... — начал муж.

— Да, да, конечно, хватит! Ты прав. И все-таки, как давно вы их навещаете?

— Да уже три года, — ответил Жорж.

— Еще чашечку кофе? — спросила я.

— Не откажусь! Уж очень вкусный торт! Да и ликер тоже.

Эти слова Жоржа прозвучали финальными аккордами начавшему было разворачиваться детективу.

— Прекрасно! Вот под торт, ликер и кофе я и расскажу вам об одном *jour fixe*, на котором я имела честь присутствовать.

— Так вы все-таки член Дворянского собрания? — спросил Жорж.

— Да нет! Для этого еще надо было много куда ходить...

— Вот это сказала! Вы поняли, Жорж? — спросил муж.

— Сейчас поймет. Ходить, вернее, идти в Государственный военный архив и другие учреждения и организации, чтобы получить разные бумажки, которые должны были свидетельствовать, что я дочь своего отца и, наверное, дворянина, состоявшего в законном браке с моей матерью. Во всяком случае, первый мой визит

в Дворянское собрание заставил меня усомниться, что там знают даже по энциклопедии Брокгауза и Ефрона о Бревернах и Бревернах де ла Гарди, их шведском и русском дворянстве. Хотя кто у нас в советское время обращался без особой надобности к этой энциклопедии, кроме издательских работников? Все открывали Большую Советскую, единственно верную и всеохватывающую, в которой все было так, как должно было быть.

— А интересно, какой возраст был у членов той приемной комиссии, в числе которых была та старушенция, что вела с тобой беседу о Христе? — спросил муж.

— Да знаешь, мне и сегодня это неинтересно. А уж тогда и подавно. Тогда мне нож острый было идти в Военный архив и беречь и без того не заживающую рану, после случившегося в тридцать девятом. И я даже почти решила плюнуть на все это, тем более что я им мало подхожу «по профилю». Ну какая я для них верующая? Заповеди чту, но в церковь не хожу, нет! И в потуги восстановить монархию (а какие же дворяне без двора Его Величества!) не верю, хотя не слишком близкие родственники царя, продолжающие жить в изгнании (там все-таки для них спокойнее!), похоже, как ни тяжела шапка Мономаха, мечтают о русском престоле и исподволь готовят преуспевающего во всех науках наследника. Он вроде бы, точно не знаю, даже учится в Суворовском училище Санкт-Петербурга.

— Да-а-а? — с изумлением воскликнул Жорж.

— А моя преданность отечеству, за которое я, естественно, болею, особенно сегодня, когда оно порушено, при всех прочих моих ущербных данных (не хожу в церковь и т.д. и т.п.), возможно, и недостаточна для вступления в Дворянское собрание.

И все-таки после моего разговора (разговор был хороший) с предводителем русского дворянства Андреем Голицыным (мы с ним, как оказалось, заочно были зна-

комы, поскольку он, будучи художником, сотрудничал с издательством «Художественная литература», в котором я работала) я решила познакомиться и с его подопечными, если в случае моего «причисления к лику дворян», будет необходимо поддерживать со всеми ними добрые отношения. «Вот пойду на ближайший *jour fixe*, — сказала я ему, — посмотрю, послушаю, познакомлюсь с вашими подопечными и решу, нужно ли мне все это!»

— Да-а, вы Бреверн — это точно! — сказал Жорж.

— Так вот, мое знакомство с подопечными князя Голицына началось прямо на улице, точнее в переулке Сивцев Вражек, по которому я шла к Дому-музею Герцена, где и должен был проходить *jour fixe*. Шла я по его правой стороне от Гоголевского бульвара. И только миновала дом моей подруги детства, как услышала у себя за спиной какое-то невнятное бормотание, потом разговор не разговор, а какие-то отдельные слова и выкрики, всхлипы и скрип то ли хозяйственной сумки на колесах, то ли детской коляски. Я придержала шаг, давая возможность нагонявшей меня женщине (как оказалось, довольно молодой) меня обогнать. Обогнав, она продолжала идти и громко разговаривать, обращаясь к кому-то, кого рядом не было: «Это твой сын, Коля, твой! Это я тебе говорю, я! Коля — я!» Потом, сойдя на мостовую и какое-то время не обращая внимания на едущие по ней машины, шла вперед. Кто-то ее обгонял, кто-то сигналил, а кто-то и останавливался, чтобы, как говорят, обложить ее как следует. Но все было безуспешно. Потом вдруг она перешла на другую сторону улицы, что меня порадовало, и еще громче закричала Коле, что это его сын! Его! Его! Его! «Похоже, пьяная», — подумала я. Но идет своей дорогой и никого не трогает. А я — своей. Однако, когда вот так, порознь, мы стали приближаться к Музею Герцена, она умолкла.

Быстро перешла улицу, держа путь явно к музею. И совсем скоро исчезла в его дверях.

В раздевалке ее не оказалось. Но когда я вошла в зал, где должен был состояться *jour fixe*, она уже была там и, сидя у противоположной стены на стуле, оправляла рассыпавшуюся по ее плечам ярко-рыжую копну волос.

Я окинула взглядом всех присутствовавших в зале и сам зал, посередине которого на длинном, покрытом скатертью столе, по обе стороны которого стояли стулья, высились два серебряных канделябра с ярко-красными свечами. И хотя несколько стульев у стола были свободны и председательствовавший (некто Сапожников) махнул мне рукой, предлагая занять один из них, я предпочла сесть у входа, справа от двери, оказавшись таким образом *vis-à-vis* с моей попутчицей.

Между тем, зал продолжал заполняться достаточно серой публикой, вполне возможно просидевшей...

— В лагерях? — нетерпеливо вставил Жорж.

— Да нет! За пыльным шкафом в коммуналах.

Жорж рассмеялся.

— А может, и в подмосковных домах, именовавшихся потом дачами. Так вот, их бесцветные лица, кое-как одетые нескладные и расплывшиеся фигуры, как женские, так и мужские, очень скоро перестали привлекать мое внимание. Тем более что во главе стола, рядом с председательствовавшим, уже устраивался несколько припозднившийся маленький невзрачный человечек — специалист по Тютчеву. Честно говоря, его у нас в издательстве «Художественная литература», в котором была редакция «Русской классики», я никогда не видела. Однако, мало ли кого я не видела!

Теперь председательствовавший торжественно подносил зажженную спичку к стоявшим на столе свечам и просил тех, кто сидел ближе к выключателю, погасить свет. Зал с «моими братьями по Дворянскому

собранию» погрузился в торжественный полумрак. Тогда специалист по Тютчеву, придвинув к себе один из канделябров, приступил к чтению доклада.

И тут, при оплывающих стеариновых свечах, я в одночасье узнала, что любимый мною с детства поэт, автор «Весенних вод», «Весенней грозы», «Зимы», которая «недаром злится...» и «...осени первоначальной» да и всего остального, был истовым дворянином, служившим верой и правдой царскому двору Александра II. И я подумала: «А надо ли мне знать эту сторону жизни великого поэта?» Ведь о стихах поэта докладчиком не было сказано ни слова. И сама себе ответила: «Нет! Не надо!» Однако, по окончании доклада собравшиеся за столом дворяне просто засыпали докладчика своими вопросами, от которых мне стало даже как-то не по себе. И я, повернувшись к сидевшему со мной рядом молодому человеку, спросила: «И частенько у вас бывают такие содержательные *jour fixe*(ы)?»

Испытывая, похоже, те же самые чувства, молодой человек, внимательно посмотрев на меня, улыбнулся и ответил: «А я думал, что такие *jour fixe*(ы) бывают у вас». — «Нет, я здесь гостя!» — ответила я. — «А я здесь по долгу службы».

«Интересно какой?» — подумала я, но не спросила.

— Доклад окончен, можно включить свет, — сказал председательствовавший. — Давайте поблагодарим лектора за блестящий...

Все дворяне дружно захлопали в ладоши. А когда в зале стало светло, я увидела, что некоторые из них хорошо подремали в потемках. Однако моя рыжеволосая визави бодрствовала и, главное, молчала. Скорее всего, была сбита с толку. Выглядела она много моложе меня. И Тютчев для нее, похоже, был просто *большой поэт*.

Не дожидаясь, когда председательствовавший поинтересуется моим мнением, я быстро поднялась, вы-

скользнула в дверь, сбежала по лестнице в раздевалку, оделась и, выйдя на улицу, обрела, к своему счастью, день сегодняшний. И поспешила в метро. И как же хорошо было ехать в битком набитом вагоне, в котором кто-то смеялся, кто-то спорил с соседом, а кто-то читал газету или просто спал!

Так нужно ли мне это Дворянское собрание, да еще в таком наборе, в котором я увидела и услышала его в тот самый день?! Ведь мне милей и ближе были эти едущие в вагоне люди, как и мои собратья по перу, любящие хорошо поддать и побуянить по любому поводу, тем более что у меня-то своя собственная португальская ниша! Вот так, Жорж!

Жорж молчал. А может, он не понял, что я хотела сказать? Или был уязвлен услышанным. Ведь он такой же дворянин и, возможно, с тем же недообразованием. И все же, решив до него достучаться, я продолжила:

— В другой раз, когда я беседовала с предводителем дворянства князем Голицыным, в дверь заглянул кто-то из его «свиты» и сказал: «К вам тут пришли иногородние дворяне, они хотят увидеть живого князя! И послушать ваш рассказ о поездке на священную землю». Ей-богу, Жорж, так и сказал: на священную землю.

«Святую, святую», — ответил живой князь, получивший высшее образование в бывшем Советском Союзе.

— Да-а, слушать вас, Лилиана, очень любопытно, но время позднее, пора и честь знать. К тому же, мне еще добираться до гостиницы по заснеженной Москве, по меньшей мере, час, если я не сяду на такси.

Увидев, что Жорж надевает красную куртку, я тут же сказала:

— Так вы большой любитель ездить на такси! Ведь к нам вы тоже на такси приехали, верно?

— Да, — ответил Жорж, — а откуда вам это известно?

— Секрет, большой секрет! — ответила я.

— Вы меня пугаете, Лилиана.

— Ну, чтобы вам не было уж очень страшно, я провожу вас до лифта, — сказала я.

— Очень рад был с вами познакомиться, очень! Всего доброго. До новой встречи.

Уже стоя у лифта, я ему сказала:

— Если вы, Жорж, хоть что-то поняли о наших непростых отношениях с Владимиром, то будьте осторожны с ним в разговорах обо мне. Владимир не очень здоровый человек!

— А если вы, Лилиана, — сказал Жорж, — все-таки соберетесь в Государственный военный архив и получите там бумаги отца, — он вошел в подошедший лифт и нащупал кнопку на пульте, — и постараетесь найти свою ветвь в *Genealogisches Handbuch*, то я...

Но тут лифт пошел вниз. Скорее всего, Жорж нечаянно нажал на кнопку. Последнее, что долетело до меня снизу, было: «До скорого, Лилиана!»

VI

Всю ночь мы с мужем проговорили обо всем тайном, что всегда становится явным, и лжи, подобной плевку в небо, который обязательно упадет на тебя в самый неожиданный момент.

— Нет, не понимаю! Зачем было Вовке говорить Жоржу, что отец был репрессирован? Почему было не сказать — умер. И все! Ведь совершенно не обязательно перед каждым раскрывать рот, как лягушка, чтобы видны были все внутренности. Что, Жорж тянул его за язык? Но говорить то, чего не было... зачем?

— Не знаю, — ответил муж. — Может, это желание вызвать жалость собеседника или почувствовать себя политически современным? Я, мол, тоже из семьи репрессированных.

— Жалость у кого, у Жоржа? Но ведь Жорж, хоть он и русский немец, родился и живет во Франции. А во Франции, как в любой другой европейской стране, вряд ли, как в России, любить умеют только мертвых...

— Ну да, а жалеть, ты хочешь сказать, умеют только счастливых... — продолжил он.

— Конечно, а потом, — сказала я, — не поставить родную сестру в известность, что объявился наш общий, пусть даже дальний, родственник (и это при полном отсутствии таковых в России), с которым он общается, как сказал Жорж, вот уже три года, это как?

— Да о тебе Вовка меньше всего думал. А может, наоборот: думал и пришел к заключению, что так будет лучше. Вы же практически не общаетесь. А уж вообразить, что Жорж может найти тебя в Интернете, он просто не мог.

— Да, родственников, конечно, надо знать, и близких особенно, хотя бы кто они и чем занимаются, — ответила я.

— Но ведь знают тех, с кем общаются. А он не только с тобой, он ни с кем не общается. И делает это сознательно, чтобы оградить себя от воспоминаний и, возможно, неприятностей, которые вдруг могут возникнуть в связи с этими воспоминаниями. А с тобой тем более: ты же единственный оставшийся в живых свидетель.

— Ну да, да!

— Слушай, уже четвертый час ночи, давай ложиться спать, ведь завтра рабочий день, — сказал он.

И, слава богу, лег и скоро заснул.

Я же прокрутилась без сна до самого утра и, естественно, работать над переводом не смогла. А потому принялась листать оставленные мне Жоржем разрозненные страницы «Книги аристократических дворянских родов». И очень скоро все по той же причине — недосыпу — затерялась в генеалогических дебрях ветвей известного дворянского рода Бревернов, воссозданных угло-

ватым вычурным готическим шрифтом немецкого языка, знакомого мне по нескольким годам обучения в обычной московской школе.

Так вот, на страницах этой книги мужские и женские особи рода Бревернов плодились и размножались в Лифляндии и Эстляндии с 1663 года. Они вступали в браки с отпрысками других известных немецких, шведских и русских родов. Рожали детей, внуков и правнуков и, надо сказать, в больших количествах, вначале на побережье Балтийского моря, потом в Санкт-Петербурге и Москве царских времен, а потом и в разных странах мира, куда в семнадцатом году XX века многие из них эмигрировали.

Жившие в Санкт-Петербурге и Москве Иоганнесы, Фердинанды, Николаусы и Георги Бреверны звались Иванами, Федорами, Николаями и Егорами, добавляя для пущей убедительности в своем русофильстве к этим русским именам и русское отчество — Иванович, поскольку изначально наиболее распространенным именем Бревернов было имя Иоганнес.

Все они, как правило, находились на государственной службе: были членами государственных советов, вице-президентами юстиц-коллегий, служили по дипломатической части, как, скажем, Карл Германович фон Бреверн (1704–1744), который после своего короткого президентства в Российской академии наук при Петре I ведал вместе с Бестужевым-Рюминым всеми иностранными делами Российской империи. В армии же наиболее выдающимся военным был Александр Иванович Бреверн (Понтус Александр Людвиг фон Бреверн, 1814–1890), командовавший в 1851 году кавалергардским полком Его Величества Николая I. А с марта 1852 года был произведен в генерал-майоры. В декабре того же года, по просьбе эстляндского дворянина Магнуса де ла Гарди, Александру Ивановичу

Бреверну, старшему сыну родной сестры де ла Гарди, которая была замужем за одним из Бревернов (отцом Александра), указом Николая I был присвоен графский титул и фамилия Бреверн де ла Гарди (потомственно). Повод: потомство графов де ла Гарди по мужской линии иссякло. Кстати, предок де ла Гарди — Магнус де ла Гарди Якоб (1583–1652), граф, шведский маршал (1620), возглавлял шведскую интервенцию в Россию, и в марте 1610 года во главе шведских войск вошел в Москву, изгнав оттуда поляков, если я не ошибаюсь.

С воцарением Александра II граф Александр Иванович Бреверн де ла Гарди был зачислен в свиту царя, командовал дивизиями, затем Харьковским военным округом, а с 1881 по 1888 год (уже при Александре III) и Московским военным округом (целых семь лет), проживая в Москве в Гагаринском пер. дом № 23, тел.: 315-07¹. Дослужившись до полного генерала в 1888 году, он был уволен в отставку и определен членом Государственного совета. Умер он в 1890 году и был похоронен в Гапсале, оставив жену Марию Александровну Воейкову, сына Николая и двух дочерей — Марию и Катю.

Его сын, граф Николай Александрович Бреверн де ла Гарди (1856–1929), был советником русской миссии в Гааге (1905–1906 гг.).

Все Бреверны и Бреверны де ла Гарди имели дома в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, а также Риге, Ревеле (Таллине), Гапсале и других городах Прибалтики, где позже они стали называться имениями.

Одно из них, в Москве, когда я еще ничего не знала о Бревернах, привлекло мое внимание в конце Великой Отечественной войны. Именья как такового, естественно, уже не было, но замок, а вернее, что-то вроде

¹ Из справочника «Вся Москва за 1914 год».

замка, стоял, как стоит и сегодня, на Волоколамском шоссе. Однако вопросом, когда он был построен, кому принадлежал, что было в нем после семнадцатого года и что в нем, обшарпанном, сейчас, я задалась относительно недавно, когда племянница мужа, выйдя замуж за англичанина, поселилась на «Покровских холмах» в коттеджном поселке, построенном для сотрудников американского дипломатического корпуса. Молодцы американцы! Ей-богу. Неплохое место выбрали для жизни. Вокруг лесопарковый массив Покровского-Глебова-Стрешнева. Чуть левее — пруды. И Москва под боком. А уж когда в очередной приезд Жоржа в Москву я получила через его посыльного книгу «Die Familie v. Brevern»¹ и увидела фотографию замка с подписью по-русски: «Замок во имении Покровское Стрешнево» и по-немецки: «Schloß Pokrowskoe b. Moskau», я узнала, что последней хозяйкой этого замка была Евгения Бреверн (р. 1840 г.), в замужестве миллионерша Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева, которая получила эту усадьбу и дом в наследство от мужа графа Михаила Валентиновича Шаховского-Глебова-Стрешнева.

Перестроив его в соответствии со своим «вкусом» и нравом, который так вот, всем и каждому, да еще и задаром, не позволял прогуливаться по ее владениям и где попало сорить, она сказала: «За все надо платить». Однако случившийся в России семнадцатый год явно вынудил покровско-глебово-стрешневскую хозяйку покинуть свою московскую усадьбу. Умерла она в 1924 году в Париже, похоронена в Гапсале. В доме ее в 1925 году был открыт музей, который в 1928 году был разорен и закрыт. Во время Великой Отечественной войны в усадьбе находился Дом отдыха военных летчиков, а чуть позже, по слухам, в нем проживал военноплен-

¹ Семья фон Бреверн (нем.).

ный Фридрих Паулюс¹. Еще позже начавшаяся было реставрация закончилась в 1992 году пожаром. Теперь идет новая. Говорят, что в бывшем Покровском-Глебово-Стрешневе будет гостиница и ресторан.

Интересно, сколько еще сохранилось в Москве подобных и не подобных этому замку домов и усадеб, принадлежавших когда-то Бревернам и Бревернам де ла Гарди? И какому добру или злу служили они, а может, и по сей день служат, украшая собой – или наоборот – московские улицы?

Господи, чем я занимаюсь?! Не сегодня-завтра, мне ехать в издательство АСТ, сдавать корректуру тома Эсы де Кейроша, в который вошел его посмертно изданный роман «Город и горы», а я копаюсь в событиях столетней давности! Какой там столетней?! Не столетней, а трехсотлетней. Пусть так! И нужно ли мне все это сегодня, в мои годы, правда активные? Что все это? Что? Договаривай, договаривай! Да, необходимость встраиваться в сохранившиеся за рубежом стройные дворянские ряды немецких родственников, которые уже и по-русски-то не говорят, кроме Олафа фон Бреверна да Жоржа де Бреверна. Но по сей день встречаются на своем Familientag(e)², где беседуют по-немецки. Последний, кажется, прошел в 2000 году в Эстонии. Не знаю, не уверена. Я ведь по-немецки не говорю. Нет, конечно, я понимаю, что человек должен знать свои истоки. Незнание предков и неуважение к ним есть первый признак дикости и безнравственности. Кто это сказал? Не помню. Однако эта дикость и безнравственность была вменена нашей семье (как и другим ей подобным) в обязанность существовавшим в стране тоталитаризма.

¹ Фридрих Паулюс (1890–1957) – немецкий генерал-фельдмаршал, в 1942–1943 годах на советско-германском фронте командовал 6-й армией, окруженной и капитулировавшей под Сталинградом.

² День встреч большой немецкой семьи (нем.).

литарным режимом. Почему, почему этот режим считал, что такие семьи, как наша, не имеют права знать, а если знают, то должны забыть или держать в секрете, даже от себя самих, кем были их деды и прадеды, бабушки, тети, дяди и даже сестры и братья, оказавшиеся после семнадцатого года по ту сторону государственной границы? Да, они, как оговаривался папа, «жили в другой...» — но тут же поправлялся: «в другом городе», чтобы у меня в будущем не возникли угрожающие моей жизни связи. Но они, эти родственники, жили мирной жизнью и поддерживали друг с другом родственные отношения. А он, отец, свято веря в молодую Советскую Россию и ее большое будущее («Эстонию, — говорила мама, — отец считал картофельной республикой»), воевал, был трижды тяжело ранен и дважды контужен в голову. Извлеченный из его ноги осколок, который я помню с детства, всегда лежал на его письменном столе. Да, воевал, веря в обещанное счастливое будущее России, на полях Гражданской войны, но не имел права даже переписываться с матерью и братом. Кем была она, его мама и моя бабушка? Ведь, когда я родилась, она была еще жива. И до 1935 года мы могли быть с ней знакомы. А кто был мой дед? Я ведь даже сегодня этого не знаю! А дяди? У отца были братья — родной и двоюродный. Кто они? Где они? Или их дети, мои сестры и братья? Почему у таких, как мы, их отняли после семнадцатого года? Сегодня, слава богу, в нашей стране официально дозволено интересоваться своими корнями, вернее, не запрещено. И если не для себя, то ради твоей памяти, отец, и истории рода я должна... должна пойти в Российский государственный военный архив и, если в нем еще сохранился твой послужной список (о нем я слышала от мамы) и все твои бумаги, должна попытаться получить их на руки или хотя бы прочесть, чтобы извлечь тебя из небытия — для себя самой и внуков.

И тут, когда я уже решила пойти в военный архив, неожиданно позвонил Жорж и как-то очень настойчиво стал меня уговаривать это сделать, в чем я тут же усмотрела его заинтересованность.

— Ваш племянник Андрей попытался получить бумаги деда в Российском государственном военном архиве, но у него ничего не получилось, — сказал Жорж.

— И не могло получиться, — ответила я, — он же не Бреверн. Он носит фамилию матери по обоюдному согласию своих родителей. Она для него удобнее и безопаснее во всех отношениях.

— Это так, все верно, — сказал Жорж. — Но его, как я понял, из архива просто прогнали. А вас не прогонят.

Для кого и зачем так старается Жорж? Звонит, тратит деньги. Парижане не сорят деньгами! Они прижимисты. В чем или в ком он — или кто-то другой — заинтересован? Во мне? Вряд ли. Скорее всего, в Андрее, он молодой (хотя уже не такой молодой), перспективный. Кто это знает? Чем он занимается? К тому же он, как и брат, не совсем здоров — это я слышала от его матери. Чем и кому он может быть полезен там, за кордоном, как говорили мы в советское время, и почему я должна этому способствовать?! Хотя, конечно, в генеалогии род идет по мужской линии. А может, в книге о роде Бревернов не хватает московских Бревернов? Одной семьи графа Александра Ивановича Бреверна де ла Гарди, проживавшего со своей семьей в Москве до 1880 года, недостаточно? А может, а может... его линия как раз... Все может быть. Все!

— Знаете, Жорж, — выпалила я. — Лично мне вполне достаточно того достоинства, что заработано мною многолетним литературным трудом. Ведь достоинство, полученное по наследству, ничего не стоит, если сам ты крутлый нуль! Так?

Жорж молчал и, по-видимому, думал по-другому.

— Жорж, вы истратите кучу денег. Когда объявитесь в Москве, тогда и поговорим, — поставила я точку в нашем разговоре. — Всего доброго!

VII

Жорж объявился довольно быстро, уже в марте. Позвонив накануне вылета, он сказал, что на этот раз в Москве будет проездом и не сумеет даже заглянуть к нам. Так что поговорить не удастся, но он пришлет с шофером, услугами которого пользуется в Москве, обещанную мне книгу о Бревернах, изданную в Ганновере.

— Немцы постарались для вас, когда узнали от меня, кто вы и чем занимаетесь. И правильно поступили. Ведь наша большая немецкая семья вам обязана больше, чем Владимиру. Но это было им не просто и обошлось не дешево. Я ведь вам говорил, что лишнего экземпляра у них не было, им пришлось допечатать! Так вот, завтра в двенадцать дня, если, конечно, вам удобно, мой шофер подъедет к вашему дому, позвонит по домофону и передаст вам книгу и мое письмо.

Я, естественно, поблагодарила и, вспомнив свои резкие слова по поводу достоинства, которые получают по наследству круглые нули, извинилась.

— Ничего, ничего, это с нами, Бревернами, случается часто, — ответил Жорж. — Всего доброго, Лилиана.

— Всего доброго, — ответила я.

На следующий день ровно в двенадцать шофер привез мне книгу: «Die Familie v. Brevern». Eine genealogische Bilddokumentation. Gesammelt und bearbeitet von Olaf v. Brevern. Hannover, 1996¹. И письмо.

¹ «Семья фон Бреверн». Генеалогия в документах и иллюстрациях. Составитель и редактор Олаф фон Бреверн. Ганновер, 1996.

Книга не книга, вернее, ротапринтное издание в твердой обложке с золотым тиснением на корешке и цветным изображением герба Бревернов на титуле.

Это, как понимаю я теперь, было достойное творение девяностодвухлетнего, стоявшего на пороге в мир иной русскоговорящего Олафа и своеобразный памятник знатному и славному роду Бревернов, рассеянных после 1917 года по всему свету. Найденные и опознанные, за исключением нас, живущих в Советской России, даже в самых отдаленных от Прибалтики уголках земного шара, они отнесены в ней к той или иной генеалогической линии с фотографиями прапрадедов, дедов, отцов, детей и внуков, бывшими именами, домами и даже коллективными фотографиями тех из них, кто приезжал с 1931 года на Familientag, вначале в Ревель, потом в Ганновер и другие города.

Лица приятные, интеллигентные. Некоторые, правда, напоминают мне, поскольку они в военной форме, Фрицев и Гансов из киносборников времен Великой Отечественной войны.

Я вглядываюсь в значительные мужские и женские лица XVII, XVIII и XIX веков, пытаюсь разобрать подписи к портретам, рисункам и фотографиям усадеб и домов. Дивлюсь их внутреннему убранству и окружающей их природе. Если это лица мужского пола, то подписи под их портретами говорят, где и когда тот или иной родился и умер, когда, на ком и где женился, даются годы жизни жены и ее родителей, в особых случаях кем эти родители были, далее следует занимаемое главой семьи положение. Например: *Kais russ. Gen-Major, Stabkpt*¹. Потом, чуть ниже, идут дети, внуки и правнуки. Женский пол представлен только годами рождения и смерти. В генеалогии пальма первенства

¹ Генерал-майор русской императорской армии, штабс-капитан (нем.).

отдана мужскому полу. Да-а, вот такая, с позволения сказать, дискриминация! С более поздних фотографий женщины глядят несколько независимее. Так кто же они, кроме того, что Бреверны? Кем они, эти женщины, были? Кроме жен и матерей? Неизвестно. Скорее всего, никем.

На первых групповых фотографиях Familientag(ов) 1931, 1932 и 1967 годов — одни мужчины. Позже, с 1972 года, — мужчины, и женщины, и даже дети.

Здесь женские лица менее значительны и почти современны. В их глазах уже читается независимость. Так ли это? Как бы хотелось знать. Кем они, эти женщины, были? Да и мужчины тоже, что они сделали в этой жизни во славу своей знаменитой фамилии? Кстати, а у всех ли смотрящих на меня с фотографий было или есть высшее образование? Я, конечно, не специалист по физиогномике, но, пожалуй, в данном случае этого и не требуется: лица говорят сами за себя. К тому же бесплатно, как в Советском Союзе, получить его за рубежом было непросто, а тогда и невозможно, как стало теперь и в сегодняшней России. Переоценка ценностей, а жаль! Ох, как жаль!

Так вот, в книге Олафа представлены Бреверны, рожденные, выросшие и покинувшие Прибалтику, после событий семнадцатого года и позже. А таких, как наш отец, оставшийся в России, участвовавший в Первой мировой войне, прошедший Гражданскую войну и погибший в тридцать девятом, и таких, как мы, рожденных, выросших и уцелевших уже в Советской России после тридцать седьмого и Великой Отечественной войны, нет. Что, не искали? Да нет, пытались. Но безуспешно. Уж очень был тяжел «железный занавес» как для тех, кто искал, так и для тех, кого искали. Однажды, в минуту откровенности, Владимир рассказал мне, что в бытность его во флоте он был как-то вы-

зван к высокому начальству, где ему сообщили, что какой-то родственник из-за кордона его разыскивает, и строго спросили: «И как же это вы оказались по разные стороны баррикад?»

Что он на это ответил, он мне не сказал. Но очень скоро, не дослужив год или два до пенсии, вышел в отставку и, вернувшись в Москву, поступил на работу в гражданское учреждение. Думаю, чтобы дослужиться до полной пенсии, ну а сыну дал фамилию жены. Вот так!

Так что нам попробовать найти «нить своей семейной истории», как написал мне в своей записочке Жорж, сопровождая книгу, не так-то просто, особенно когда ты знаешь только то, что ничего о ней не знаешь. И все же я продолжаю вглядываться в лица нашей большой немецкой семьи. Пытаюсь понять немецкий текст, набранный готическим шрифтом. Ведь в сорок втором году в школе я начинала учить именно немецкий. Однако в сорок третьем немку заменили англичанкой. Англичанка вроде как была носителем языка или какое-то время жила за границей, не помню. Куда делась немка, не знаю. А вот англичанку, которая ездила с нами летом сорок третьего в колхоз полоть и окучивать картошку, а вечером после работы на полях облачалась в красивую шелковую китайскую пижаму и ложилась, как и все мы, спать на набитый сеном мешок, брошенный прямо на пол деревенской школы, арестовали и выслали из Москвы. Так что, не успев прикипеть к английскому, мы все же успели полюбить красивую и добрую англичанку, которая учила нас не только языку, но и хорошему поведению и даже не сердилась на нас и не выгоняла из класса, когда, не выучив урока, мы прятались за висевшие на вешалке пальто и вдруг выдавали себя кашлем или чиханием. Вешалки в сорок втором году стояли прямо в классах и только в начале сорок четвертого перекочевали обратно в гардероб, где

гардеробщицей, как тогда болтали, работала, уже будучи старой и злой, княгиня Шаховская, называя нас, бросавшихся очертя голову после звонка «за польтами», хабалками.

Англичанка же, услышав наше чихание из-за вешалки, говорила: «Будьте здоровы и постарайтесь быть внимательными и слушать мои объяснения, раз уж пришли на урок, но после урока загляните к медсестре, пусть даст вам градусник».

На одном из ее уроков я, сидя за вешалкой, вдруг запела: «Мэри, Мэри, чудеса! Мэри едет в небеса!..»

«Бреверн! А у тебя неплохой голос, — сказала она. — Может, будешь певицей!»

И вот однажды мы узнали, что Мэри (англичанку звали Мария), уехала. Куда? Кто-то из педагогов нам ответил: в Сибирь. И класс снова стал изучать немецкий. Но я немецкий так и не выучила, даже перейдя в другую школу, где преподавала настоящая (а может, и нет?!) немка, которая, как и математик Рудольф Эрнестович Струве, явно благоволила ко мне. И даже перед экзаменами на аттестат зрелости сказала: «Ты не волнуйся на экзамене, если не все знаешь. Только не молчи, я все равно поставлю тебе «хорошо». Ты ведь пойдешь в актрисы, так?»

Боже! И каков был ее ужас, когда в 1951 году на традиционном сборе она узнала, что я учусь в Институте иностранных языков.

«Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — сказала я. — Я вас не опозорила. Я сдавала испанский, который освоила на подготовительном курсе Московского педагогического института имени Потемкина. А на подготовительный нас, желающих изучать испанский, брали без экзаменов». Не сказала я только, что в 1948 году с первого курса из этого самого педагогического я была исключена (будучи отличницей и старостой группы) за стихи на

одну нашу великовозрастную студентку, носившую кирзовые сапоги. Она донесла на нас, сбежавших с какой-то неинтересной лекции. Весь курс был возмущен ее поступком, а я и еще одна студентка написали на доносчицу ядовитые стишки. Кто-то с курса их размножил и пустил по рядам, и, когда они дошли до доносчицы, она взяла их и отправилась в деканат или к ректору, не знаю. Меня как старосту группы тут же вызвали к декану. Но поскольку курс твердо решил не выдавать написавших, я на вопрос декана: «Кто это сделал?» — ответила: «Не знаю». — «Но мы же дадим диктант, — сказала декан, — и выявим по почерку, кто это сделал. Ну подумайте сами, ведь тот, на кого написаны эти пасквилы, — член партии и участник войны». И диктант действительно дали, но выявили (уж не знаю, действительно ли вызывали экспертов, как было сказано) только переписчика. И хотя вся группа требовала держаться до последнего, я поняла, что будет несправедливо, если пострадает переписчик. Пошла и созналась. Услышав мое признание, декан сказала мне с укором: «Я вам не верю. Кого вы покрываете и зачем?» А когда с повинной пришла и вторая «пасквилянка», то нас обеих вызвали к ректору. Стоя в ректорском кабинете, на большом красивом ковре, и слушая гневную обвинительную речь того, кому вверено было это учебное заведение, я никак не могла понять, почему он, прочтя мои пустозвонные куплеты, так ополчился на мою фамилию. «Так, — сказал он, — вы — Бреверн. Откуда у вас эта фамилия?! А что это еще за имена или отчества?» — «Да, моего отца звали Иоганнес Эдуард Николаевич». — «Интересно, почему у него два?.. Вы кто по национальности?» Я ответила, как отвечала всегда: «Отец — эстонец, мама — русская». — «Что-то, — сказал он, — я таких имен у эстонцев не знаю! Похоже, вами руководили из-за рубежа! Кто? Отвечайте».

Голос его срывался на крик. Не понимая ярости ректора, я, опустив глаза, уставилась на ковер, края которого вдруг покрылись черной свастикой, и она пошла на меня со всех четырех сторон. (Позже муж объяснил мне, что свастика — это обычный орнамент на коврах, и ничего больше. «Короче, никакой мистики!» — сказал он.)

Теперь, когда спустя годы и годы я пишу эти строки, мне на память приходит один директор, который работал у нас в издательстве «Художественная литература» год или полтора, точно не помню. Так вот, однажды он в сердечной беседе с одним из своих подчиненных рассказал тому, что до прихода в издательство был начальником тюрьмы. Вот так! (До чего же широк был диапазон руководящих возможностей у нашей советской номенклатуры!) И теперь, опасаясь своих бывших «подопечных», он всегда носит в портфеле топорик и, прежде чем войти в издательство, оглядывается по сторонам.

Не знаю, кем был раньше ректор того педагогического института и был ли у него топорик, но рубил он с плеча.

«Так будете отвечать или как?» — продолжал он орать на меня.

От охватившего меня ужаса и подступившей тошноты я поднесла ко рту платок и закрыла глаза.

«А-а! — продолжал он, держа в руках какую-то бумагу, — так вы еще и не комсомолка! Тем лучше!»

Почему «тем лучше» и для кого? Я тогда не поняла.

«С завтрашнего дня вы исключены из института. Вам это понятно?»

Так для меня закончился едва начавшийся первый курс в Московском педагогическом институте им. Потемкина.

Забрав документы, я несколько месяцев просидела дома, все время вздрагивая, когда в нашей коммуналь-

ной квартире раздавался долгий требовательный звонок в дверь. Сердце мое замирало, в висках начинали стучать молоточки. «За мной! Теперь это за мной!» — говорила я себе, вспоминая слова отца.

Потом я поняла, что сидеть дома и трястись от страха просто нельзя, надо что-то делать. И решила записаться в один из кружков Дома ученых — отец мужа, доктор исторических наук, профессор МГУ, был его членом. Однако тут же выяснилось, что в середине года записаться можно было только делать шляпы: все другие кружки были переполнены. Ну что ж, буду учиться делать шляпы, решила я. И даже сделала две шляпы на заказ. А когда спустя время я успокоилась и осознала, что волчьего билета у меня нет и из комсомола я не исключена, потому что не была комсомолкой, что, без сомнения, было к лучшему, но теперь уже для меня (для ректора-то института, как я поняла потом, это было к лучшему, потому что, как говорится, сор из избы не надо было выносить — светиться в райкоме или горкоме), я решила еще раз попробовать, как и перед поступлением в Потемкинский институт, поступить в ГИТИС. И поступила на актерский факультет, курс Ольги Ивановны Пыжовой, правда, кандидатом (кандидатами в студенты у нас в тот год были Надежда Румянцева, Антонина Дмитриева и я).

В конце первого курса каждый из нас должен был подготовить отрывок из какой-нибудь пьесы. Я взяла кусок из арбузовской «Тани». Подыгрывал мне студент второго курса Владимир Андреев (потом ставший художественным руководителем Театра Ермоловой). Одеюсь я для отрывка в соответствии со своим вкусом и веянием моды (шел 1948 год): на мне была белая капроновая кофточка, скорее всего говорившая о достатке семьи, и капроновые чулки. «Показали, — как сказал Володя, — отрывок достойно!» (Однако, как выясни-

лось позже, женскому коллективу комиссии очень, очень не понравилась моя слишком прозрачная капроновая кофточка!) Завистливый пуризм в те годы был у нас в большом ходу.

Посмотрели бы они на выходящих сегодня на сцену полуобнаженных актрис! Да их ни одной не было бы в театре. Всех убрали бы за безнравственность. Поняв, что актрисой мне не быть — это ясно, если внимание судей привлекла не моя Таня, а моя кофточка, которая потом долго обсуждалась на курсе, — я ушла из ГИТИСа. Так, к счастью, я, не став актрисой, стала переводчиком художественной литературы Португалии и Бразилии. Кстати, в ГИТИСе тоже был свой ректор, который, подписывая мне какие-то бумаги, когда я уходила, сказал: «Ну, какая из вас может быть актриса?! Да вы уже к сорока годам будете вот такой толстой и старой!» И он мне показал мой будущий объем, широко распахнув руки. Не хватило мне тогда ни ума, ни смелости предложить ему встретиться со мной сегодня!

Поступив в 1951 году в Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза (уже со знанием испанского), где я училась в группе испанских детей, приехавших в СССР в 1937 году, и, конкурируя с ними в знании грамматики их родного языка, я в 1957 году закончила его со знанием испанского и французского. А позже, уже работая на Московском радио в редакции вещания на Бразилию и Португалию, изучила и сдала экзамен по португальскому языку.

И вот теперь, держа в руках книгу «Семья фон Бреверн», я, при знании трех языков, поначалу никак не могла «врубиться», как говорит сегодня молодежь, и понять даже подписи под имеющимися в ней фотографиями. Потом все-таки освоила эту своеобразную и совсем незамысловатую для генеалогических текстов лексику. Однако отыскать линию отца, не имея практически до-

стоверных сведений ни о деде, ни о прадеде, ни о родном брате отца, ни о двоюродном, было очень трудно. К тому же, теперь Латвия и Эстония, где когда-то жили Бреверны, были государства независимые и к русскоговорящим, пусть даже немцам, нетерпимые. Да и списаться с их архивами теперь было не так-то просто, а ехать в своем возрасте в Эстонию или оплачивать чью-то помощь в таком деле — просто нереально. А если иметь в виду, что в Эстонии идет реституция бывшей собственности прибалтийских немцев, и это сегодня волнует эстонцев, даже неэтично. Не уверять же мне их, что я не собираюсь претендовать ни на их земли, ни на их дома, ни на что-либо другое.

Я продолжаю вглядываться в лица нашей большой немецкой семьи. А вот и линия Жоржа и он сам собственной персоной, при всех своих регалиях, с французской женой, сыном, родителями, дедами и прадедами. Глядя на его родственников, я только укрепляюсь в мысли, которую высказала ему при первой встрече: «Нет, мы не близкие родственники!» Да, думаю, что и он, разговаривая со мной по телефону, сказал, что мы, возможно, очень близкие родственники, только ради того, чтобы заинтересовать меня и склонить к встрече. И это ему удалось. Только вот зачем? Он же ведь, без сомнения, знал, да, думаю, и проверил на Владимире, что мы отнюдь не близки. А может, просто ради знакомства и возможности нанести нам визит в Москве и пообщаться по-русски? Кто знает? Ведь, может, и этого не так мало для живущего всю жизнь в Париже эмигранта русско-немецкого происхождения, пусть даже со столь четко выстроенной родословной не в пример нам, советским Бревернам, вынужденным системой быть Иванами, не помнящими своего родства! А может, зачем-то еще? Зачем? Эта мысль не оставляет меня и сегодня.

Листаю книгу дальше. Ба-а-а! Да у прадеда Жоржа, Николая Георга Энгельбрехта фон Бреверна, родившегося в Ревеле, жившего в имении Изаак (Эстония) и под Санкт-Петербургом в имении Смолеговицы Ямбургского (Кингисеппского) уезда и там же похороненного, было одиннадцать детей!!!

А вот у деда Жоржа, рожденного в Нижнем Новгороде, был один-единственный ребенок — сын Анатоль, рожденный в 1910 году в Пензе, где он и жил с матерью до тех пор, пока эстонские Бреверны не вывезли их из России.

Так вот, вывезенное из Пензы семейство Анатоля едет к бабушке, владелице ресторана в Ницце. А из Ниццы в Париж, где в 1943 году у Анатоля рождается Жорж, уже четвертый ребенок.)

Интересно, каким таким доходным делом занимался отец Анатоля, и на что они, эмигранты из России, жили в Париже, имея четверых детей? Да-а-а, у каждого своё и каждому своё!

Между тем, мой (наш) отец, генерал-майор в Гражданскую войну (так сказали мне позже в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске), в 1936 году уже был в числе командующего и начальствующего состава РККА и руководил учебной группой Московского учебного центра и даже закончил вечернюю Военную академию РККА, что было засвидетельствовано подписью наркома обороны Союза ССР Маршала Советского Союза К. Ворошилова.

И наша семья, естественно, до всех отцовских бед жила в достатке, но без каких-либо излишеств. Это точно!

И я опять достаю фотографии отца. Вот он в солдатской форме царской армии (апрель 1915 года), вот в форме прапорщика с Георгиевским крестом (какой

это год?), а вот и в штатском. Это уже июль 1927 года. Меня еще нет, а брату уже три года. Какой ты красивый, отец! Я неотрывно смотрю в твои огромные немигающие глаза. Их взгляд завораживает, держит, не отпускает. Ты что-то хочешь сказать мне или спросить меня... Но что? Что? Что? Однако плотно сомкнутые в четком красивом рисунке губы вынуждают тебя хранить молчание. Так на кого же ты похож в этой книге, присланной мне с Жоржем немцами из Ганновера?

Я кладу твою фотографию рядом с портретом одного из родоначальников рода Бревернов — президента Российской академии наук Карла Германовича фон Бреверн. И тут же вспоминаю слова редактора Ленинградского отделения издательства «Художественная литература»: «Лилиана, да у вас с ним одно лицо. А ведь это начало XVIII века. Надо же, какие гены! Невероятно!»

Да, генетика — вещь упрямая. И сколько бы советские «ученые» умы ни старались ее опровергнуть, ничего не получилось.

Вот — пожалуйста! Глаза, надбровные дуги, тот же четкий рисунок губ — и у президента, и у отца. Он же сохраняется и передается из поколения в поколение. Но не у всех Бревернов, нет! Ветви-то разные. Так к какой же из ветвей родословного дерева принадлежишь ты, отец?

Теперь вы оба, Карл Германович фон Бреверн с двадцать второй страницы книги «Die Familie v. Brevern» и ты, отец, с твоей любимой мною фотографии 1923 года, смотрите на меня неотрывно, только Карл с созерцательным любопытством, а ты, отец, с твердой надеждой и даже уверенностью. На что? Не знаю. Но начинаю догадываться.

VIII

Да, что ни говори, а в Российский государственный военный архив надо звонить и, если послужной список отца там все еще хранится и его можно получить и прочесть, надо ехать и читать. И я, где-то после майских праздников 2001 года, стала звонить в РГВА.

По какому телефону я тогда звонила? Скорее всего, по телефону директора, который тут же переадресовал меня в читальный зал, где выдаются запрашиваемые читателем послужные списки и прочие документы. Звоню, представляюсь:

— Я — Лилиана Иоганнес-Эдуардовна Бревверн, член Союза писателей России. Хочу узнать, есть ли у вас в архиве послужной список моего отца? — Называю фамилию, имена и отчество.

Молодой женский голос очень вежливо отвечает:

— Позвоните, пожалуйста, завтра утром в десять, я уже буду знать и смогу дать вам ответ.

Звоню завтра утром, как договаривались. И опять тот же молодой женский голос и опять так же вежливо (до чего приятно!) отвечает, уже называя меня по имени-отчеству:

— Да, послужной список вашего отца, Лилиана Иоганнес-Эдуардовна, у нас на постоянном хранении. Приезжайте с паспортом, отношением или, как член Союза писателей, личным заявлением на имя директора архива. — И тут же его продиктовала: — Мы работаем с десяти утра до...

— Спасибо, я буду в десять. До встречи.

«Господи, — думала я, — что ждет меня завтра, когда я возьму в руки послужной список отца и открою его на последней странице? Да... не знаю, не знаю. Но до завтра еще нужно дожить, заснуть, отгоняя все мысли, и хорошо выспаться, чтобы иметь ясную голову. Приму-ка

феназепам, он всегда выручал меня в волнительных заграничных поездках. Должен помочь и дома».

Спала я как убитая. Встала, как всегда, рано и в половине девятого вышла из дома: путь не близкий, с одного конца города на другой. И вот весь этот путь, вызывая (удивительное дело!) не к Богу, а к отцу, я молилась: «Отец, если ты меня слышишь, сделай так, чтобы мне не было стыдно за тебя, пожалуйста, очень тебя прошу, очень, очень!» Сколько же раз я мысленно произнесла эту фразу, до того, как наконец, открыв дверь архива, вошла, поднялась на второй этаж в читальный зал, назвала себя и получила папку, расписавшись в сопровождающем листке требования. Роспись моя была первой и единственной за шестьдесят лет после смерти отца. Да, брат не рискнул заглянуть сюда. Теперь-то я понимаю, что для него чтение этих бумаг обернулось бы сильнейшим нервным срывом.

— Можете сесть за любой стол, — улыбаясь, сказала выдававшая мне послужной список отца молодая женщина.

Я села в самом конце зала так, чтобы у меня за спиной была стена. Развязала папку и, увидев каллиграфический почерк отца, обомлела. Я ведь и предположить не могла, что послужной список может быть написан отцовской рукой. К тому же... к тому же, аккуратно выписывая каждое слово буквами кириллицы, отцовская рука то и дело сбивалась на латиницу и делала не свойственные русскому человеку смешные ошибки. Боже, что это? Передо мной текст, написанный иностранцем?! А ведь отец хорошо говорил по-русски, хотя могла ли я, девятилетняя, оценить его русский язык?! А потом, говорить — это же не писать, тем более по-русски. И первое время я никак не могла сосредоточиться. Потом, все больше и больше вчитываясь в текст, я даже перестала это замечать. И со страниц отцовского послужно-

го списка передо мною вставал молодой мужественный человек, свято веривший в будущее России и героически сражавшийся на полях ее Гражданской войны.

Так, читаю: *родился 4 марта (по старому или новому?) 1893 года в Балтийской Эстляндской губернии Гапсальского уезда на острове Даго. Прибалтийский немец. Из дворян. Родной язык — немецкий. Владеет: эстонским, финским, русским. Отец — Николай Андреевич (Андрусович по-эстонски), немец по национальности, технический директор Даго-Картельской суконной фабрики. (Так, мама говорила, со слов отца, конечно, что дед владел небольшой фабрикой на Даго.) Умер в 1907 году. (Сколько лет? Где похоронен?). Мать — Елена Абрамовна Мадик, родилась в Финляндии, домашняя хозяйка. Умерла, по слухам, в 1932 году. (Откуда шли слухи? Мама говорила, что отец время от времени получал сведения о своих родных из официальных источников. Что за источники? Похоже, отец не хотел входить в подробности своего происхождения и рассказывать о своих предках, если мама мало что о них знала. Ну, ему было виднее, как жить в те страшные годы!) Окончил Ревельскую Александровскую гимназию в 1912 году, потом прослушал два курса медицинского факультета Юрьевского (теперь Тартуского) университета. В 1914 году отбыл на фронт (Первая мировая война). В 1915-м эвакуирован в тыл после ранения. В декабре 1915 года окончил Тифлисское Михайловское училище (прапорщик). Снова отправлен на фронт, однако в апреле 1916 года, как лицо немецкой национальности (надо же! И в 1916 году были люди, которых называли «лицо такой-то национальности»! А мы сегодня возмущаемся, когда кто-то кого-то называет лицом кавказской национальности!), переведен на Кавказ в Горькую школу прапорщиков, где был курсовым офицером. В 1917 году окончил курсы штабной службы Штаба Кавказ*

ского военного округа. И до конца службы в старой армии 1918 года служил офицером особых поручений при оперативном отделе Штаба Кавказской армии. Участия в Октябрьской революции не принимал.

Так, это все старая царская армия. Я перевернула страницу.

А вот и новая. Красная Армия (РККА), в которую он вступил в апреле 1918 года в Петрограде и в рядах которой провел всю Гражданскую войну, будучи дважды контуженным в голову: при обороне Двинска (1919) и на Бурвальдской переправе (1920) в боях за Хортицу.

По декабрь 1918 года — командир Петроградского Рождественского резервного полка.

По февраль 1919 — пом. начальника штаба Петроградской райдивизии.

По май 1919 — командир I Петроградского полка на Псковском фронте. Бои под Печорами, Изборском, Псковом.

По июнь 1919 — начальник штаба Отдельной Эстонской бригады. Контужен при обороне Двинска.

По май 1920 — начальник штаба Эстонской стрелковой дивизии. Бои под Орлом, Курском, Белгородом с Махно и под Перекопом. За белгородскую операцию (Ба-а!) представлен реввоенсоветом XIII армии к награждению орденом Красного Знамени и золотыми часами ВЦИК. Не получал. (Почему не получал? Как и где это узнать?) При обороне Екатеринославля контужен на Бурвальдской переправе.

С июня по сентябрь 1920 — помощник инспектора пехоты XIII армии.

По ноябрь 1920 г. — начальник штаба 85-й Отдельной стрелковой бригады. Назначен лично командармом Уборевичем.

Ой, нет, нет, об Уборевиче я прочла в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. Это было двумя годами позже. А здесь, на улице Адмирала Нахимова, я, читая все это, очень скоро стала уставать от обилия сведений и, перелистав несколько страниц

послужного списка, решила, наконец, заглянуть на его последнюю страницу. Последняя страница была датирована тридцать шестым годом. Вернувшись к началу, я стала читать спокойнее. Однако все время недоумевала: где же тридцать седьмой год? Кроме автобиографии, на которой внизу стоял тридцать седьмой, ни на каких других бумагах его не было. Понимая, что конспектировать, да и читать дальше мне трудно, я спросила у выдававшей мне послужной список дежурной, не могу ли я получить ксерокопию.

— Можете. Но это платно. Вам отдельные страницы или все целиком?

— Все целиком!

— За все целиком — сто шестьдесят рублей.

Когда я вернулась домой, муж спросил меня:

— Ну что?

— Да все бумаги кончаются тридцать шестым годом.

— Странно... Ведь, как ты говоришь, летом тридцать седьмого года он еще работал на Курсах усовершенствования комсостава запаса в Хлебникове, и вы жили на даче под Хлебниковом в Шереметьевке.

— Да, странно. Может... Не знаю. Когда получу ксерокопию, станет яснее...

Ксерокопию я получила 10 мая 2001 года. И тут же заглянула в конец послужного списка. Тридцать седьмого года не было. Где же тридцать седьмой, и восьмой, и девятый? Ну, что девятого нет, может, и лучше. Ведь именно тридцать девятый я боялась увидеть во всех подробностях. Короче, о том, что случилось с отцом после тридцать шестого года, я в Российском государственном военном архиве ответа не нашла.

— Простите, — обратилась я к дежурной, — тут, похоже, не все? И даже нет сквозной нумерации страниц. Какие-то явно отсутствуют.

— Вполне возможно. Но это все, что нам выдали в читальный зал, — ответила она.

Смысл сказанного я тогда не поняла, но поняла его позже, когда 14 ноября 2003 года, находясь уже в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, услышала разговор его сотрудников, выдававших мне ксерокопию хранившегося у них личного дела отца с пометкой «Хранить постоянно».

— А вот эти страницы, товарищ подполковник, — сказал убежденный сединами пожилой человек в штатском, — вы выдаете напрасно. Это не положено.

— Но она же это все знает! Я только что это выяснил, — ответил тот, который выдавал мне бумаги.

А-а, так вот почему в бумагах, выданных Российским государственным военным архивом, не было страниц ни тридцать седьмого, ни тридцать восьмого, ни тридцать девятого года. А здесь мне выдали все. Нет, не совсем все, тридцать девятого все-таки не было. Да и не надо! Я его сама хорошо помню. Все случившееся в тридцать девятом живет в моей памяти до мельчайших подробностей. И прежде всего — страх. Страх умереть от руки любящего тебя, а вернее всех нас, отца, который не дрогнет, спасая свою семью от уготованных ей бед в те страшные годы Советской России. Так что здесь мне выдали все-таки все! На папке вишневого цвета шло тиснение: **Народный Комиссариат Обороны СССР**; звезда с серпом и молотом, потом крупно: **Личное дело** и совсем внизу: **Управление по командному и начальствующему составу при Н.К.О.** На первом листе личного дела отца его фотография, хорошо мне знакомая, правда, уже с двумя шпалами. Потом все остальные бумаги и даже учетная карточка, из которой я узнала, что отец с 1918 года был в партии, но в 1922 году вышел по собственному желанию. Каждый лист ксе-

рокопии был заверен печатью и подписью начальника архивохранилища.

Здесь же, в Подольске, мне посоветовали поинтересоваться наградным листом отца в Российском государственном военном архиве, а если его у них нет, то посмотреть документы XIII армии с 15 октября 1919 года по 27 апреля 1920 года, где должно быть зафиксировано представление к ордену.

Уже будучи дома, я прочла в полученной ксерокопии, что в апреле 1921 года отец, вернувшийся после контузии в строй, был назначен начальником штаба ЧОН (частей особого назначения) города Петрограда и губернии, в июне — начальником оперативного отдела Петроградского военного округа, но в 1922-м демобилизовался. А в 1923 году, уже будучи в Москве, женился.

«И начались... те счастливые годы нашей жизни с отцом», — как говорила мама.

В эти годы, став членом Эстонского ученого общества и Эстонской военно-исторической комиссии при Эстсекции ЦК ВКП(б), отец работал в гражданских учреждениях. Однако счастливые годы длились недолго. Уже в 1929 году он снова был призван в армию, прошел переподготовку, окончил курсы «Выстрел» и был приставлен как помощник командира к Московскому областному учебному центру. А в 1933 году поступил в вечернюю Военную академию РККА, которую окончил, согласно выписке из приказа народного комиссара обороны Союза ССР К. Ворошилова от 09.10.36, с отметкой «хорошо», и продолжал преподавать тактику на хлебниковских Курсах усовершенствования состава запаса.

А вот и тридцать седьмой год. Август тридцать седьмого. Приказом Военного совета Московского военного округа отец уволен из кадров комсостава РККА по

статье 43 за антисоветские настроения и разговоры с товарищами при проработке решений февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б).

А-а! Так вот оно что! Вот почему в тридцать седьмом отец так безумствовал: стрелял в портрет Сталина, зачастил к своим немцам в Латышский клуб, приходя оттуда пьяным, ссорился с мамой и ждал, все время ждал, что его арестуют, а нас, семью, вышлют из Москвы. И все же в январе тридцать восьмого он подал жалобу в комиссию при Военном совете Московского военного округа. В феврале по поданной жалобе он был вызван в отдел по комнатному составу, где в личной беседе подтвердил, что мать и брат действительно жили в Эстонии, но последнее письмо от них он получил в 1922 году и позже никаких сведений о них не имел и не имеет. Латышский клуб посещает, но никаких контрреволюционных разговоров не вел и не ведет. После чего в феврале тридцать восьмого комиссия при Военном совете Московского военного округа за подписью маршала Советского Союза Буденного постановила: «Увольнение из РККА признать правильным, но по статье 44 (по собственному желанию)».

Да о подобном исходе дела в те страшные годы многие, как понимаю я теперь, только мечтать могли! Но не отец, нет! При всех его заслугах в Гражданскую войну, да и потом в мирное время, а тем более накануне неизбежной войны с Германией, отец прекрасно понимал, что замена статьи 43-й на 44-ю для него, по сути дела, ничего не меняет, потому что он как был для России лицом немецкой национальности, так им и остался. И увольнение его из кадров комнатного состава РККА лишь первый шаг к тому, что с ему подобными уже случилось.

Но он не допустит этого! Нет! Он не допустит! Не допустит!!!

IX

Лето тридцать восьмого мы провели на Десне. От Теплового переулочка (теперь улица Тимура Фрунзе), в котором мы жили, до Калужской заставы и далее по Старокалужскому шоссе путь на грузовике до дачи, а вернее до деревенского дома, который теперь сняли родители на лето, был недолог. Но меня укачало...

Однако наступившее солнечное утро, благоухающий свежей зеленью воздух и встреча с речкой, о которой мы с братом мечтали, заставили нас забыть всё и вся.

Десна оказалась мелкой, с илистым у берега, а чуть дальше песчаным дном и густым раkitником по правому берегу. В ее излуцинах и заводях мы с деревенскими детьми учились плавать, ловить плотву и всякую мелкую рыбешку в бутылку с выбитым дном. Набив горлышко хлебом, мы ставили ее в песок вверх тормашками и ждали, сидя на берегу, а потом быстро, когда в бутылке начинали трепетать хвосты глупых рыбок, вытаскивали ее (это делал брат) и несли свой улов хозяйской кошке. Плавали мы на надутых наволочках или просто по-собачьи, привыкая к новой, неизвестной нам самостоятельной жизни деревенских детей, особенно когда, пересекая шоссе, шли с братом за водой к роднику — колодца тоже не было. Мама обживала дом, ходила в лавку и готовила еду.

Продолжая поиск работы на гражданке, отец приезжал к нам теперь только в выходной день и то не каждую неделю, что маму очень огорчало, и она в конце почти каждой недели (тогда была шестидневка) бегала на конечную станцию автобуса звонить по телефону отцу, чтобы узнать, когда он приедет. И редко возвращалась веселой. Когда же все-таки отец приезжал, мы все четверо шли гулять в лес. Был ли тот лес действительно лесом, сказать сейчас трудно, скорее — переле-

сок. Но для меня он был большим и загадочным. И от его буйной зелени и густого соснового аромата у меня захватывало дух, и я, широко раскинув руки, бросалась по бегущей навстречу мне дорожке внутрь этого удивительного царства природы, поверяя ему свои сокровенные мысли и чувства: «Это я, это я опять пришла к тебе. И я не просто какая-то девочка, нет! Я обязательно кем-нибудь стану и что-то сделаю и обязательно приду к тебе и расскажу». С тех самых пор я осознанно, как своего друга, люблю лес, и всегда, когда оказываюсь в нем, поверяю ему свои тайны.

Осень и зима тридцать восьмого были для нашей семьи тяжелыми, а весна тридцать девятого стала трагической. По возвращении в Москву мы с братом учились: брат — в восьмом классе, а я — во втором. Мама трудилась, как говорила она сама, «не покладая рук и ног». И это была чистая правда. Вела домашнее хозяйство (прислуги, естественно, уже не было), обшивала нас, преподавала хореографию в школах, а в клубах — балльные танцы. Западные — фокстрот, танго и тому подобные — были в государстве строго-настрого запрещены. Короче, зарабатывала деньги. Отец продолжал искать работу и, похоже, не очень успешно. Потом вдруг стал чертить какие-то карты дома. Сдавал их, получал деньги, называя их «смешными», и часто не доносил их до дома, проводя вечера в латышском клубе (как теперь я понимаю) и отводя там душу с такими же, как он, обреченными латышами и эстонцами, а по сути дела — обрусевшими прибалтийскими немцами, которым ничего хорошего впереди не светило. Возвращался он подшофе, а то и просто пьяным.

Почему, почему отец все время говорил, что нашу, именно нашу семью ждет что-то плохое, и очень скоро, как только начнется война с Германией? Почему нашу? Мы что, какие-то не такие, как все? Что в нас особенного и чем мы провинились? Ведь о таком понятии, как

национальность, я, восьмилетняя, никогда в доме не слышала и потому не имела ни малейшего представления, что кто-то немец, кто-то армянин, кто-то еврей. Нет, неправда, старьеберемщика (так мы называли старьевщика), который время от времени приходил к нам во двор с громким криком: «Старье берем! Берем старье!» и за бутылки, тряпье и старые кастрюли давал нам, детям, свистульки, складные разноцветные бумажные цветы и мячики на резинке, мы называли татаринном. Однако, почему мы называли его татаринном, я тогда не задумывалась. И, пожалуй, впервые узнала, что татары — это национальность, когда отца уже не было в живых, перед самой войной.

А гуляя во дворе с подружкой, я услышала от нее, что на первом этаже в нашем подъезде живут богатые евреи. «А кто такие евреи?» — спросила я. «Ну ты вот русская, я — русская, старьевщик — татарин, а они — евреи. И у них есть такой ящик, телевизор называется, в котором видно, что где происходит, и кино даже смотреть можно. Вон, посмотри в их окно. Видишь, светится квадрат и движутся фигурки!» Я ничего, кроме светящегося квадрата, не видела.

Да, так вот постоянной работы у отца в тридцать восьмом году не было. То он что-то чертил, то мастерил какой-то чертежный аппарат. И, конечно, посещал Латышский клуб. И вот как-то, хорошо выпив в Латышском клубе, он решил удостовериться, что кавалеров у мамы действительно нет, и отправился ее встречать. И встретил в компании коллег под руку с молодым человеком. И учинил скандал. Потом, протрезвев, просил у нее прощения, обещал больше не пить и сказал, что ему наконец предложили работу в одном министерстве. «Правда, — сказал он, — такую предлагают военным, вышедшим на пенсию, а мне ведь всего сорок пять! Но посмотрим».

Однако смотреть, как понимаю я теперь, военному с таким прошлым в том министерстве было не на что. И все вернулось на круги своя: поиск работы, возвращение домой в нетрезвом виде и ссоры с мамой, терпению которой, как говорила она, «приходит конец». Теперь, когда отец появлялся в доме в нетрезвом виде, я, чтобы избежать очередного скандала, бежала на трамвайную остановку встречать маму, чтобы, предупредив ее, вместе с ней переночевать у кого-нибудь из соседей по дому, реже у родственников, чтобы вернуться, когда он проспится. Родственники всегда любили получить что-то от нашей семьи, но давать не давали ничего никогда, даже приюта на ночь. Правда, муж маминой сестры тетки Мани, дочь которой всегда гостила у нас на даче и даже в деревне на Десне, был в тридцать седьмом арестован и отправлен в Воркуту. Это он-то, который, как потом рассказывала мама, пригрозил ей однажды, что если он еще раз услышит в нашем доме (они бывали у нас на семейных праздниках) какие-либо антисоветские разговоры (в рамки антисоветских разговоров у многих укладывалось многое), то сообщит куда следует. Похоже, кто-то донес на него, упредил его донос на маму. А может, может... он... Да это только сейчас, когда я это пишу, пришло мне в голову. Неужели? Нет! Думаю, нет!

Так вот, брат вначале, когда отец стал появляться в нетрезвом виде, оставался с подвыпившим отцом дома. Но позже, после того как в очередной раз отец, оказавшись с ним один на один, чуть не спалил его под пьяную руку, тоже стал уходить из дома. Отец бесчинствовал, навеваясь, разыскивая нас, к соседям и родственникам, угрожал им расправой, если они будут продолжать прятать его семью. Родственники сдались тут же и больше нас не принимали. Соседи по дому какое-то время держались, возможно, недоумевая: как подобное могло случиться с таким серьезным высокопоставлен-

ным военным. Может, и неспроста? Потом, время такое! Да и кому приятно жить в постоянном страхе и волнении, да еще по ночам?! И мама пошла искать защиту в милиции. Однако милиция, побеседовав с вызванными отцом, тут же по телефону (телефон был поставлен отцу в тридцать шестом году — как мы тогда радовались!) сообщила маме, что ее муж был в таких чинах, что все они вместе взятые перед ним мелкая сошка и никаких прав задерживать подгулявшего героя Гражданской войны не имеют. «Ну что такого он сделал? Выпил? Пропится! Угрожает убить? Но ведь не убил же!»

Вот тогда-то мама и решила, что ни к кому никогда больше ночевать не пойдет. Все! С сегодняшнего дня, пьян отец или не пьян, мы остаемся ночевать дома. И будь что будет.

И в первых числах апреля тридцать девятого мама решила сдержать данное нам слово и осталась с нами дома. И было что было!

Вернувшийся домой отец, увидев нас всех вместе дома, сказал: «Так, наконец-то все дома. Прекрасно. Довожу до вашего сведения, что вчера арестовали такого-то... — И он назвал известную фамилию бывавшего у нас военного. — А вчера взяли всю его семью. Я этого не допущу, не бывать этому!» — И, достав из кармана ключи, он почему-то стал запираť все двери в квартире и, войдя в большую комнату, где все мы находились, заперся вместе с нами. «Читай “Отче наш”! — сказал он маме. — Нам все равно никому не жить! И если не сейчас, то когда начнется война с Германией... всех нас...» — И он, вытянув вперед руки, пошел на отступавшую от него маму.

Боже, тогда я даже не поняла, что тот самый день мог по воле отца стать для нашей семьи последним (да и могло ли подобное прийти в голову девятилетнему ребенку?!). Но почему? Почему? Ведь отец так любил

и маму, и нас! Да, конечно, он в очередной раз выпил и вышел, — как он, оправдываясь, говорил, — из себя. Да, у него большие неприятности и он не помнит себя от гнева, но нас-то он любит...

Однако брат (ему было пятнадцать) тотчас все понял и, схватив стул, опрометью бросился к шкафу, что-то нашарил на нем, что тут же блеснуло в его руке, и, быстро спрыгнув со стула, подбежал к отцу и воткнул это «что-то» в его спину. Отец разжал руки на шее матери и, откинувшись назад, поднял на брата, сжимавшего в руке финку, стекленеющие глаза, потом перевел взгляд на меня и жалобно улыбнулся.

То, что это была финка, я узнала в милиции, куда мы все трое — мама, брат и я — бросились бежать полураздетые по вновь выпавшему вдруг апрельскому снегу 1939 года, оставляя на нем алые капли отцовской крови.

Х

Теперь, когда послужной список отца и его личное дело были получены в Российском государственном военном архиве, а несколько позже в Центральном архиве Министерства обороны, как и повторное свидетельство и справка о смерти отца, Жоржу звонила я.

Жорж очень обрадовался. Сказал, что будет в Москве в десятых числах июня.

— Так что скоро повидаемся, Лилиана.

— Вы только сразу же, как приедете, позвоните, — сказала я, — так как десятого июня — национальный праздник Португалии, и в этот день я всегда в числе гостей португальского Посольства.

— Хорошо. Так и сделаю. Приеду и позвоню. Так что до скорого.

— До скорого, — ответила я.

Интересно, сколько уже лет я отмечаю этот национальный праздник Португалии в португальском Посольстве? Дипломатические отношения СССР с Португалией были восстановлены в 1974 году, но официальное приглашение я стала получать несколько позже. Скорее всего... да нет, ведь уже в 1976 году я поехала в Португалию в составе группы «Общества дружбы СССР — Португалия». Так что, выходит, почти сразу же. Да, время бежит, бежит и бежит.

И все же первый раз в 1975 году на национальный праздник в Посольство Португалии меня привел «Карамба». Это прозвище прочно укрепилось за Юрием Владимировичем Дашкевичем, который всегда и везде все свои чувства выражал именно этим испанским восклицанием, произнося его на все лады. В журнале «Иностранная литература», у истоков которого он стоял, его иначе как «Карамба» никто и не называл. Замечательный человек был, во всяком случае, по отношению ко мне. Многие его недолюбливали. Многих не любил он. А меня — любил. И всегда, и во всем помогал, повторяя сказанные кем-то (не помню кем) слова: «Талантливым надо помогать, а бесталанные сами пробьются!» Я отвечала ему взаимностью, но, когда он умер, на похороны не пошла. Хотела запомнить живым. И запомнила, и помню до сих пор его и его дружескую готовность в любой момент прийти мне на помощь во всем буквально.

Так вот, за годы восстановленных дипломатических отношений с Португалией я повидала многих португальских Послов. Беседовала с ними, рассказывала им о своей работе редактора издательства «Художественная литература» и своем страстном желании перевести на русский язык произведения португальского классика XIX века Эсы де Кейроша и португальских классиков XX века: Алвеса Редола, Вержилио Феррейры и Виторино Немезио.

Однако сегодня память моя хранит и воскрешает образы прежде всего их превосходительств сеньоров Послов Португалии: Марио Невеса; Фернандо Магальяэнса Круса и меньше всех прожившего в России Жоана Диого Нунеса Барато.

Чаще всех приглашал меня в Посольство Фернандо Магальяэнс Крус — то на обед, то на ужин, не говоря уже о приглашениях по случаю национального праздника Португалии. В советское время я всегда приходила в сопровождении либо директора издательства «Художественная литература» Валентина Осиповича Осипова (оговорив, конечно, это заранее в Посольстве), у которого были свои задумки и прожекты, либо главного редактора Александра Ивановича Пузикова, который, похоже, посмеивался над этими задумками и прожектами, а то и с двумя сразу (так было спокойнее).

Супруга Посла была всегда гостеприимна, а со мной проста и открыта. От нее я узнала, что она окончила филфак Лиссабонского университета (я как раз в 1978 году собиралась на стажировку в Лиссабонский университет), на котором она училась со многими известными впоследствии писателями, с которыми я теперь сотрудничала. И частенько, разговаривая о них со мной, выясняла, как казалось мне тогда, глубину моих знаний. На самом же деле, как оказалось потом, она проверяла свои собственные.

Как же ей нравилось подцепить нашего директора какой-нибудь шуткой. И однажды, когда она повела меня в свои личные апартаменты (они находились на втором этаже), чтобы показать имеющуюся у нее литературу (Посол и директор Осипов оставались за столом), и заметила беспокойство директора, смотревшего нам вслед, сказала: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я ее не украду. Мы сейчас вернемся». Естественно, сказанное мне пришлось перевести директору слово в слово. Господи, как же видна глупость каждого, даже глухо-

немого (в данном случае не владеющего языком), на таких вот приемах!

Позже, когда предложенный Осиповым проект издания португальской литературы в СССР и советской в Португалии на паритетных началах был отвергнут Государственным комитетом по печати, Посол сказал мне: «Какой странный человек, ваш директор! Самому предложить проект и тут же, когда Португалия согласилась с его условиями, отвергнуть! Честно говоря, я бы предпочел иметь дело с вашим главным редактором!» Узнав о сказанном Послом, мудрый Александр Иванович Пузиков ответил: «Ну, что касается странности нашего директора, ничего сказать не могу. А что касается Посла Португалии, то он на своем месте!»

Незадолго до моего отъезда на стажировку в Лиссабонский университет господин Посол поинтересовался, как я отношусь к творчеству писателя старшего поколения Жоакима Пасо Д'Аркуса. Я ответила, что совсем его не знаю, даже не держала в руках ни одной его книги.

— Ну, вот и познакомитесь, — сказал господин Посол, — он будет встречать вас в Лиссабоне.

И Пасо Д'Аркус действительно встречал меня в Лиссабонском аэропорту. Как сказали мне позже в нашем Посольстве, Пасо Д'Аркус, настойчиво добиваясь со мной — переводчицей и редактором издательства «Художественная литература» — встречи, задолго до моего приезда планировал поездки, беседы и все прочее. Да, благодаря его планам я побывала даже на фешенебельной вилле его друга — члена правительства, которая находилась в гористых окрестностях Синтры¹. Здесь меня, вторую русскую женщину (первой, как выяснилось, была Терешкова), ждало светское общество и со-

¹ Синтра — пригород Лиссабона, резиденция португальских королей.

ответствующий прием: красиво одетые дамы, подтянутые мужчины. На серебряных столиках вывозили воды, соки, вина и все прочее. Не знаю, на какие вопросы отвечала Валентина Терешкова, но я — на те, которые к литературе не имели ни малейшего отношения. Например: «Так кто же управляет вашей страной, женщины или мужчины?» — «Конечно же женщины!» — ответила я с улыбкой и тут же увидела записывающий меня магнитофон. «Да? А мы-то Брежнева считали мужчиной!» Пришлось улыбнуться еще шире: «Ну какая же русская ответит, что мужчины!» Дамы были в изумлении и восторге от моего португальского и ответов, хотя поначалу косились на мои хоть и английские, но вышедшие из моды лаковые туфли, да еще белые! Да и обеды мы с Пасо Д'Аркосом опять же не в простом ресторане, а в самом шикарном. Он высился на скале и нависал над океаном, мощные волны которого, разбиваясь где-то внизу, брызгами взлетали вверх к широкому во всю стену окну, у которого я сидела.

В этот день ресторан был пуст, занят был только один стол — и тот в конце огромного зала, сверкавшего белизной скатертей и салфеток, гранями хрустальных бокалов, серебром столовых приборов. Пасо Д'Аркос дегустировал заказанные им вина и мановением руки отсылал бутылку за бутылкой, отказывая в качестве ее содержимому. Официант стоял навывтяжку с бесстрастным лицом статиста этого театрального действия. Остановил свое внимание Пасо Д'Аркос на пятой. Я хорошо понимала, что мне демонстрируют происхождение (Пасо Д'Аркос — графского рода), уважение ко мне как к даме, ну и нестесненность в средствах: ведь за каждую открытую и не удостоенную чести быть выпитой бутылку, он платил звонкой монетой. Потом пошел выбор закусок и всего остального, на что ушло значительно меньше времени и актерского мастерства. И тут

с другого конца зала слышался шум отодвигаемых стульев, бразильская речь и звон бокалов. «Жоржи, дорогой друг Жоржи!» — опять же театрально воскликнул Пасо Д'Аркус. Да, то был хорошо известный у нас в стране бразильский писатель Жоржи Амаду с женой Зелией, детьми и директором издательства «Европа-Америка». Как видно, отмечали вышедшую в свет новую книгу. Мы выпили вместе, в том числе и за встречу здесь, в Португалии, на берегу Атлантики. Потом еще долго обедали: меня знакомили с тонкостями португальской кухни, последовательностью подаваемых блюд и вин и так далее и тому подобное. От коллоквиума, который должен был состояться через два дня (организовал его в своем доме опять же Пасо Д'Аркус) и в котором должны были принять участие двадцать пять деятелей культуры (и наверняка политики), я уклонилась: в Лиссабоне проходили антисоветские демонстрации в связи с войной в Афганистане, и мне не хотелось — да и что я могла? — отвечать по этому поводу кому бы то ни было, включая себя. Позже, пригласив меня к себе домой, Пасо Д'Аркус показал мне книгу для почетных гостей с оставленными в ней в день коллоквиума автографами, сожалея, что мой отсутствует. Показал он мне и свой рабочий кабинет, и зал с застывшими пишущими машинками, за которыми раньше у него всегда сидели машинистки, работавшие под его диктовку, и все остальные службы своей *фабрики* по производству романов. Кстати, романы он не подарил сразу и не сказал о своем желании быть изданным в Советском Союзе — выдержка! — а прислал по почте с письмом, в котором подчеркивал, что он единственный из живых португальских писателей, который удостоился чести быть изданным в коллекции издательства «Агилар». И это было правдой! Потом стал засыпать меня письмами, в которых обращался ко мне не иначе, как Vossa

Excelência¹, и советовал, где прочесть о его творчестве и что издать из им присланного.

Позже, в год гайдаровской шоковой терапии, нам с мужем пришлось помянуть давно ушедшего автора, снеся букинисту одну его книгу, правда, переведенную и изданную в СССР, но не мной, не судьба, не случилось. А теперь, думаю, и не случится.

XI

Двенадцатого июня около пяти вечера Жорж был у нас. Правда, попал он в нашу квартиру не сразу. Лифт то ли случайно остановился на седьмом этаже, то ли сам Жорж по ошибке нажал на седьмую кнопку, не знаю. Но, оказавшись у чужой квартиры, дверь которой ему не открыли, он стал звонить нам по мобильному. И когда я на своем тринадцатом встретила его у лифта, на лице его была явная растерянность. Что это? Неужели такая малость может вывести Жоржа из равновесия?

— День добрый, Лилиана. Как видите, заблудился, — сказал он.

— Добрый. И не только добрый, но и теплый, и солнечный. Вот только не помню, с самого утра день был солнечный или после того, как наш мэр Лужков разогнал облака по случаю Дня независимости России?! Станный какой-то праздник для нас, вроде бы с чужого плеча. Мы же не бывшая колония, как, скажем, Бразилия или какая другая страна, которая, освободившись, празднует день своей независимости. Мы — Россия, огромная и богатейшая страна даже сегодня, после того как мы сами, предавая и продавая, ее порушили не без помощи, конечно, Америки — нашего, как

¹ Ваше превосходительство (*португ.*).

говорят сегодня, «стратегического партнера». Грешна, Жорж, не люблю Америку. Ну да бог с ней! Давайте ужинать. И поскольку день теплый, будем ужинать на свежем воздухе — на лоджии. Там у меня дикий виноград распустился и цветут фиалки...

И Жорж просто ахнул, когда вышел на лоджию.

— Боже, какая красота! Да здесь посидеть одно удовольствие. А воздух какой!

— Тринадцатый этаж! — ответила я.

— И как хорошо видна Москва! Да, Лилиана, — продолжал он, — вы действительно буржуи, я вам это сказал еще в прошлый раз, не видя вашей лоджии.

И тут я вспомнила, как, будучи у нас в гостях, португальский писатель Урбано Таварес Родригес, выйдя на лоджию и увидев город с высоты птичьего полета, сказал: «Знаешь, сколько стоит такая квартира, да с такой лоджией, в Италии?»

Почему в Италии? Я так и не поняла. И он назвал сумму в запретных для нас тогда долларах и не без удивления увидел на моем лице полное равнодушие. Может, именно поэтому он тут же доверительно сообщил мне: «А в Афганистане — ваши. (Он только что вернулся из Кабула, куда ездил как член Всемирного совета мира.) Ваши советские войска. Тебе я могу это сказать. Видел своими глазами».

Жоржа я усадила за стол так, чтобы, ужиная и беседуя с нами, он мог все время видеть Москву, на которую медленно стал опускаться теплый летний вечер, зажигая огни реклам, уличных фонарей и окон устремленных в небо жилых домов. Потом погружавшийся в темноту город вдруг разом вспыхнул и засверкал всем разноцветием своих огней.

Гостя я угощала блинчиками с мясом и сметаной.

— Ой, как это вкусно! А какая сметана!

— Да, ложка стоит.

— А у нас в Париже — водичка!

После чая я принесла полученные в архиве бумаги отца. Увидев, что они написаны от руки, Жорж попросил меня почитать несколько страниц вслух.

— Я, Лилиана, плохо разбираю почерк пишущего порусски, — сказал он.

И потом, слушая меня, он все время комментировал: «Да, да, это так!» «Смелый был человек и честный — и все же о происхождении своем умалчивал. И это естественно».

— Но он же пишет прямо: «Из дворян», — сказала я.

— Да, да! Но это слишком общо, как говорят русские.

— О, какие слова вам известны?! — в изумлении воскликнула я.

— Ну, а как это сказать? Ведь, кроме отца и матери, он никого не упоминает, вроде бы у него не было ни дедов, ни прадедов.

— Жорж, да ведь советская власть, уничтожив все сословия, отменила у таких, как мы, и дедов, и прадедов, чтобы люди не делились на белую и черную кость. Ведь к четвертой годовщине революции Ленин прямо писал: «Наиболее глубокие корни сословности нами вырваны до конца». Вот мы и без корней! И все же выросли и стали теми, кем стали, даже при советской власти, чем не могут похвастаться многие эмигрантские семьи.

— Да, конечно, конечно, Лилиана. Но хорошо бы эти корни все-таки найти. В генеалогии без корней никак нельзя.

Он снисходительно улыбнулся.

— Да, в генеалогии нельзя, — сказала я. — Только вот приоритет, отданный в генеалогии мужчине, пора бы уже сегодня, в наше продвинутое время, — вы меня понимаете? — заменить паритетом обеих заинтересованных сторон. Тем более что прецедент есть, и весьма поучительный, и вы его знаете не хуже меня: как еще

в тысяча восемьсот пятьдесят втором году Николай I по просьбе эстляндского дворянина Магнуса де ла Гарди своим указом присвоил графский титул Александру Ивановичу Бреверну (потомственно) — старшему сыну родной сестры де ла Гарди, которая была замужем за одним из Бревернов — отцом Александра. Причина — графский род де ла Гарди по мужской линии иссяк.

— Да, да! Но присвоил-то все-таки мужчине... — парировал Жорж.

— Ну хорошо, а сегодняшняя Испания... она просто отдала пальму первенства женщине. Вот так, Жорж! Ну а что наши русские женщины, как советские, так и сегодняшние российские — продолжательницы рода, дадут сто очков вперед по всем статьям не только русским, но и иностранным... Да, да, иностранным мужчинам — это факт! И я — одна из них, имейте это в виду.

Все это Жорж покорно выслушал, не произнеся ни слова.

— Что же касается послужного списка отца, то ведь он — типовой и заполнялся тем или иным военнослужащим в соответствии с поставленными в нем вопросами. Так что только автобиография могла бы...

— Да, но и автобиографию он писал не без оглядки на события тех лет, особенно в тридцать седьмом году. Она же написана в тридцать седьмом! Так? И это, Лилиана, вполне понятно.

К героическому прошлому отца в Гражданскую войну Жорж остался равнодушен. Думаю, потому, что дед (да и отец) Жоржа и наш отец (как явствовало из полученных мною бумаг) действительно стояли по разные стороны баррикад. А вот высокие чины отца в те революционные годы Жорж высоко оценил.

— Да, — сказал он, — перед Второй мировой, да еще с Германией, отец ваш, Лилиана, был явно опасен для советских властей. Это так!

Когда же я прочла, что в 1921 году отец, после эвакуации в тыл по случаю контузии, был назначен начальником штаба ЧОН Петрограда и губернии, я вдруг сказала (да, сказала!), что, возможно, именно он и помогал его отцу выехать за границу. Во всяком случае, положение отца это позволяло. Жорж выразил сомнение.

— Да и мама, Жорж, как-то после войны сказала мне, что однажды отец встречался со своим родственником, который был проездом в Москве. И на ее вопрос: «Почему же ты не пригласил своего родственника к нам, хотя бы на обед?» — отец ответил: «Это не положено, Поля, не положено».

— Не думаю, Лилиана, что это был мой отец, нет... не думаю.

Что это? Ведь в первый раз, разговаривая со мной по телефону, он уверял меня, что мы — родственники, и, возможно, очень близкие. А теперь его уверенность исчезла. Почему? Нет, то, что мы не близкие родственники, я ему сказала сразу, как только он появился в нашем доме. Ну ничего общего в чертах лица ни с отцом, ни с Владимиром, ни со мной. А дальние — вполне возможно, при таком-то количестве объявившихся теперь у нас родственников. Однако Жорж держался твердо. Почему? Да скорее всего потому, что цель достигнута: со мной он познакомился, бывает у меня, как и у брата дома, когда приезжает в Москву по работе, и отводит у нас в России душу. Ведь как-то он сам сказал: «Не будь у меня этой работы, я бы не увидел ни вас, ни Россию». Но думаю, главное не это, а то, что отец, как оказалось, был в 1921 году начальником штаба ЧОН, а позже и начальником оперативного отдела Петроградского военного округа.

— И все-таки, Жорж, чем конкретно вы занимаетесь?

На этот мой вопрос он ответил, показав нам с мужем свою визитную карточку, на которой было написано по-

французски, что он, Жорж де Бреверн, «Consultant en Ressources Humains».

«Я не знаю, как перевести точно эти слова на русский, но кто разрешил ему, Жоржу, заниматься в нашей стране человеческими ресурсами?» — подумала я. Этот однажды возникший у меня вопрос не оставляет меня, прямо скажем, с 2001 года.

— Знаете, Лилиана, хорошо бы вы очень кратко, страницы на две-три, изложили самые важные факты биографии вашего отца. Только не от руки, а на машинке, конечно. Я, да и Олаф тоже, плохо разбираем почерк пишущего по-русски. Я же в следующий свой приезд зайду к вам, заберу текст и передам его Олафу, пока он жив. Ой, как бежит время, уже около девяти. Засиделся я у вас, а ведь обещал заглянуть к Владимиру. Сегодня мне это удобно, я рядом. Сколько от вас до них на трамвае? Минут пятнадцать-двадцать?

— Да, приблизительно так. Смотря сколько придется ждать трамвая. Но, Жорж, обо мне ни слова, напоминаю вам.

— Конечно, конечно, как договорились. Завтра, послезавтра, да и все дни до отъезда, у меня, как говорят русские, забыты.

— Не забыты, а забиты, то есть полно дел на эти дни, — поправила я его.

Уже стоя у двери, он сказал, что обязательно позвонит перед отъездом. Обязательно.

И позвонил. Сказал, что Владимира кладут в больницу, у него подозревают рак легкого.

— Андрей на грани нервного срыва. Отец рассказал ему все! «Будет лучше, если ты узнаешь все от меня, — сказал он ему, — а не от кого-либо другого, когда меня не будет!»

— Разумно, — ответила я, — если, конечно, он рассказал правду, в чем я очень и очень сомневаюсь, особенно после своего визита в Российский государственный военный архив, в котором он, Владимир, так и не побы-

вал после перестройки, как и в Центральном архиве Министерства обороны. Не знаю, может, и к лучшему.

Но признаться сыну в том, что ты убил ничтожество (ведь именно это он при каждой нашей встрече пытался втолковать мне, искренне веря, что я никогда ничего не узнаю об отце, как не пытался узнать он: в советское время не мог, а в постсоветское, похоже, боялся), — это ведь не что иное, как ложь, пусть даже во спасение.

XII

Так вот, отец! Похоронив тебя весной тридцать девятого (меня на похороны не взяли: маленькая, впечатлительная; но брат настоял и, как рассказывали потом «добрые люди», с криком «Прости, отец!» бросился на крышку гроба — еле оттащили), мама после ужаса случившегося, как могла, мужественно боролась за нашу детскую психику. Сменила отдельную квартиру в Теплом переулке на две маленькие двенадцатиметровые комнаты в коммунальной квартире у Никитских ворот, что было, как я понимаю теперь, очень хорошо. Выхлопотала нам с Вовкой (да, да, с Вовкой, в тридцать девятом он же был несовершеннолетним) за утратой кормильца пенсию, получила причитавшиеся тебе деньги с последнего места работы на гражданке и увезла нас на все лето на Кавказ к своему брату Сергею, который жил на Верблюдке. Ты, по-моему, его знал, его и его жену Липу. Как рассказывала мне мама, он был актером Малого театра на ролях эпизодических. Потом познакомился с гастролировавшей в Москве актрисой ростовского театра и уехал с ней в Ростов-на-Дону. Однако, как опять же говорила мама, большого актера и там из него не получилось. Тетя Липа еще какое-то время продолжала играть в ростовском театре, но потом они решили переехать к подножью горы Верблюдки и обжа-

вестись своим хозяйством: небольшим домом с абрикосовым садом, козами и курами. И, как писал маме дядя Сережа, соблазняя ее приехать к нему на лето погостить: «К вашему приезду, Поля, абрикосы уже созреют, да и молоком, яйцами и курятиной будете обеспечены, покупать не надо».

И вот, когда после двенадцати верст пути от Минеральных Вод мы на присланной дядей подводе прибыли к подножью Верблюдки, мама, увидев брата на костылях, ахнула. Дядя был без ноги. «А тетя Липа, похоже, без рук», — сказала нам мама, увидев ее, грязную, косматую и нечесаную.

Дом их оказался обычной мазанкой с земляным полом, устланным полыню («От блох», — сказала тетя Липа), и дверным проемом в пятой стене, сбитой из нетесаных досок. Так что ночами мы плохо спали на брошенном поверх полыни сене, все время слыша стоны, а иногда и крики дяди Сережи от боли в несуществующей ноге, а днем становились свидетелями его ссор и перебранок с тетей Липой. Однако делать было нечего: мы приехали, обратные билеты были взяты на конец августа. Нам нужно было вернуться к началу учебного года в школе. Я шла в третий класс новой школы, что находилась в Большом Кисловском, а брат — в старую, в Теплом, в десятый.

Поначалу обступивший со всех сторон чужой мир Верблюдки и дом дяди пугали меня, особенно вечерами, когда на столе за ужином зажигали керосиновую лампу и полчища ночных бабочек, комаров и самых разных удивительных насекомых устремлялись к ней и нашим тарелкам. И как-то, когда огромный зеленый кузнечик, влетев на огонь, вдруг оказался в моей тарелке, я закричала. Дядя тут же закричал на меня и маму: «Она что, никогда не видела саранчи?» — «Конечно, нет!» — ответила мама. После окрика дяди я долго молчала.

Потом, постепенно осваиваясь на новом месте, стала удивляться и радоваться окружающей меня природе.

Двугорбая Верблюдка с лысой дорогой, идущей между двух поросших зеленым лесом холмов, была невысокой. Время от времени на этой дороге появлялись люди. Они куда-то шли.

— Интересно, куда они идут? — спросила я как-то дядю.

— Да в поселок, он за перевалом. Там магазин. Раньше, когда у меня была нога, и мы с Липой туда ходили! — ответил он.

Чуть левее Верблюдки в очень ясные солнечные дни взору открывался Эльбрус. Его заснеженные вершины и далеко тянущиеся и тающие в дымке отроги завораживали меня. И я, подолгу глядя на них, стояла на пороге дома, забыв обо всем на свете. Это почему-то раздражало дядю, и он тут же посылал меня подбирать упавшие абрикосы, чтобы потом выпустить из курятника кур и злого петуха, который клевал в голову каждого, кто собирал падалицу, даже дядю, если из предосторожности тот не надел на голову кастрюлю. Красовавшиеся же на дереве спелые абрикосы дядя рвать запрещал. «Я их буду сушить на зиму», — говорил он, наблюдая за моей работой. И действительно, неделю спустя на крыше дома появились противни со зрелыми краснощеки-ми плодами. Тетя, как правило, с палкой, в грязном, подпоясанном веревкой халате, пасла коз за домом.

Брату в этом замкнутом бездуховном пространстве, как понимаю я теперь, было скучно, и он с разрешения мамы стал уезжать то в Пятигорск, то в Ессентуки, то в Железноводск. «Балуешь», — говорил дядя маме, вынуждая ее объяснять ему, что Вова кончает школу и ему, раз уж он здесь, нужно посмотреть лермонтовские места (Вова писал стихи).

Сама же мама просто не выходила из кухни, готовя теперь на всех нас, включая коз, которые, как говорил

дядя, члены их семьи и зимой живут вместе с ними в доме. «Вот почему в доме так плохо пахнет!» — говорила я маме. — «И не только поэтому», — отвечала она, не вдаваясь в подробности. Потом у меня появилась подружка — дочь учителя местной школы, на территории которой и жила ее семья. Мама очень обрадовалась и тоже стала бывать у соседей (как тогда мы их называли), отдыхая от плиты, стонов брата и ругани тетки Липы. Не ладилась наша жизнь у дяди, нет, да и привезенные с собой деньги очень скоро стали убывать. «Пожалуй, надо собираться в Москву, вот что!» — сказала мама. И потому в очередную поездку Вовки, но теперь уже в Минеральные Воды, попросила его сдать наши обратные билеты на конец августа и взять новые на более ранний срок.

С каким же нетерпением ждали мы этого срока, который, похоже, понимая нас, стал приближаться. За несколько дней до отъезда учитель помог маме нанять подводу (дядя теперь никакого участия в наших хлопотах не принимал) и договориться, чтобы она приехала за нами в четыре утра. «Ехать не так жарко будет, — сказал учитель. — Дорога-то все время пойдет полями. Но одеться надо потеплее, потом, когда взойдет солнце, разденетесь». Как же я боялась, что вовремя не придет подвода и мы, опоздав на поезд, останемся жить у дяди! И даже горько разревелась, когда мама сказала, что уже четыре утра, а подводы все нет. Но подвода все-таки пришла, и в половине пятого мы, тепло одетые, сидели на брошенном в подводу сене, и дядя Саша (так звали возчика), сказав «С Богом!» и от всей души хлестнув массивный круп лошади, погнал ее сквозь поднимавшийся с полей густой туман. На какое-то время туман зависал в воздухе, но потом рассеивался. И, в конце концов, заалел горизонт и огромный красный шар солнца стал медленно вставать над полями подсолнечника, пробуждая его тяжелые желтые головки, которые те-

перь при каждом повороте дороги, все разом поворачивались и неотступно следили за солнцем и нами.

«Ну вот и приехали», — сказал дядя Саша, подъехав к железнодорожной станции.

Он помог нам донести вещи до поезда, посадил нас в вагон и пожелал счастливого пути.

Осенью и зимой тридцать девятого мы обживали огромную коммунальную квартиру с длинным коридором, в который с одной стороны выходили двери девяти совершенно одинаковых двенадцатиметровых комнат, двух уборных и двух умывальников, а с другой — ванной и большой кухни, все с той же дровяной плитой, что и в Теплом переулке. Соседей оказалась тьма-тьмущая, в каждой комнате по три-четыре человека. Тут была и семья рабочего, и милиционера, и бухгалтера банка, и полковника какой-то службы (позже оказалось КГБ), недавно вернувшегося из Прибалтики, и продавца магазина. Короче, квартира олицетворяла собой своеобразный срез тогдашнего советского общества, не лишенного, как говорили, даже «старой барыньки на вате» — одинокой неработающей женщины со шпичем по кличке Лилька (никогда раньше, да и позже, тезок среди животных у меня не было). «Барынька на вате» была занята обменом своей комнаты в Москве на комнату в Крыму. И постоянно докучала маме и нам своими просьбами позвонить с нашего личного телефона в связи с поступившим ей «заманчивым предложением», однако счета за разговоры по межгороду (как сказали бы теперь) оплачивала нерегулярно.

И однажды, когда она, уже совсем освоившись в одной из наших двух комнат, больше часа, положив ноги на стул, беседовала со своей московской знакомой, мама не выдержала и наотрез отказала ей в своей любезности. После чего услышала: «А я считала, что мы люди одного круга».

Все же остальные соседи, похоже, так не считали и держались по отношению к нам уважительно. И как говорила мама, «не лезли не только в душу, но и к нам в комнаты».

Освободившись от назойливой соседки, мама продолжала держаться с достоинством и ровно со всеми. Работала она, как и прежде, в школах: вела хореографию и балльные танцы. Брат учился в старой школе в Теплом переулке. С утра уезжал и возвращался к вечеру. Я — в новой, и в час дня уже приходила домой. Ключа от квартиры у меня не было, но, подойдя к двери, я спокойно могла дать не свои два длинных звонка (ни мамы, ни брата дома не было), а один длинный, или два коротких, или четыре длинных, или четыре коротких, но только не три длинных (это были звонки «старой барыньки на вате»), и мне тут же открывали дверь. А когда я выходила на кухню, чтобы подогреть обед, оставленный мамой, на помощь мне тут же приходила тетя Нюра, жена милиционера (дверь ее комнаты была как раз напротив кухни). «Так, будем подогревать обед, — говорила она мне. — Перед тем, как зажечь фитиль керосинки, надо чуть-чуть выкрутить его (учила она меня), а когда он загорится, прикрутить обратно, чтобы не коптил. Потом, когда будешь снимать кастрюльку с огня, сразу огонь не задувай, прикрути еще, а то огонь полыхнет тебе в лицо. Поняла? Ну, давай действуй, пока я стою рядом. Вот так, так! Молодец!» Тетя Нюра не работала, у нее был пятилетний сын, и она вот-вот должна была родить девочку. Так считала она. И родила девочку. А когда пришла зима и она стала выходить с ней на прогулку, то, проходя мимо нашей двери, кричала мне: «Лилька, пошли гулять на бульвар!» Шпиц «старой барыньки на вате» тут же заходил в радостном лае, слыша свою кличку. Но он обманывался. Это звали меня! И, взяв снегурки, я бежала за тетей Нюрой на Никитский бульвар. Иногда, вернее, по выходным

дням, тетю Нюру с детьми на бульвар сопровождал ее муж-милиционер. И тогда снегурки к валенкам мне прикручивал он. Вот так!

Изменение статуса нашей семьи я, маленькая, почувствовала не сразу, а когда у меня стали появляться подруги, и я стала сравнивать их быт сегодняшний с нашим теперешним. Правда, кое в чем мы все еще отличались от наших соседей. У нас было две комнаты, а у всех остальных по одной. У нас был личный телефон, а у всех остальных не было никакого. Правда, наш личный, как только началась война, пришли и сняли без всяких объяснений. А после войны пришли и пообещали поставить обратно, но не личный, а для всех живущих в квартире и при условии, что мы напишем заявление на имя начальника телефонного узла на Зубовской площади и все, естественно, скинемся на аппарат. Заявление мы написали, проставили свои паспортные данные, собрали деньги и всё вручили объявившемуся в нашей коммунальной квартире благодетелю. Он все взял и был таков!

«Да это же аферист, не иначе», — сказала мама, вернувшись с работы. И оказалась права. Никто нам ставить телефон так и не пришел.

Этот случай я всегда вспоминаю, когда вдруг оказываюсь на Зубовском бульваре. Вот вчера, проводив в последний путь своего коллегу, которого отпевали в храме на Девичьем поле, опять вспомнила, проезжая мимо Зубовской площади.

Так прошла зима 1939 года. А когда пришла весна сорокового, мама, не сказав ни слова ни мне, ни брату, одна пошла на кладбище.

«Ноги идти отказывались. Мог бы жить и жить!» — рассказывала она позже, повторяя слова книгоноши, того невзрачного человечка, который приносил отцу подписные тома энциклопедии «Гранат». Как сейчас помню его появление у нас 10 апреля тридцать девято-

го года. Узнав на пороге дома о твоей смерти, отец, он остолбенел. Потом перекрестился. «Как такое могло случиться? Молодой же! Здоровяк, жизнелюб! Мог бы жить и жить! Хороший был человек! Когда?» — «Вчера», — ответила мама. — «На второй день Пасхи! В рай пошел! Царствие ему Небесное! И вечная память!» — сказал книгоноша.

Не знаю, где ты, отец, сейчас, в раю или в аду? И принимал ли Господь решение относительно твоего местопребывания, ведь убиенный вроде бы идет напрямик в рай.

Господи, как же переполнен был рай в те страшные тридцать седьмые — тридцать девятые! Что же касается Царствия Небесного и вечной памяти, ничего сказать не могу. Скорее всего, мы, которые живем и помним вас, ушедших, длим ее елико возможно в нашем сознании, вовлекая в этот процесс детей и внуков, и творим вокруг вас мифы.

Так вот, весной сорокового мама, не сказав ни слова ни брату, ни мне, пошла на кладбище одна. «Подхожу, — рассказывала она, — а из цветущего куста бузины навстречу мне вылетает бабочка-белянка. Подумала: «Отец привет посылает. Сердце заныло. Надо бы поставить крест!»

Но у Вовки как раз начались выпускные экзамены, а когда они кончились, и вполне успешно, он, безнадежно влюбленный в свою одноклассницу, которая отказала ему в своих чувствах, чуть не покончил с собой. Слава богу, обошлось!

И мама опять, чтобы сменить обстановку и дать отдохнуть сыну на лечащей душу и тело природе, сняла на паях с одной своей коллегой по работе деревенский дом под Загорском. Работая в Москве, она раз в неделю (тогда все еще была шестидневка) накануне выходного приезжала к нам с продуктами. Готовила нам еду на неделю и обстирывала нас.

Но теперь после гибели отца с Владимиром все время что-то приключалось. И в Матренках (так называлась деревушка под Загорском), поспорив с деревенскими мальчишками, он полоснул себя по вене. «Кровь, — как говорили парни, — била фонтаном». Спас его муж маминой коллеги, писатель, который постоянно жил со своим сыном Лодькой и с нами в снятом доме. Быстро перетянув Вовке руку, он повез его в Москву на попутной машине. Обошлось все и на этот раз. А солнце, воздух и вода сделали свое доброе дело. Мы ходили в лес за грибами, купались в пруду, загорали на теплом солнышке, пили парное молоко и холодное из погреба, ели свежие огурцы прямо с грядки. А я с хозяйкой даже ездила торговать ими на рынке Загорска. И к первому сентября мы, как обычно, уже были дома. Потом пришла осень и зима сорок первого. А потом, потом, потом, когда сошел снег и все зазеленело, и запели птицы, и расцвели фиалки, пришла война.

XIII

— Наконец! — кричала я, прыгая от радости, в 2001 году. — Наконец нашелся издатель, который все-таки решил издать роман Вержилио Феррейры «Во имя земли...»

Писатель замечательный, автор романов, повестей, рассказов, полных философских раздумий о человеке — величайшем творении природы, всемогущем Боге, способном творить чудеса.

Советскому читателю Вержилио Феррейра был известен и был им востребован. Его произведения издавались в СССР с 1976 года. И первые рассказы были опубликованы в журнале «Иностранная литература», в том числе «Письмо», которое прозвучало в литературной передаче Московского радио. Сама я эту пере-

дачу не слышала, но мне позвонила Инна Тынянова и сказала:

«Лилечка, включайте скорее радио, Джигарханян читает рассказ Вержилио Феррейры «Письмо». Это же ваш перевод!»

Радио я включила, но плохой приемник, вначале трещал, забывая мужской голос, а потом вообще заглох.

Позже, в восьмидесятом году, в издательстве «Художественная литература» вышли уже два романа Вержилио Феррейры: «Явление» в моем переводе и «Вот уже тень...» в переводе А. Косс. А еще позже, в восемьдесят шестом, в издательстве «Радуга» — три романа в серии «Мастера современной прозы»: «Явление» и «Краткая радость» в моем переводе и «Знамение — знак» в переводе В. Федорова и рассказы в переводе Н. Котрелева, Д. Кузнецовой и моем: «Звезда», «Всего лишь люди» и «Письмо».

А в девяностых (ох уж эти девяностые!) в издательстве «Художественная литература» был подготовлен том «Избранных произведений» Вержилио Феррейры в серии «Мировая классика» и сдан мною в производство.

Но тут разгулявшийся по всей нашей стране ураган приватизаций обрушился и на издательство «Художественная литература», руководители которого размечтались о своем собственном крошечном, карманном издательстве, в котором «будут издаваться замечательные книжки» — сказала мне сладчайшим голосом бывшая заведующая нашей редакцией.

«А что, до этого мы издавали не замечательные книги, прославившие издательство на всю страну?» — спросила я.

«Конечно, издавали, конечно, но так сегодня говорит Гога».

Заведующая имела обыкновение называть директора издательства Георгия Андреевича Анджапаридзе умень-

шительным именем, что лично меня всегда корбило. Терпеть не могу панибратства.

«Так, значит, том Вержилио Феррейры снимается с...»

Не дав мне договорить, она тут же сказала:

«Да, снимается, но по тому Феррейры, сданному в производство, с тобой будет произведен полный расчет, тем более что ты уходишь на вольные хлеба».

Много позже, желая все-таки издать подготовленный том «Избранных произведений» Вержилио Феррейры, я обратилась в молодое, но уже мощное издательство «АСТ», с которым начала сотрудничать с 2001 года и где в 2002 году у меня вышел в свет том Жозе Марии Эсы де Кейроша в серии «Мировая классика».

Издать том Эсы де Кейроша, в который вошли роман «Кузен Базилио», повесть «Мандарин» и последний, посмертно опубликованный в 1900 году роман «Город и горы», я предложила издательству «АСТ» бесплатно. Время, как я уже писала, на классику не работало. Да и мой перевод целиком был оплачен Португалией, а само издание — поддержано Институтом Камоэнса, о чем свидетельствует логотип института на обороте титула книги. На целлофанированной обложке тома (да, да, я ведь не целлофанированную обложку как таковую ругала в конце девяностых, а то, что на ней было изображено!) в левом ее углу красовался элегантный Эса де Кейрош с бутоньеркой в петлице, а ниже, почти на всю полосу, была дана картина Эдуара Мане, его современника. И книга разошлась очень быстро.

Так вот, по договоренности с «АСТ» я и сдала им подготовленный в издательстве «Художественная литература» том Вержилио Феррейры, но почему-то в тот день, когда я его сдавала, договора со мной сразу не заключили. Вполне возможно, того, кто должен был подписать договор, в издательстве в тот день не было.

«Лето! Отпуска», — сказала мне редактор, очень милая деловая женщина.

Но прошло лето, прошли гранки, прошла верстка, и весь том «Избранных произведений» Вержилио Феррейры был возвращен мне вместе с устным отказом его печатать, поскольку теперь наша страна подписала Бернскую конвенцию, по которой публиковать произведения иностранного автора, не выплачивая ему гонорара, было можно только по прошествии пятидесяти лет со дня его смерти. А выплачивать гонорар мне и наследникам Вержилио Феррейры, к которому не известно как отнесется сегодняшний российский читатель, издатель «АСТ» просто не хотел.

Ну, на самом деле, как отнесется сегодня этот российский читатель к философским раздумьям Феррейры о человеке? Ведь сегодня философские раздумья о человеке не в цене. Да и сам человек и его жизнь равным счетом ничего не стоят. Убивают его запросто и в жизни, и на экранах телевизоров и кинотеатров. И к этому, похоже, все привыкли. Да и воспримет ли сегодняшний читатель разговор о жизни и смерти главного героя романа, живущего в доме престарелых и стоящего на пороге в мир иной, и не с кем-нибудь, а с самим Христом, изображение которого висит у героя здесь же, в приюте, на стене его комнаты. И какой разговор!

«— Многое хочется сказать Тебе... Так что же я хочу сказать Тебе? Да, пожалуй, и не так уж и много. О признании человека человеком, но не во славе, а в унижении, не в радости, а в страдании, не тогда, когда человек здоров, а когда болен и гнет. Во всяком случае... подожди, дай подумать. Во всяком случае, мне не просто сказать Тебе, что я не очень-то восхищаюсь Твоими мучениями. Или не совсем так. Меня, как и должно, трогают Твои кровоточащие раны и то, что Ты истерзан. Но не мешало бы и Тебе взглянуть на меня, увидеть меня здесь,

как бы помещенным в твое Тело, не задумываясь о том, что было до и после. <...>

Но сейчас я хочу забыть все, что было до и после того, как Ты был распят. И смотрю на Тебя. То, что Ты был юн, молод, – это факт, а в молодости нет смерти. Нужно подождать старость и доказывающую ее дряхлость. И быть одиноким. Ты жаловался, что Тебя оставил Отец Небесный, это одно. А вот когда Тебя оставляют дети, это совсем другое, но никто не жалуется. А я жалуюсь. Этот обычай быть гуманным пришел к нам из книг, когда человек стал человеком. Ну, как бы там ни было, Ты распят, и нет ничего плохого в том, что я Тебя, мой брат, признаю. Страдание, которое Ты перенес, пришло к Тебе извне, Твое тело, когда все это случилось, было молодым и здоровым. А мое страдание родилось во мне, в моем теле, не знаю, чувствуешь ли Ты разницу. Надо мной никто не совершал насилия, тело мое стало разлагаться само. И в Твоем и в моем случае все завершилось страданием, мой брат. Хотя и отличный от меня, но брат. Хотелось бы знать, как бы Ты переносил страдания, если бы увидел, что Твое тело само разлагается. Может, тогда Ты жаловался бы, что Отец Небесный покинул не только Тебя, а всех нас, Твоих братьев и сестер, – все человечество. А может, Ты жаловался бы только на себя, на свое презренное тело, потому что только оно реально Тебя и оставило. Мужественным можно быть, когда тело здорово, тогда оно на нашей стороне и сносит вместе с нами чужие плевки, не переходя на сторону противника. <...> Ведь разлагающееся тело столь унижительно. Видны внутренности, точно нас раздели и выставили напоказ нашу наготу, которая скрывалась под другой наготой, прикрытой одеждой. Ты должен был испытывать стыд. Ведь под Твоей гладкой кожей были кости, кровь и гниение. Ты должен был почувствовать, что душа Твоя расстается с телом, как с разрушенным домом. И должен был почувствовать себя куда более одиноким, чем тогда, когда Ты говорил, что Тебя оставил Отец Небесный. Ведь это одиночество гораздо большее, так

как наше тело составляет нам последнюю компанию. И все же в конечном счете, учитывая оскорбления и все прочее, Ты продолжал находиться в центре театрального представления. И издательства окружавших были лишь подтверждением того, что Ты существуешь. Так что же существует в конце в теле, прикрытом тряпками? Что же остается, почему Ты думаешь, что Ты есть? Только поэтому я Тебя помню, мой брат. Не знаю, оскорбляет ли Тебя это, но это так. Мой брат. Сын человеческий, брат в унижении и боли. В сострадании, которое на нас нисходит. В отвержении к телу в его низкой подлости. И в малой толике божественности, которая не помешала бы, если бы была.

Вечер на исходе, заходящее солнце отбрасывает от Твоего изображения тень. Я привез Тебя из деревни без креста, для чего Тебе нужен был крест? Без креста Ты лучше. И обрати внимание, без него я вижу, что Твои руки распахнуты в большом объятии. Можешь обнять меня, я разрешаю. Пока еще в моих жилах бежит кровь. Можешь. Она не пачкает. Но не думай, что я растрогаюсь. Если кто-то и должен растрогаться, то это Ты. Но с Тобой этого не происходит. Превыше нас – великий закон, брось сентиментальность. Ты выполняешь свою миссию с определенной корыстью, я свою – безо всякой. И наши счета уходят в бесконечность. Теперь тень Твоя удлиняется. Это покрывало Твоего величия. Из тени, но покрывало. Ты впереди, как в апофеозе. А я так одинок, как Ты, возможно, и не представляешь. И тень моя вся внутри меня».

Вот привела я эти строки и тут же подумала: а будет ли наш сегодняшний читатель философствовать по поводу этой земной сущности, которой, как пишет Феррейра, отказано даже в малой толике божественности, раз она лишена права на бессмертие?!

И все же, все же я хотела надеяться и надеялась, что найдется мыслящий издатель и даст мыслящей части нашего сегодняшнего общества прочесть предлагае-

мый мною роман и по достоинству оценить его и его создателя.

И издатель нашелся. Главный редактор издательства «Б.С.Г.-Пресс» Татьяна Владимировна Бердикова прочла роман и предложила его издателю Александру Иосифовичу Гантману.

В 2002 году договор со мной был подписан, а в 2003 году роман вышел в свет к открытию выставки-ярмарки Non-fiction. Появление романа отметили вполне достойные рецензии как в электронных СМИ, так и в периодической печати.

Александр Иосифович был доволен книгой и моим переводом, и мы с ним стали подумывать об издании уже переведенной мной ранней повести Вержилио Феррейры «Утраченное утро жизни». Он даже сказал мне:

«Вот разберусь со своим здоровьем, и сам вам позволю, и мы все решим».

Звонка не последовало. Выждав полгода, я позвонила сама и — о, ужас! — узнала печальную новость, что Александр Иосифович Гантман умер. «Как? Когда? Почему?»

С какой же теплотой я вспоминаю сегодня этого открытого, душевного человека, который мог вот так, просто, рассказать мне (еще мало ему знакомому автору) свою грустную историю становления издателем после всем известных событий девяностых, когда он, инженер по образованию, оказался без возможности работать по профессии, которая его кормила. И только любовь к книгам, которые он теперь был вынужден продавать, разложив их на бумаге у метро, потом в метро, потом где-то еще, спасла его. А потом он создал «Библио Сервис Гантмана». А потом и издательство «Б.С.Г.-Пресс», которое и после его смерти под руководством его жены Натальи Павловны несколько лет

успешно работало с известными авторами, переводчиками и художниками, издавая зарубежную классику и произведения современных авторов, как российских, так и иностранных, в отличном полиграфическом исполнении.

Вот бы издать у них сборник «Стихотворений в прозе», нет, не Тургенева, а португальских писателей, состав которого еще в 1980 году мне помог сделать президент Лиссабонской академии наук Жасинто до Прадо Коэльо. Я бы, без сомнения, открыла его рассказом все того же Вержилио Феррейры «Письмо».

«Как никогда, ты нужна мне сейчас, как никогда, я жду тебя. Если бы ты пришла... Дом стоит среди оливковых и фруктовых деревьев. Неторопливо над его крышей проходит время, оставляя свои приметы: весной – цветущие яблони и желторотых цыплят во дворе, летом – дивные утра, осенью – золото созревающих хлебов. Я вспоминаю эти утра, прохладный блеск воды в душные июльские ночи и трепет земли в предрассветный час. Когда я уезжал, мой отец сказал мне:

— Возвращайся.

А мать молчаливо глядела на меня, покорная и в то же время безмятежно-спокойная, как будто судьба моя была в ее руках или она по опыту знала: в этой жизни чему быть суждено – родиться, уехать, умереть, – того не миновать.

И вот я вернулся, вернулся этим зимним вечером, когда круг жизни почти замкнут. Я открываю двери опустевшего дома, открываю окна и веранду. С наступлением темноты травы становятся высокими, а оливковые деревья темнеют. На сырой земле около дома лежат бочарный обод, заржавевшая мотыга без ручки, лейка. Мой отец любил землю. И я помню, как помогал ему резать подпорки для виноградной лозы и носить воду для полива лука. Мать смотрела на нас с веранды, и сердца наши наполнились теплом взаимопонимания.

Сколько я пережил, выстрадал, передумал! А теперь все, чем жил и дышал эти годы, кажется мне пустым и никчемным. Как видно, кто-то задолго до моего рождения предопределил мою судьбу, поставив передо мной трудную задачу жизни. Когда я приступал к ней, другие уже были у финиша. Сегодня я завещаю ее идущему на смену молодому поколению. Меня же сейчас из всего, что было в ее условиях, волнуешь только ты и твой вопрос, который до сих пор звучит в моих ушах:

— Вернешься ли?..

Я вернулся. Растапливаю камин, и пламя оживает, как память прошлого. Тишина, будто в былые годы, когда не было нужды в разговорах и уже одно то, что мы были рядом, было счастьем. Я тяну свои руки к огню, смотрю и вслушиваюсь в тишину. От тепла кровь приливает к пальцам, и они краснеют, точно угольки в камине. Ты говорила:

— Никто не знает своих рук. Чаще знают руки других. Лучшие бы твои, такие ласковые, были здесь, дома со мной.

Удивительны зимние ночи. Безмолвны. Только собаки всю ночь напролет до хрипоты лают в соседних дворах. Вот и сейчас одна никак не умолкает, старается сказать последнее слово. Когда-то и у нас в доме был пес. Дождливым утром я нашел его у порога кухни. Он насквозь промок и весь дрожал. Мать не любила собак.

— Пачкают, грызут все подряд.

Я обсушил его, дал кусок хлеба, дал имя. Мать смирилась. Хороший нюх сделал его незаменимым на охоте. Однажды... Как? Никто не знал. Его подстрелили. Это была легавая собака с человеческими глазами.

Пламя опадает. Пирамида из тлеющих угольков рушится. Лай наконец стихает. Ни луны. Ни ветра. Только звезды мерцают на черном бархате неба. Если бы ты пришла... Я, бесконечно усталый от пережитого, представляю тебя такой же тихой и значительной, как этот час на исходе ночи. Взываю к тебе после стольких канувших в вечность

лет. У тебя под глазами темные круги, твое присутствие согревает, как ласка. Но тщетно, тщетно. А может... Может, есть надежда на ответное чувство, которое я хочу увидеть на твоём лице, на то чувство, которое я пронес через жизнь и сохранил в своём сердце, диктующем мне эти строки? Рядом с камином стоит глубокое кресло с подлокотниками. В нём любила сидеть моя мать. А отец — в том, которое сейчас занял я. Холодными ветренными вечерами они молча сидели здесь, смотрели на огонь и дремали. Ты говорила:

— Им не о чем разговаривать. Все сто раз говорено-переговорено!

Я открываю снова дверь на веранду, и холодный воздух освежает мое пылающее лицо. В глубине двора раньше росло фиговое дерево. Мать обычно развешивала на его ветвях веревки с рыбой. Я любил качаться на этих веревках.

— Смотри, ломаешь дерево. Вон уже и веревки оборвал.

В одну из суровых зимних ночей дерево рухнуло. И мать потом вечно меня корила за то, что я на нем качался.

Сколько воды утекло с тех пор, но память моя хранит и оживляет все в этот долгий, волнующий душу, тихий час ночи, и я взываю к тебе. Я смотрю на мерцающие звезды, которые посылают свет на забывшуюся сном мерзлую землю. И думаю: «Они хотят мне сказать что-то значительное, что-то предсказывают, что-то должно произойти!»

— Да, надежда — лучшее, что есть в жизни.

Это говорила ты. Не потому ли моя надежда окрашена в цвета усталости и покорности судьбе? Ведь все, о чем я мечтал, что хотел видеть цветущим, все новое, что увлекало, захватывая меня целиком, без остатка, волнуя кровь, заставляя хрипнуть от крика, дрожать от злости, плакать и радоваться, — все, абсолютно все растворилось, исчезло, оставив одно-единственное — желание припасть к твоей теплой груди, в которой бьется отзывчивое сердце. О, если бы завтра, проснувшись рано утром, навстречу еще одному никчемному

дню и еще одной ночи, многим дням и ночам, что отпущены мне небом, увидеть тебя, хлопочущую у очага, почувствовать ни с чем не сравнимые запахи родного дома!.. Если бы завтра ты села в глубокое кресло с подлокотниками, что стоит подле камина, и мы оказались бы рядом и, забыв слова, молча сидели и смотрели на огонь... Смотрели до тех пор, пока, наконец, не сожнулись бы наши веки».

Но нет, не все мечты сбываются. Состав сборника «Стихотворений в прозе» португальских писателей до сих пор лежит у меня в ящике письменного стола.

XIV

Так вот, когда весной сорок первого стаял снег и все зазеленело, и запели птицы, и расцвели фиалки, пришла война, Великая Отечественная война с фашистской Германией, которая длилась четыре бесконечно долгих года.

Она заявила о себе двадцать второго июня душераздирающим воем сирен, оповещавших о воздушной тревоге, затемнением города, который каждый вечер, погружаясь в полную темноту, ждал налета немецких бомбардировщиков, объявлявших о своем прилете вначале прерывистым гулом моторов, а потом свистом и взрывами сыпавшихся на Москву зажигательных и фугасных бомб. Стены домов запестрели указателями укрытий и бомбоубежищ. Словно по команде опустели полки булочных и продовольственных магазинов, на которых, правда, довольно долго еще продолжали красоваться баночки дальневосточных крабов, которых, похоже, в те годы никто не ел. Потом стали закрываться школы, Дома пионеров, клубы и все остальные учреждения и уезжать люди — эвакуироваться, кто куда,

с заводами, научными учреждениями и театрами. Уехала моя подруга Лиля с пятого этажа и ее соседка Муся.

— Мы, — сказала мама, — никуда не поедem! Нас никто нигде не ждет и хлопотать, когда окончится война, о нашем возвращении в Москву никто не будет: некому! Так что жить, работать и, если придется, умирать мы будем в Москве.

Но я так настойчиво, по глупости, конечно, рвалась уехать в эвакуацию со своей новой школой («Да, — плакала я, — все уедут и там будут учиться, а я... я...»), что мама сдалась. А два месяца спустя, получив мое слезное письмо, из которого она узнала, что мы тяжело работаем, голодаем и мерзнем (уезжали-то мы одетые во все легкое), и скоро нас повезут дальше, в глубь страны, а потому просят выслать теплую одежду, тут же отправила за мной брата. И когда Вовка привез меня домой, с укоризной и горечью сказала, что, если бы не Вовка, который еще не призван в армию, привезти меня обратно в Москву было бы некому. Слушая маму, я молчала. Ведь в Москве в военное время никто по собственному желанию не имел ни права менять место работы, ни тем более оставлять свое рабочее место без особого на то разрешения: увольнение было обеспечено. Ну а лишиться средств к существованию (денег и продовольственных карточек) было страшно. Вот поэтому-то три месяца спустя после эвакуации моей новой школы под Рязань мама, оформив доверенность на брата, который должен был меня привезти в Москву, и отправила его в Касимов.

И вот теперь, по прошествии стольких лет, я, вспоминая это, хорошо понимаю, как ты была права, мама, и тогда, когда не хотела отправлять меня в эвакуацию с моей новой школой. И потом, когда, получив мое письмо с просьбой забрать меня, тут же сделала это,

послав за мной Вовку. Ведь даже сегодня, спустя шестьдесят пять лет после Великой Отечественной войны, многие семьи все еще разыскивают своих родных и близких, утраченных в силу тех или иных обстоятельств в те страшные военные годы. И зачастую так и не находят.

Вовка приехал за мной ранним утром, задолго до подъема. И когда кто-то так рано стал будить меня, говоря, что за мной приехали, я, сочтя это очередной злой шуткой, разревелась. И вдруг услышала голос брата:

— Чего реवेशь? Вставай, одевайся и быстро завтракай.

— Я не хочу завтракать, не хочу, — закричала я, боясь, что если я пойду завтракать, он исчезнет так же быстро, как появился.

— Не хочешь, и прекрасно! — сказал Вовка. — Времени у нас в обрез. Собирай свои пожитки, и пошли. Нам нужно успеть на идущий в Москву пароход. Около часа он должен быть в Касимове. Только ничего не забывай, чтобы не возвращаться. Времени нет!

Пожитков у меня практически не было. А потому я быстро собрала их, попихала в чемодан и вышла к брату.

Вовка подписывал какую-то бумагу.

— Ну, — сказал он, — пожелай педагогам всего доброго, и в путь!

— А ребятам?

— Не надо, пусть себе спокойно спят. Нам надо уйти тихо, чтобы никого не разбудить и никого не расстроить.

И вот, когда мы уже были в Касимове и спускались к причалу, я парохода не увидела.

— А парохода-то нет! — сказала я в ужасе, что придется возвращаться.

— Как это нет?! Вон стоит. Видишь зеленый островок около причала? Это же замаскированный пароход (слово «замаскированный» я услышала впервые). Немцы бомбят открытую движущуюся мишень. А замаскированный пароход с воздуха не виден, даже если в момент налета окажется посередине реки. Бежим скорее вниз. Он, похоже, пришел раньше!

Когда же, оказавшись на палубе, мы отдышались, а пароход отдал швартовы, Вовка предложил мне поесть. Как оказалось, мой завтрак он, пока я собирала свои пожитки, взял сухим пайком и даже прихватил бутылку с чаем. Теперь, успокоившись, что мы на пароходе и на пути домой, я с удовольствием поела и стала смотреть на уже скрывавшийся за кормой касимовский берег, с благодарностью думая о деревенском касимовском парнишке (он познакомился со мной на прополке колхозного лука), который в день моего рождения (от кого он узнал?) пришел к нам в интернат (свою бывшую деревенскую школу) и попросил нашу уборщицу Дусю (она была из местных и хорошо его знала) позвать меня.

Я вышла. У ворот стоял (как же его звали... этого мальчика? Не помню) касимовский парнишка (сколько ему тогда было лет? Не знаю), стоял и, протягивая мне большой букет бело-розовых пахучих пионов (раньше эти красивые цветы я видела только на клумбах в московском «Парке культуры и отдыха имени Горького»), поздравлял меня с днем рождения.

Кровь ударила мне в лицо. Какое-то неведомое мне до тех пор щемящее чувство то ли стыда, то ли тоски, то ли еще чего-то охватило меня всю целиком, и я, расплакавшись, бросила этот чудесный букет под ворота.

Понял или не понял парнишка, что букет не выпал из моих рук, а я его бросила? Не знаю. Но он, не проронив ни слова, взял у меня (как пообещал раньше) написан-

ное маме письмо, чтобы избежать учительской цензуры: в интернате не разрешалось писать родителям, что нам здесь плохо, и проситься домой (они ведь там, в Москве, работают для фронта и для победы) и отвез его на отцовской подводе в Касимов, где купил конверт, написал на конверте мой московский адрес, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. На обратном пути заглянул, сказал, что все в порядке, но больше не появлялся. Похоже, все-таки понял, что я букет бросила.

Пароход шел медленно, сигналил таким же, как он, встречным плавучим зеленым островкам, подолгу стоял у причалов в ожидании объявленных налетов, слава богу, не состоявшихся, и снова шел.

— Стемнеет — пойдем быстрее, — со знанием дела сказал Вовка. — Когда я ехал в Касимов, нас не переставая бомбили и днем, и ночью. Вот и сейчас, похоже, собираются, раз идем к берегу: пристани же здесь нет. Сиди спокойно, я скоро вернусь. И действительно тут же вернулся.

— Готовься, как только причалим к берегу, будем сходить. Здесь, как мне сказали, близко железнодорожный узел, так что пересядем на поезд и быстрее будем дома.

Мама встретила нас внешне спокойная, но с воспаленными глазами.

— Ну, слава богу, все дома! — сказала она и добавила: — Будем жить дальше!

Может, именно поэтому я теперь всякий раз, когда минует какая-нибудь беда, повторяю эти три слова: «Будем жить дальше!»

— Время позднее, давайте-ка ложиться спать.

— А с тобой можно? — спросила я. И тут же, получив разрешение, юркнула в мамину кровать, свернулась калачиком и заснула. И спала так крепко и спокойно, как никогда раньше и никогда позже.

Так вот, как сказала мама, жить, работать и, если придется, умирать мы будем в Москве.

Между тем работать по профессии маме было негде: школы закрылись, Дома пионеров и клубы тоже. И вот тогда-то кто-то и почему-то устроил маму на работу в дезбюро, которое во время войны оказалось невероятно востребованным, а все потому, что клопы, вши и всякие мерзкие твари торжествуют свою победу именно в периоды стихийных бедствий. Нет, никто маме не предлагал бороться напрямую с этой мерзостью, а просто попросили попробовать себя в бухгалтерии. Образование есть, на счетах считать умеете...

— Нет? Так попробуйте. Не ахти, какая наука! Научитесь. Наш старик-то бухгалтер помер, а заменить некем!

Ну, мама и попробовала. И проработала с сентября сорок первого до весны сорок третьего, когда, наконец, из Мосгороно на нее пришел запрос о переводе на работу в общеобразовательную школу номер девяносто три, которая находилась на Молчановке.

А пока школы не работали, на Москву летели бомбы, мы холодали и голодали, но боролись за жизнь и трудились. Мама, осваивая дебет и кредит в дезбюро, я, набивая ватой лапы и головы плюшевых медведей на фабрике игрушек где-то около Киевского вокзала, а Вовка, Вовка... Где же трудился он тогда? Надо посмотреть в его послужном списке. Да, вот, как пишет он, на тринадцатой шахте метро. Я этого не помню.

В то время я уже понимала, как много значит для меня центр города, в который после гибели отца, пожертвовав отдельной квартирой, нас перевезла мама. Здесь все было рядом: и кинотеатры, и театры, и библиотеки, и Консерватория, где я частенько просиживала на ступеньках бельэтажа. Но как только на Молчановке в сто третьей школе открылась Детская техни-

ческая станция (чтобы дети не болтались без дела), я тут же поспешила в нее записаться.

— Девочек берем в пошивочный и вязальный цеха, — сказала мне очень приветливо женщина средних лет, — но в пошивочный — только со своей собственной швейной машинкой. Машинка есть?

— Есть, — радостно ответила я и с гордостью добавила: — ножная!

Мама очень гордилась, что отец ей купил именно ножную машинку. Она называлась торжественно: «Госшвеймашина».

— Ножная не годится. Нет, она, конечно, годится, но ты же ее доставить в школу не сможешь. Нужна ручная. Может, кто из знакомых даст на время.

Узнав, что ножная не годится, мама стала опрашивать своих коллег хореографов. Но вот беда! У всех, как назло, либо не было никаких, либо ножные. И вдруг — о радость! — нашлась ручная, и у кого? У Марины Фоминичны Нижинской.

— Пусть Лилька завтра за ней приходит, — сказала она маме. — Машинка у меня хорошая, поповская. Правда, челнок у нее не совсем в порядке. Но на технической-то станции его починят!

Дома у Марины Фоминичны я бывала не раз, но с мамой. Жила она на Арбате, рядом с кинотеатром «Арс» и магазином «Овощи и фрукты», в большой коммунальной квартире с сыном Витькой. Он сыграл в комедии «Подкидыш» жиртреста (так мы его тогда называли) с болонкой, которая, по его понятиям (естественно, не его, а героя, которого он играл), должна была обязательно взять след пропавшей девочки. В коммуналке они занимали большую комнату, посередине которой стоял большой восьмигранный аквариум, в нем плавали вуалехвостые золотые рыбки, за которыми, когда я пришла, припав на передние лапы и подняв морду

вверх, следил огромный сибирский кот Васька. Я же, как кот, тоже замерла у аквариума, но, подняв глаза вверх, смотрела на стену, где на уровне бордюра над обоями шла череда огромных коричневого цвета фотографий самой Марины Фоминичны в балетной пачке, потом в самых разных костюмах с мужем Бойко и с кем-то еще, потом ее брата Вацлава Нижинского в его знаменитом полете, и снова Марины Фоминичны, и снова Вацлава, и так на всех четырех стенах. Рассматривать эти фотографии я могла бесконечно долго.

Вот за этим занятием и застала меня Марина Фоминична, вернувшаяся с кухни, где, похоже, до моего появления она жарила котлеты, запах которых уже стал отвлекать меня и Ваську от наших занятий.

— Так, — сказала Марина Фоминична, — забирай машинку. Мешок принесла? Очень хорошо. Витька тебе поможет упаковать ее и перенести через улицу, а дальше ты уже сама как-нибудь арбатскими переулками дотащишь до школы. Нам с Витькой пора обедать!

Арбатскими переулками до школы на Молчановке швейную машинку я как-то дотащила. И на следующий день с чувством выполненного требования к поступающим на Детскую техническую станцию пришла на работу.

— Да-а, — сказала мне все та же милая женщина, — что же мне с тобой делать?! Машинка-то не работает. Челнок у нее сломан. Вот что, давай попросим девочку Лену, чтобы она, когда ей не нужна будет ее машинка, разрешала тебе строчить на ней, идет? Ведь, прежде чем строчить, мы должны сметать выкроенные кальсоны... Вот вы и будете строчить по очереди. А на днях придет мастер и починит челнок.

Дней через пять мастер пришел, но машинку не починил.

— Нужен новый или старый, никому не нужный челнок от такой же поповской машинки, — сказал он. — Но вряд ли у кого-нибудь такой найдется. Так что не взыщите!

У меня на глазах навернулись слезы.

— Ты что? Не плачь! Будем строчить по очереди и дальше, — сказала Лена.

И мы строчили, строчили, строчили. Строчили кальсоны, кисеты для махорки и чехлы для фляжек. Потом, когда Лена забрала машинку и уехала в деревню помогать бабушке, у которой были корова и куры (как я ей тогда завидовала!), я перешла на вязку мужских шерстяных носок и варежек с тремя пальцами, чтобы руки наших солдат не мерзли и они могли стрелять, не снимая их. Теперь мне частенько приходили на память впервые услышанные в Касимове слова: «Все для фронта! Все для победы!»

Работая с перевыполнением нормы, я со временем, конечно, стала получать служащую, а потом и рабочую карточку, но скудный их паек, да еще с частой заменой сливочного масла на сметану, а мяса — на рыбу, оставлял меня и маму голодными. Есть хотелось до чертиков! И мы ели все: картофельные очистки, которые брали у соседей, имевших связь с деревней, семечки, какую-то неразваривавшуюся крупу по имени саго, названную Вовкой шрапнелью, неочищенный овес, отшелушиваемый нами в ручной деревянной кофемолке, и многое-многое другое, чтобы набить желудок и заставить его молчать хотя бы ночью.

Ночи, спасаясь от бомбежек, мы проводили в Арбатском метро, куда с вечера занимали очередь, даже не предполагая, что оно заминировано. Около двенадцати ночи мы входили внутрь и, заняв нары, располагались прямо на путях. Маленькие дети шли с куклами и погремушками. Всем им и старикам в вестибюле метро бесплатно выдавали бутылочки с молоком, киселем и кефиром. Иногда кое-что перепадало и нам, детям постарше. Где-то около пяти утра нас обычно выпускали на Арбатскую площадь, и мы расходились по домам. Но однажды (в тот день Вовка наотрез отказался идти

в метро) нас на Арбатскую площадь не выпустили, а повели по путям к площади Революции. Как потом выяснилось, немцы той ночью, целясь в Кремль, разбомбили район Арбата и Никитских ворот. Вот тогда-то на Тверском бульваре пострадал памятник Тимирязеву. Его голова улетела на крышу одного дома, а рука — другого. В дом десять по Никитскому бульвару, что рядом с Домом журналистов, угодил увесистый фугас, разрезав дом на две части. Потом его заштопали кирпичом, и он стоит до сих пор целехонький, как ни в чем не бывало. Вот как строили раньше! А Арбатский рынок, на месте которого теперь стоит военное ведомство, просто-напросто сдуло. Но и это было еще не все. И, вернувшись домой, мы увидели и узнали, как похозяйничала взрывная волна у нас в квартире. Выбив стекла в окнах, она распахнула дверь одной нашей комнаты и выбросила Вовку в коридор. Ударившись головой о стену, он упал на пол и какое-то время лежал на полу, пока его не подняла соседка. Но вроде бы опять обошлось.

Шеснадцатого октября, когда Москва почти опустела, каждому оставшемуся в Москве москвичу выдали (за деньги, конечно) по несколько килограммов пшеничной муки. Однако это всех нас скорее напугало, чем обрадовало. Народ ведь уже поговаривал, что причиной того были не иначе, как подступившие к Москве немцы, которые к седьмому ноября обещали войти в Первопрестольную как победители.

Однако, вопреки всем ходившим слухам, седьмого ноября на Красной площади, как обычно, состоялся военный парад, участники которого, пройдя торжественным шагом по ее брусчатке, тут же с Васильевского спуска напрямиком пошли на фронт.

Чуть позже непрошеным гостям войну объявила русская природа: термометр опустился ниже тридцати

градусов, естественно, не пощадив и нас. В домах полопались батареи, комнаты были залиты водой, цементный пол нашей большой коммунальной кухни превратился в настоящий каток. Хоть гаги надевай и, катаясь на них, подогревай себе еду. Потом замерзла канализация. Тут в ход пошли ночные горшки и ведра, которые опорожняли прямо на лежащие во дворе горы белого чистого снега, и он сразу же весь покрывался желто-коричневыми воронками. «Боже, что будет весной, когда снег начнет таять», — думали все, но выхода не находили.

И тут, где-то в декабре исчез Вовка. Скорее всего, это был день, когда он, показав мне браунинг, случайно или нарочно нажал на курок. Раздался выстрел. Прочитав толстенный том Пушкина, который я держала в руках, пуля, чуть не задев мою правую ногу, ушла в пол. Положив браунинг в карман, Вовка ушел и не вернулся. Мама забила тревогу. Как я поняла позже, о браунинге она ничего не знала. Обзвонив всех друзей и знакомых, больницы, морги, мама уже было собралась заявить в милицию, как пришел домоуправ и принес ей повестку.

— Ваш сын арестован. Вы знаете за что? — спросил ее начальник милиции, куда она пришла с повесткой.

— Нет! — ответила мама.

— За покушение на убийство!

Теряя сознание (мама страдала эпилепсией; Господи, какую же надо было иметь силу воли и мужество, чтобы при такой болезни и танцевать на сцене, и активно работать, преподавая хореографию, и воспитывать нас двоих одной после всего случившегося с отцом!), мама, как обычно, стала что-то нашаривать рукой на столе начальника милиции.

— Кончайте притворяться! — закричал он на нее, когда она, упав на пол, забилась в судорогах.

Со временем оборонительные бои под Москвой сменились героическим наступлением нашей армии, которая при поддержке населения и суровой русской зимы, измотавшей холодами легко одетых, надеявшихся на блицкриг немцев (мама, мама! как благодарна я тебе еще и еще раз, что ты всю войну так и не обмолвилась, что я полунемка!!!), стала отбрасывать немецкие войска от русской столицы, естественно, не без человеческих потерь, как и большого количества раненых, которые теперь стали поступать в московские больницы, роддома и школы, отданные под госпитали. И мы, работая на Детской технической станции, стали помогать медсестрам в открывшемся у нас на Арбате госпитале. Составив скользящий график, мы оставляли свои швейные машинки и спешили в Серебряный переулок ухаживать за ранеными, читать им книги, писать письма их родственникам, твердо веря, что еще немного, еще чуть-чуть — и кончится война, и мы начнем учиться.

Новогодний концерт сорок второго мы в госпитале устроили собственными силами. Программа была составлена по принципу «от каждого по способности»: кто мог петь, пел, кто мог читать, тот читал, а кто мог танцевать, тот танцевал.

Я вообще-то и пела, и читала, и танцевала. Но в тот новогодний вечер я вышла на сцену петь. Кстати, а была ли там сцена? Нет. Место, отведенное под сцену, было. И рядами стояли стулья, а когда с очевидностью стало ясно, что желающих послушать концерт много больше, чем ожидали, стулья стали подносить и подносить. Потом в проходе между рядами стали появляться кресла-каталки с теми, кто не мог ходить, но тоже хотел посмотреть и послушать концерт. Словом, зал был переполнен.

На сцену вышел, вернее, вышла (мальчиков среди нас не было — это точно!) конферансье. Поздравила с наступ-

пающим Новым годом. Объявила номер, потом следующий... Кто-то прочел стихи (не помню, чьи) про тонкого Фрица и толстого Вилли (а может, наоборот). Послышался смех и редкие хлопки. Кто-то станцевал украинский танец, кто-то польку. Зал захлопал увереннее и продолжительнее. И тут, с двумя косичками за плечами, на сцене появилась я. И, взглянув на сидящих в темном зале, онемела и ослепла от белого цвета медицинских бинтов. Они обвивали головы раненых, подвешивали к шее их руки, плотно прижимали к вытянутым ногам шины. Переводя взгляд с одного раненого на другого, я молчала. Молчал и зал, глядя на меня в ожидании. Потом, взяв себя в руки, я наконец запела:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

Извела меня кручина,
Подколотная змея,
Догорай, гори, моя лучина
Догорю с тобой и я...

Когда я закончила петь, никто не хлопал. В зале стояла гробовая тишина. И только тогда взволнованные педагоги осознали, что с таким, скажем, репертуаром выпускать нас, детей, на сцену перед остро чувствующими свою боль ранеными никак нельзя, они быстро вытолкнули разбитную веселую девочку, которая тут же, подбоченясь залихватски запела свои озорные частушки:

Из колодца вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе...

Зал дружно заплодировал нам обеим.

Школы в Москве, как только немцы были от нее отброшены, тут же заработали. Однако записывать в старшие классы начали прежде всего тех, кто весной ехал трудиться в подмосковные колхозы, а осенью тех, кто возвращался после сбора картофеля и зерновых из-под Зарайска, Можайска и других городов, отработав там строго обусловленный срок. И поскольку весной мое первое боевое крещение на полях трудовой славы было не слишком достойным — в конце срока мы с подружкой, выбившись из сил от непривычного крестьянского труда под жарким весенним солнцем, просто сбежали — мне пришлось осенью принять второе, но теперь на картофельных полях под только что освобожденным Можайском. И это крещение я запомнила на всю оставшуюся жизнь.

В Можайск нас, будущих старшеклассников московских школ, доставили поездом. Собрали на его главной площади, где с насоро сколоченной трибуны к нам обратился председатель городского совета с вдохновляющей нас на трудовой подвиг речью: «В столь трудное для страны военное время, когда все мужское население ушло на фронт, а женщины встали к оставленным мужьями станкам, мы смотрим на вас с надеждой... и т.д. и т.п.». Потом, пожелав нам успехов, посадил на поджидавшие нас грузовики, один из которых с группой из нашей 93-й московской школы двинулся по так называемому большаку в сторону деревни Глухово. Открытый грузовик то и дело подпрыгивал на ухабах,

и мама (замаливая мои весенние грехи, она согласилась, будучи в отпуске по работе в дезбюро, поехать с нами в колхоз руководителем группы) изо всех сил старалась перекрычать нас: «Держитесь крепче за борт и присядьте. Ниже! Ниже! А то ветки деревьев надают вам пощечин!» (Теперь дорога шла через лес.) И вдруг грузовик стал буксовать, потом встал. Шофер нас всех высадил, сказав, что сейчас будем толкать машину. И если машина тронется с места, то он, не останавливаясь, поедет вперед один, иначе мы застрянем в лесу надолго, так как вытаскивать нас некому. «А вы все давайте за мной пешком и только по дороге. В лес нельзя, там еще остались мины, можете подорваться. Да и у дороги еще стоят немецкие танки со всем содержимым...»

И он поехал, и не быстро, а мы хоть и бежали за ним, но не поспевали: ноги все время вязли в чем-то мягком и разъезжались в набросанных на дорогу еловых ветках.

Вот так следом за грузовиком, на котором ехали наши вещи и выданный нам в Можайске хлеб, мы и вбежали в деревню Глухово. Полуразрушенный дом, в котором нам, работая на картофельных полях, предстояло прожить целый месяц, стоял на берегу небольшого пруда. Одно окно в доме было выбито, а входная дверь сорвана с петель.

— Как же здесь можно жить? Да еще с детьми? — спрашивала мама появившуюся в дверях женщину, которая оказалась председателем колхоза.

— Спокойно, спокойно, сейчас придет плотник, он же печник, — сказала она, — и все починит: забьет окно, поставит на место дверь, подмажет печь и проверит тягу. А пока не теряйте время, уже поздно, берите с моей подводы сено и стелите его на пол. Спать будете на полу вповалку, так будет теплее.

— А где вода? Откуда брать воду? — не отставала от нее мама.

— Да из пруда. Он же проточный, в нем много ключей! Из него можно и пить, и умыться, и даже рыбку ловить для ухи. А вот в лес за грибами ни-ни! Приезжие грибники все время подрываются на минах. Так что смотрите за детьми в оба: два шага в сторону от картофельных полей и ведущих к ним дорог, и вы можете их недосчитаться.

С этого момента мама всегда нас пересчитывала и утром, когда мы выходили на работу, и вечером, когда ложились спать.

Но как же было замечательно, встав рано утром, подойти к незамутненной воде, присесть на корточки, посмотреть на лежавшие на дне камушки и сновавших вокруг них маленьких рыбок и умыться, не думая ни о мокрой картошке, белеющей в комьях развороченной земли, ни о минах, ни о голодном желудке. Что мы тогда ели, возвращаясь после тяжелого дня на картофельном поле? Да все ту же картошку, еще морковь, свеклу (кормовую) и лук, а иногда конину (если, конечно, конь умирал, как говорили, от непосильного труда). Но это уже был настоящий праздник! Однако праздники случались редко, хотя вечерами с деревенского пятачка иногда доносились звуки гармошки. Уцелевший в колхозе старик гармонист играл, перебирая лады, то «Темную ночь», то «На позицию девушка провожала бойца», а то и развеселую кадрили.

— Похоже, на пятачке танцуют! — говорили маме те, кто постарше. — Так хочется пойти посмотреть.

Но мама была непреклонна:

— Нет, нет и нет! Вы же слышали, кругом мины! Не пущу!!!

— А в Дом отдыха? Он же совсем рядом, в километре от нас и все время по дороге. Там расположился воен-

ный госпиталь и раненым крутят кинофильмы! Сходите сами и убедитесь!

— Ну уж нет! Сама не пойду, — сказала мама, — и вас не пущу!

И все-таки старшие ухитрялись (может, с молчаливого согласия мамы?) исчезать на часок-другой после ужина. Мы же, двенадцатилетние, валились от усталости на теперь уже казавшееся пухом сено и спали всю ночь без задних ног. Нормы-то — девять мешков — государству, а десятый себе — были одинаковы для всех. А уж как хотелось есть прошлой зимой, я помнила хорошо. Вот потому-то и брала не по две, а по три грядки. Они были длинные-предлинные и тянулись от деревни Глухово до самой дальней опушки леса. И когда я шла по ним, согнувшись в три погибели, и вязла в развороченном мокром глиноземе, собирая склизкие, как говорили местные, клубни картофеля, мне все время казалось, что они никогда не кончатся.

Ровно посередине поля и на середине моего пути к опушке леса и манившим меня к себе березкам стоял грубо сколоченный деревянный треугольник, покрашенный в зеленый цвет, с красной пятиконечной звездой наверху. То была братская могила. Вот к ней-то я и спешила каждый день, собирая картошку, в надежде на короткий отдых, ведь, оказавшись около нее, я знала: половина пути пройдена! Останавливалась, вслушивалась в тишину, смотрела на красную звезду и стоявшие на опушке леса березки и шла по меже дальше. И все же усталость изо дня в день неотвратимо накапливалась и заставляла меня задерживаться у вожделенного треугольника все дольше и дольше. Иногда я даже садилась рядом, но тут же вскакивала, говоря себе, что десятый мешок еще не собран, и шла, шла вперед, оставляя после себя белеющие кучки картофеля, которым позже, когда начинало смеркаться, еще нужно было

наполнить мешки. В последние дни августа темнеть стало много раньше. Осень! Хорошо это понимая, те, кто постарше, всегда старались все сделать засветло и, если можно, уйти. Тогда над опустевшим картофельным полем начинало кружить воронье. Потом оно разом садилось на землю и, громко каркая, дружно принималось разгребать землю своими большими когтитыми лапами, время от времени поглядывая на меня то одним, то другим глазом. Мне становилось жутковато. Нет, я была не одна. Мама была со мной, вернее, с нами, детьми, помогая наполнять мешки и подтаскивать их один к другому.

И вот однажды, в очередной раз оказавшись с неполным мешком у братской могилы, я в отчаянии подумала: «Какие же они счастливые! Лежат себе там, в земле, спокойно и отдыхают!»

В этот год мы с мамой привезли в Москву пять заработанных нами мешков картошки и ели ее всю осень и зиму с подсолнечным маслом.

Прошли годы, пролетели десятилетия, и вот я, уже будучи членом Союза писателей, поехала, соблазненная рассказами своих коллег, покататься на лыжах в хваленую ими «Малеевку» — Дом творчества Союза писателей. «Настоящая русская природа, — рассказывали они. — Поля, леса, красивый каскад прудов. А зимой — красота невообразимая! Всё в снегу: леса, равнины, долины... Ну и на лыжах пройтись — одно удовольствие!»

Вот, прихватив лыжи, мы с мужем (любители лыжных прогулок) двинулись в Малеевку в надежде на солнечный март. И на следующее же утро после приезда встали на лыжню.

Лыжня шла от дверей главного корпуса, выходила на дорогу, сбивалась в колею, проложенную грузовыми машинами, доставлявшими продукты в Дом творчества,

потом, обретя себя, довольно долго шла вдоль оврага и, наконец, выходила к дремлющей подо льдом речушке, шумно бурлящей у мостика-дамбы, минуя который быстро избегала на высокий противоположный берег и скрывалась в стоящем стеной лесе. Каждое утро, пробежав этот путь, мы углублялись в него по накатанной лыжне, любуясь мохнатыми лапами елей, отяжелевшими от лежащего на них снега. Время от времени останавливаясь, мы поднимали вверх лыжные палки и, легко коснувшись еловых лап, стряхивали зимнее оцепенение с зеленых русских красавиц, которые тут же одаривали нас своим хвойным ароматом. А иногда, замирая на месте, вслушивались в звенящую тишину застывшего леса, нарушаемую разве что скрипом высоких стволов, хрустом падающих веток да вороньим карканьем. И шли дальше. Шли, как правило, по одной и той же лыжне. Идти по целине, прокладывая новую, я, хотя муж все время порывался, не решалась: в Малеевке мы были впервые. Место было незнакомое, небо хмурое, обремененное не по-мартовски тяжелыми снежными тучами. Так что наши надежды на солнышко (перед отъездом из Москвы оно то и дело выглядывало), на плотно лежащий и искрящийся снег, по которому ходи во всех направлениях, подставляя лицо солнечным лучам, не оправдалось. Но мы дышали свежим воздухом, наслаждались окружающей нас природой, ели, спали, словом, отдыхали: муж — от одной из своих монументальных работ, я — от редакторского труда в «Художественной литературе» (мой творческий труд меня никогда не утомлял). Вот так и шли наши дни один за другим почти до отъезда.

И вдруг в последний день солнце воссияло. Не желая отказать себе в удовольствии, мы нацепили лыжи и решили пойти на горку за домом, с которой обычно съезжают все дети и взрослые, кто на санках, кто на лыжах,

чтобы постоять там хоть несколько минут, подставив лицо солнечным лучам. И вот, когда, стоя на горке, мы оказались много выше и речки (то были проточные пруды), и мостика-дамбы, и того косогора, на который взбегала лыжня (все это было теперь ниже простиравшихся дальше и дальше до самого леса полей), меня взяла оторопь. Что это? Передо мной, поблескивая на солнце, лежали до боли знакомые поля, занесенные снегом, а за ними на горизонте синел стоявший стеной можайский лес. А совсем рядом, всего в километре отсюда, на берегу пруда виднелась крыша выглядывавшего из-под снега покосившегося домика. Что это? Призрак? Мираж? Наваждение?

— Ну что ты застряла? Съезжай вниз! — кричал мне муж. — Пора обедать и собирать вещи. Львов сказал, что к пяти часам он вызвал такси.

С поэтом Михаилом Давыдовичем Львовым нам было по пути: он жил тогда в красных домах около кинотеатра «Прогресс», а мы чуть дальше, на углу Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. Будучи тогда замом главного редактора «Нового мира», он частенько по делам журнала уезжал в Москву. И в этот день предложил нам с мужем составить ему компанию.

— Только уж извините, но минут на десять мы заглянем ко мне на дачу в Переделкине, — сказал он. — Это ведь по пути. А мне надо посмотреть, не течет ли наша крыша.

Такси пришло вовремя. Я, по обыкновению, села с шофером, а муж со Львовым сзади. И они, как сели, так, не умолкая, разговаривали всю дорогу. О чем? Не знаю. Я была занята своими мыслями. Однако их отдельные слова и обрывки фраз нет-нет да врываются в мой вдруг оживший сорок второй год.

— Там у вас еще в этом стихотворении мраморные облака, — говорил муж.

— Нет, нет, мраморные облака у меня в довоенном стихотворении, — отвечал Львов.

— Михаил Давыдович, а Можайск от Малеевки далеко? — вклинилась я в их разговор.

— Да нет, рядом. А вы из Москвы разве не через Можайск ехали?

— Нет, мы ехали от Тучкова, — ответила я.

«Тучково, Тучково, боже, Тучково!» — на виске у меня запульсировала жилка. Ведь в сорок втором году как раз на станции Тучково маме удалось уговорить начальника вокзала задержать на пять минут поезд, чтобы трудившиеся на можайских полях московские школьники смогли погрузить в вагоны заработанные ими мешки картошки.

— Ну, что от Тучкова, что от Можайска, до Малеевки одинаково, — сказал Львов.

— Понятно, — оценивая услышанное, сказала я. — А как называется деревня, в которую наши писатели ходят за водкой?

— Глухово!

Второй раз в Малеевку мы приехали в начале девяностых как-то осенью. (Весну я любила проводить в Коктебеле или Ялте, естественно, в Домах творчества писателей, а иногда в Прибалтике. В Прибалтике у нас с мужем было два Дома творчества. Писательский — в Дубултах, а художников — в Паланге, да, по-моему, и в Дзинтари.) И тоже на недельку, чтобы увидеть ее золотую, во всей красе. И она нас не обманула.

Погода стояла тихая, ясная, умиротворяющая. И осенний лист кружился и, шурша, нам под ноги... да, да, вспомнила, что я тогда писала:

Шуршит осенний лист под нашими ногами.
Костром пылает спелый куст калин.
Желтеет темный клен меж крепкими дубами,
И ветер гонит стайки паутин.

Но осень осенью, а кроме нее у меня были свои планы: дойти до домика, который стоял у пруда, и до братской могилы, что была посередине картофельного поля.

И вот в гордом одиночестве, так как муж с головой ушел в чтение очередного номера «Нового мира», взятого в библиотеке (Господи! Какая же в Малеевке была библиотека! Где она теперь? Каким бизнесменам досталась вместе с Малеевкой?! Ведь сегодня Малеевка, как и Коктебель, и Дубулты, и Цхинвал, и Паланга, и Дзинтари, и Хоста, и все остальные Дома творчества писателей и художников, просто не существуют! А ведь они были построены на деньги писателей и художников! или я ошибаюсь?), пошла по дороге в деревню Глухово. Теперь по обе стороны дороги, ведущей в Глухово, шли поля, на которых произрастала не морковь, не свекла и не картофель, как в сорок втором (тогда все это сажали старые бабки и малые детки: все остальное население деревни было на фронте), а пышно цвели лютики-цветочки. И ничего больше! На каком фронте сегодня, в девяностые, все трудоспособное население Глухова?!

Оставив позади эту неприглядную картину, я свернула с дороги и поспешила к домику, который все еще стоял на своем месте. Обошла его, заглянула в дверной проем (двери не было), вошла внутрь. Совсем состарившаяся печка встретила меня радушно распахнутой дверцей, а колченогий стол, ящики из-под пива и много-много пустых бутылок с разными импортными наклейками — явно настороженно.

Как потом мне сказали местные жители: «Там в домике заезжие рыбаки, да и ваши мужики из Дома творчества неплохо проводят время».

Теперь, стоя на пороге, я вдруг увидела в траве соску-пустышку. Какими путями? И к чему бы это? «Скорее

всего, к утешению», — подумала я и быстро пошла прочь. Однако, выйдя на дорогу, все-таки оглянулась.

Прошрое, неотрывно глядя мне вслед, провожало меня пустыми глазницами окон.

Братскую могилу в Глухове я нашла не посередине поля, а посередине деревни. Как объяснили мне старожилы, вначале ее перенесли с поля в конец деревни, но деревня за последние годы так разрослась, что могила оказалась почти в ее центре. Я подошла к обелиску. Теперь это был обелиск с красной звездой, у подножия которого лежали свежие темно-красные георгины. Постояла у железной ограды. Подошедшая ко мне пожилая женщина спросила: «Милая, тут кто-то из твоих похоронен?» — «Нет, — ответила я, — здесь покоится моя детская усталость». Испуганно посмотрев на меня, она быстро пошла прочь. А я подумала: «Какая же я счастливая, что до сих пор живу и без усталости работаю, а не лежу в земле и не отдыхаю».

Сколько же с тех давних пор прошло времени?! Сколько прожито... И сколько всего пережито?! И какой ураган воспоминаний обрушивается на меня сегодня, когда я в 2010 году получаю адресованные мне поздравления с всенародным праздником — Днем победы 9 мая 1945 года.

Первого сентября сорок второго года я, будучи полностью реабилитированной после трудового «фронта» в Глухове, заслуженно села за парту шестого класса. Заслуженно ли? Пятый я, как сумела, прошла по учебникам сама и неплохо, но вот русский, основы которого закладываются именно в пятом, хромал на обе ноги. Но я радовалась, что не отстала от своих сверстников, вернувшихся из эвакуации. Как-нибудь справлюсь. Однако справиться с безграмотностью было не так-то просто. Поначалу я пыталась избегать в контрольных изложе-

ниях тех слов, написание которых мне было неизвестно. Но это меня очень сковывало, особенно в сочинениях. Рассказать могу хорошо, а так же хорошо написать не могу. И вот как-то однажды на очередном сочинении, взяв свободную тему, решила забыть о своей безграмотности и писать как бог на душу положит. И написала. Прошла неделя, учительница русского и литературы принесла проверенные работы в класс и сказала:

— Да-а! Все в общем-то написали на взятую ими тему и грамотно, ну почти грамотно, кроме двух учениц, которые меня поразили до такой степени, что даже не знаю, что и сказать! — Она назвала мою фамилию и еще одной девочки. — То есть у них обеих не просто двойка за грамотность, а кол на двоих. Особо хочу отметить, что и то, и другое сочинение написано на свободную тему. Так что и проверить знания по пройденному материалу не представляется возможным.

Я затаила дыхание. «Переведут обратно в пятый!» — думала я, глядя на подругу по несчастью. Та, опустив голову, тупо уставилась в парту.

— Но вот какая вещь — продолжала учительница. — И то, и другое сочинение читаются как литературные произведения. У ваших одноклассниц определенно литературный талант! Однако что такое литературный талант при полной безграмотности?!

Пришлось маме взять мне частного учителя по русскому языку.

Теперь, освободившись от бухгалтерского дела, мама работала в моей школе, но не оставляла надежды вернуться к хореографии. А тут как раз позвонила Марина Фоминична Нижинская.

— Полин! Ты при деле или как? Есть место хореографа в Доме пионеров на Полянке. Если хочешь, давай вместе поедem.

— Давай! — ответила мама. И, уже собираясь положить трубку, вдруг услышала:

— Да! А как поживает моя швейная машинка? Пора бы ее вернуть! — сказала Марина.

Но как ее вернуть, если в 103-й школе, которая находилась на Молчановке, мне сказали, что она уже месяц, как сдана в металлолом.

— Ты же за ней не приходила, а объявление с просьбой забрать все оставленные на станции машинки и инструменты провисело целый месяц! — сказали мне в школе.

— Но целый месяц я была в колхозе.

— А что было делать школе? У нас ведь шел серьезный ремонт перед началом учебного года. К тому же починить твою машинку было невозможно. Частей к поповским машинкам нет!

Что было делать школе и мне, я не знала.

— Едем к Марине, — сказала мама, и все ей объясним. — В конце концов, заплачу я за утраченную машинку.

И мы поехали к Марине. Боже! Какой же был скандал! Она не хотела слушать никаких объяснений. Верни ей машинку, и все!

— Господи, Марина, она же была сломанная. Лиля на ней не шила. Но, если можно было бы купить новую, я тотчас бы купила.

Марина стояла на своем. А уж когда услышала: «Ну хорошо, давай я тебе за нее заплачу, и покончим с этим...» — взорвалась, как бомба, и выбросила нас из квартиры в буквальном смысле.

Озадаченная таким поворотом дела, мама вышла из себя и сказала:

— Ты что, с ума сошла, что ли?

— Да, да, сошла, сошла, сошла с ума! — прокричала Марина и хлопнула дверь.

— Похоже, действительно сошла с ума, — сказала мама, когда мы вышли на улицу. И всю дорогу, пока мы шли по Арбату, говорила: А может, и вправду сошла

с ума?! Все у них сумасшедшие! Вначале тронулся Вацлав, теперь она! И вообще, никакая она не Марина. Она вроде бы Магда или... Они то ли поляки, то ли польские евреи. Не знаю! Зачем менять данное тебе имя?!

Да, скорее всего, у меня от мамы нелюбовь к произвольной замене данного тебе родителями имени. Хотя, конечно, иногда к тому побуждали обстоятельства. К примеру, мой свекор, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Бернгард Борисович Кафенгауз стал Борисом Борисовичем, чтобы облегчить «тяжкую» участь студентов произносить имя Бернгард, чему мы с мужем относительно недавно получили подтверждение на Новодевичьем кладбище, реставрируя надпись на надгробье.

— Ой, смотрите-ка, Кафенгауз Бернгард Борисович! — сказал своим спутницам седой человек преклонного возраста. — Но мы-то, студенты, всегда звали его Борис Борисович, а между собой: Бор. Бором! И даже не знали, что он Бернгард.

И даже в Советском энциклопедическом словаре 1979 года в статье о Кафенгаузе прямо дается: Бернгард (Бор.) Бор. (1894–1969).

Так вот, Марина или Магда Фоминична рассталась с мамой в 1942 году. Что произошло с ней позже, мы так и не узнали, хотя мамыны коллеги-хореографы поговаривали, что она уехала... Куда? Вроде бы за границу.

Это в сорок втором-то? А может, это случилось много позже.

XV

Сию, пишу «Слово переводчика» к однотомнику Жоржи Амаду и вдруг... пронзительный и почти непрерывный (такой, говорят, бывает, когда звонят через

Интернет) телефонный звонок. Беру трубку. Международный.

— Лилиана, это Жорж. Завтра буду в Москве, а у вас, если позволите, около семи вечера. Хорошо бы бумага об отце была напечатана на...

— Да, да, мне все сделали на компьютере, — сказала я, не дав ему договорить, так как почувствовала, что он торопится сказать мне все как можно скорее.

— Вот и хорошо, — обрадовался Жорж. — А у Владимира — плохо. Ему удалили легкое, я так понял.

— Чего уж тут хорошего, — ответила я. — Но мне не позвонил никто. Ни он, ни она.

— Лилиана! Я в офисе. У меня была всего минутка времени. До скорого.

В трубке слышались гудки.

Следующий день, вернее вечер, мы ждали Жоржа. Теперь, когда его приезд стал для нас в какой-то степени обязательным атрибутом нашей жизни, а может, и своеобразным ее развлекательным моментом, я так тщательно, как раньше, к встрече с ним уже не готовилась. Но все же напекла пирожков с капустой. Кто знает, может, эмигранту за всю его жизнь так и не довелось их отведать, да еще на русской земле!

Где-то с половины седьмого мы, по обыкновению, стали ждать гостя. Но гость все не шел и не шел, а стрелки часов уже показывали девять вечера.

— Похоже, не сумел освободиться к назначенному часу, — сказала я мужу.

— Вот, как видишь, и с вами, пунктуальными, подобное тоже случается, — ответил он мне.

— Ну подождем еще... Непонятно только, почему Жорж не позвонит и не скажет, что задерживается.

Мы подождали еще час.

— Странно, — сказала я, — что могло с ним случиться, что не позволило ему даже позвонить?!

— А что, если он забыл, что должен был быть у нас сегодня? — спросил муж. — Ведь такое возможно.

— Думаю, что у пунктуальных, как ты говоришь, такое невозможно. В этом возрасте пунктуальные люди уже записывают свои дела на предстоящий день в блокнот.

— Ну, что бы мы ни думали и ни гадали, но на часах уже одиннадцать, — сказал муж. — Честно говоря, я хочу спать.

— Я тоже. Давай ложиться. Оставим на столе все как есть. Я только накрою пирожки.

В этот момент зазвонил телефон.

— Лилиана, я еду. Так случилось, что я не смог даже позвонить, приеду расскажу.

— Жорж, уже слишком поздно, половина двенадцатого. Мы обычно рано ложимся спать. Давайте перенесем встречу на завтра.

— Нет, я должен забрать бумагу сегодня, обязательно сегодня. У меня неожиданно все переменялось. Скорее всего завтра мне придется уехать...

— Но, Жорж... — начала было я.

Но он перебил меня:

— Лилиана, мы с моим шофером уже на Ленинском проспекте. Десять минут, и я буду у вас. Я даже не разденусь.

— Ну, хорошо, хорошо, — ответила я, почувствовав его нервную напористость.

Мы с мужем сели в столовой и стали ждать гостя.

Домофон зазвонил через десять минут.

— Это я, Лилиана!

— Открываю, — ответила я и тут же распахнула дверь в коридор, ведущий к лифту, чтобы, как только в нем появится запоздавший гость, сразу же его увидеть и постараться хоть что-нибудь понять по его внешнему виду.

Появившийся в коридоре Жорж шел ко мне быстрой походкой явно встревоженного человека.

— Что случилось, Жорж?

— Да черт знает что! — сказал он, точно выплюнул эти четыре слова. — Пришли ко мне в номер двое в штатском, помахали какими-то документами перед носом. Что я в них мог увидеть?! И потребовали мои. Потом стали меня спрашивать, что я здесь, в Москве, делаю и о чем так продолжительно и вкрадчиво (что значит это слово?) беседу с ними.

— Вкрадчиво? Ну, как это вам объяснить... вкрадчивый человек — это тот, который тонко рассчитанным поведением умеет расположить к себе, вызвать доверие и симпатию.

— Ну, в общем, да, это так! Я ведь за короткое время должен узнать о способностях и возможностях человека, который нанимается на работу в нашу фирму. Но с половины седьмого вечера до одиннадцати фактически допрашивать (он чуть ли не по слогам произнес это слово) меня? Это слишком! Завтра же я улетаю. Давайте мне бумагу. Я переведу ее и отправлю Бернхарду фон Бреверну в Ганновер.

— Тому, кто теперь вместо умершего Олафа?

— Да, да.

Я вошла в столовую. Он, не раздеваясь, за мной.

— Но раз уж вы приехали, разденьтесь, выпейте чашку чаю, — сказала я, разжалобившись его смятением.

— Нет, нет!

— Ну, хоть съешьте пирожок!

— Нет, нет, Лилиана, не могу. Меня внизу ждет мой шофер.

— Тогда возьмите пирожки с капустой...

Тут зазвонил мобильник Жоржа.

— Да, да, сейчас спускаюсь, сейчас!

— Тогда возьмите пирожки с капустой с собой, съедите в машине, — заговорило во мне беспокойство о голодном человеке, допрашиваемом около четырех часов.

Жорж взял пирожки без всякого удовольствия, принес нам свои извинения, распрощался и ушел, оставив нас с мужем в полном недоумении.

XVI

Вовку зимой сорок второго мама нашла в Бутырках, где тот дожидался суда и вынесения приговора. Обвинялся он в незаконном ношении оружия (того самого браунинга) и покушении на убийство мужа маминной коллеги (того самого писателя, с которым мы с Вовкой бок о бок жили на даче под Загорском в сороковом году). Похоже, зная нашу семейную трагедию, а теперь, увидев в руках у мальчишки браунинг, которым тот угрожал ему, как написал в заявлении писатель (интересно, что он писал? Как-то не довелось нам узнать), он испугался и донес на Вовку в милицию и даже, вроде бы, представил медицинскую справку о колотой рваной ранке на затылке. Почему Вовка стрелял в него? А главное, зачем? Как говорила маме адвокат, брат по просьбе этого писателя переложил на прозу свое стихотворение (брат писал стихи) о мальчике, защищавшем свою Родину от немцев. А писатель опубликовал это Вовкино творение под своим именем в каком-то детском журнале. Да, да, он был детский писатель. Я вспомнила. Точно. Так это или не так, мне доподлинно неизвестно. Но была же какая-то причина, почему брат, пытаясь, похоже, попугать обидчика, стрелял в него, если вообще стрелял?! Адвокат ведь представила суду вещественное доказательство, так говорила мама, а именно — журнал с напечатанным в нем рассказом. Однако суд вынес мальчишке, который оказался по отцу еще и немцем, свой скорый во время войны приговор: два года за ношение оружия и пять лет за покушение на убийство.

Конечно, такого понятия, как интеллектуальная собственность, у нас тогда не было (да и сейчас с ней у нас еще не все в порядке), как, кстати, не было и собственности вообще. Но была война — Великая Отечественная война с Германией, когда оказалось так просто получить от кого-то (кого?), вернувшегося с фронта, такой подарок, как браунинг, да еще тогда, когда немцы рвались к Москве, а мальчишка мечтал иметь оружие — война же! И тут у брата от обиды на писателя скорее всего сработал юношеский максимализм. Вполне возможно, максимализм подкреплялся опытом пятнадцатилетнего мальчишки, не понесшего (будучи несовершеннолетним) никакого наказания за содеянное убийство отца. Нет, в 1939 году наказывать его было не за что, ведь он спас три жизни: мамину, мою и свою. Нас бы никого не осталось в живых: отец осуществил бы задуманное. Кстати, принимая такое решение, отец в те страшные годы был не одинок. Во многих семьях, подобных нашей, решался этот нелегкий вопрос: быть или не быть, который спасал семьи от уготованных им ужасающих бед, если, конечно, спасением можно назвать принятое отцом решение.

Что же касается незнания закона о ношении оружия, которое не освобождает от ответственности за содеянное, то откуда было брату, да и всем нам, знать его: нам ведь в школах не преподавали (да и сегодня не преподают) Уголовный кодекс. А было бы неплохо, хотя бы его азы. Они ведь могли дать не худшие, а лучшие плоды, чем, скажем, обязательные азы (на чем настаивает сегодня наша Церковь) христианской религии! Я говорю не об истории мировых религий! История мировых религий обязательна для каждого интеллигентного человека. Ведь в мою бытность редактором издательства «Художественная литература» одно время было запрещено (сверху, конечно!) давать даже ссылки на Библию, а слово «Бог» писалось со строчной буквы. Вот и пла-

вай, читатель, в библейском море имен и событий, судорожно хватаясь, если ты не приобрел неисповедимыми путями Библию, за утлый словарь атеиста, который все же нет-нет, да спасал утопавшего от полной безграмотности.

К тому же владеть оружием в школах во время войны обучали даже нас, девочек. Мы, как сейчас помню, учились разбирать и собирать винтовку и нажимать на курок на уроках военного дела, под присмотром, как я теперь понимаю, какого-то отставника. Правда, где-то в конце вроде бы сорок третьего года в школах ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Девочек в девчачьей школе стали обучать шитью и вязанью. А ребят продолжали натаскивать в том же направлении. А им-то по глупости, конечно, хотелось и по-настоящему пострелять. Сегодня эту мальчишескую жажду пострелять утоляет пиротехника (не слишком ли?!).

Ну а если в покушении на убийство писателя (чему я не верю!) виноват опыт с отцом, то что можно ждать от тех, кто возвращается из Чечни или какой другой горячей точки?! Психика-то явно сдвинута, о чем свидетельствует сегодня такой разгул бандитизма.

Ну, так или иначе, брата, после подачи апелляции в высшую судебную инстанцию, освободили. С него была снята и судимость, но почему-то было предложено искупить свою вину перед Родиной на фронте. При чем тут Родина, какой он нанес ей ущерб? Фронт как таковой по-моему не состоялся. Правда, как-то раз брат вдруг объявился дома с немецкими трофеями: это были какие-то быстро складывающиеся сумки, фляжки, зубная паста (которой мы еще не знали, поскольку пользовались зубным порошком) и что-то еще немецкое. Вовка в школе изучал немецкий язык и неплохо знал его. Вполне возможно, взяв брата в армию, его использовали как переводчика. Но где? Письма от него мы

с мамой получали, как правило, из Марийской Республики, где в землянке (а почему в Марийской АССР была землянка?) на него якобы упало бревно, и он в сопровождении офицера был доставлен в Москву психически (психически?) больным человеком. И четыре года провел в больнице им. Кащенко. Слава богу, что вышел здоровым и сумел поступить в Высшее военно-морское училище в Ленинграде. Но жизнь-то искалечена. Где прошли его лучшие годы?! Кто в том виноват? И что может сделать государство сегодня, чтобы ошибки правосудия не повторялись? Этот извечный русский вопрос — кто виноват и что делать — действительно не имеет решения.

Я же жила все эти годы с мамой в Москве у Никитских ворот и радовалась (если хоть чему-либо можно было радоваться во время войны), что живу в центре города, который был и по сей день остается центром культуры. Выйдя из дома, я через пять минут оказывалась у кинотеатров «Повторный», «Художественный», «Центральный», «Юного зрителя», «Арс», а через двадцать — у Театра Маяковского, Камерного, Еврейского на Малой Бронной и Консерватории, а через полчаса — у Большого, Малого, Художественного и Детского, да еще Станиславского и Немировича-Данченко, Ермоловой (не помню, так ли он тогда назывался?), ну и у Библиотеки им. Ленина, конечно!

В седьмом классе я уже отдавала предпочтение не балету, а драматическому искусству. И частенько вечерами, купив самый дешевый билет, а то и получив контрамарку (у нас с подружкой появился знакомый работник сцены: седой пожилой человек, у которого мы однажды спросили лишний билетик), просиживали на балконе второго яруса на спектаклях Московского театра драмы (позже им. Маяковского). Выучив наизусть роли Марии

Бабановой, я в любой момент могла (так я считала) заменить ее на сцене в «Собаке на сене», «Сыновьях трех рек» и «Тане», если бы это потребовалось. Но этого ни разу не случилось, и я пошла в Дом пионеров имени Павлика Морозова и поступила в театральный кружок. Там руководитель кружка не обнаружила во мне ни Тани, ни сеньоры Дианы, но обнаружила Липочку из пьесы «Свои люди — сочтемся» старика Островского (скорее всего, по моей розовощекости и упитанности). Было бы с чего! Мы ведь с мамой все еще сидели на картошке, как тогда говорили в Москве, а с арены Московского цирка нам всем вторил клоун Румянцев, добавляя к словам «все москвичи сидят на картошке» одно-единственное слово: «и молчат!», за которое и поплатился.

Я крутилась волчком: школа, театры и кинотеатры. Фильм «Леди Гамильтон» я посмотрела раз двенадцать, «Три мушкетера» — десять, «Сестру его дворецкого» — пять (надо сказать, американское кино, начиная с «Бемби», покоряло Москву тех лет). Ну и, конечно, театральный кружок! Театральный кружок был для меня всем, к тому же в нем были мальчишки. Мы ведь их видели только на улицах. А у нас в кружке мужские роли играли, естественно, они! И я влюбилась... безнадежно. И, слава богу, что безнадежно! А уж с восьмого класса начала подумывать о театральном училище. Любопытно, что много позже моя Липочка очень понравилась членам приемной комиссии Школы-студии МХАТ, а в Щепкинском училище при Малом театре все, включая Веру Николаевну Пашенную, остались равнодушны. А уж когда Вера Николаевна Пашенная узнала, что я, поступив в ГИТИС, готовлю отрывок из арбузовской «Тани» (об этом ей сказала когда-то занимавшаяся со мной Ирина Витольдовна Полонская — ее дочь), в изумлении спросила: «Почему Таню?! Ей бы играть Вассу Железнову!» Однако с Вассой Железновой я знакома не была, а мно-

гостаночницы, колхозницы и прочие выходцы из обласканных властью низов уж очень были мне не по душе. Хотелось на сцене хоть чуточку романтики, шляпок, кринолинов, короче, праздника, а не серых советских будней.

Так вот, заканчивая школу, только я да еще один мальчик из театрального кружка в тот год подумывали о театральном училище, а все остальные кружковцы готовились поступить в «серьезные» вузы и потому в сплоченном детском коллективе Дома пионеров им. Павлика Морозова, который, как оказалось спустя много-много лет, находился в бывшем храме Иоанна Крестителя, порушенном, конечно, без колокольни и всего прочего, просто отдыхали от напряженной учебы в школе. Вместе выезжали за город, вместе читали книги и вместе мечтали кто о чем и строили догадки, кто кем будет через двадцать лет. Кое-кому я виделась женой генерала в окружении выводка детей. Нет, не оправдала я их «доверия», а они — своих надежд стать большими учеными в еще не известной им тогда области науки, но четко в те советские годы служившей своему времени. Вот и получилось, что, защитив кандидатскую диссертацию, а может, потом и докторскую по истории советского периода, один из них оказался в 1994-м (а может позже) практически не у дел, очень хочу надеяться, что и в разладе со своей совестью.

Грешна! Не люблю приспособленцев, в какие бы одежды времени они ни рядились.

Май сорок пятого мы, кружковцы, встретили на Красной площади. День Победы выдался дождливым: природа оплакивала погибших героев страны. Но тогда мы, дети и взрослые, еще не знали, что им несть числа, и бурно радовались, глядя на плачущих от счастья и (как я поняла позже) горя людей.

На Лобном месте была сооружена огромная ваза из живых пионов всевозможных расцветок, по-моему, даже фиолетовых и голубых (подкрашенных, конечно), благоухание которых при легком порыве ветра долетало и до нас, стоящих поодаль. Но из-за большого количества людей, пришедших на площадь, мы, как ни старались, протолкнуться к моим любимым благоухающим цветам так и не смогли. Когда же стемнело, в небо взлетел такой красивый и мощный салют, какого мы еще не видели и не слышали. Слава победителям! Слава городам-героям! Слава Москве!

Потом для взрослых начались тяжкие будни восстановительного периода, чего настоятельно требовало порушенное хозяйство страны. И мирная жизнь хоть и постепенно, но уверенно стала вступать в свои права. И хотя для нас, детей, школьное обучение все еще оставалось раздельным, в мужских и женских школах, в зависимости от широты мышления руководителя вверенного ему учебного заведения, стали появляться преподаватели балльных танцев — для старшеклассников, конечно. «Они же должны будут танцевать на выпускных вечерах, — говорила мама и добавляла: — Балльные танцы и фокстрот, только фокстрот в порядке исключения!» (Ну, как можно было противостоять советской морали?!). «Танго — нет! Категорически нет! Нам не нужно тлетворное влияние Запада!» — писали газеты и вещали СМИ того времени.

Теперь мужские школы приглашали к себе на уроки танцев девочек из женских школ, а женские — мальчиков из мужских. «Не будут же наши дети, — говорила мама директорам школ, в которых работала, — всю жизнь танцевать шерочка с машерочкой! Потом, где они должны знакомиться?! Но не на улице же!» Однако всех пришедших к ней на урок сразу же предупредила: «С моих уроков вместе не уходить! Всем понятно?»

Вот на мамины-то уроки бальных танцев в седьмую мужскую школу, которая находилась в Казанском переулке, совсем рядом с Большой Якиманкой, и притащила меня одна моя одноклассница. Кругленькая со всех сторон, она, шустро ища голубыми глазами подходящего ей кавалера, то и дело встряхивала своими белокурыми кудряшками.

— Так! Если понятно, — продолжала мама, — встали друг против друга в две шеренги, посмотрели друг на друга. На танец обычно приглашают кавалеры. Мальчики это уже знают, я им уже объясняла. Так вот, мальчики подходят к избранницам, делают полупоклон и протягивают руку, ладошкой вверх. Внимание, мальчики! Особенно те, кто не присутствовал на ознакомительном уроке, — повысив голос, сказала мама, — это я для вас повторяю. За дамой остается право принять приглашение и подать руку или отказать и ждать другого приглашения.

— До чего же мы бесправны! — тихо сказала одна из продвинутых девиц (такие были и в те времена!).

— Почему же?! — тут же громко возразила ей мама. — Распорядитель бала время от времени должен объявлять женский танец. Вот тогда-то дамы выбирают кавалеров, это, естественно, реже. Сегодня же у нас классика. Итак, *Chevaliers engagez vos dames*. Все поняли? Ах да, вы же сегодня изучаете немецкий или английский. Так вот: кавалеры приглашают дам. Репетируем приглашение. Кавалеры, решились... и пошли. Стоп, стоп! Кто же такой развинченной походкой идет приглашать даму?! Да и руки из карманов надо вынуть. Так, выпрямились, подтянулись. Дамы, дамы, улыбайтесь, улыбайтесь так, чтобы показать товар лицом. Еще раз. Пошли!

К белокурой Тamarке тут же подошел высокий черный как смоль Карен, будущий музыкант. На чем он играл? Не помню. Ах да, на кларнете.

Ко мне приблизился тоже брюнет, но невысокий. Мне даже показалось, что ниже меня, правда, я была на высоких каблуках. Мама как раз только что купила мне красивые лодочки, продав на рынке водку, полученную по еще не отоваренным нами продовольственным карточкам. Подошел, поклонился, протянул руку. Я не отказала, как не отказала и после того, как он пожаловался мне на строгую учительницу танцев.

— Ваша учительница, — сказал он, — тут на нас покрикивала на ознакомительном, как она называет, уроке.

— Это моя мама, — сказала я.

Он умолк и промолчал до конца урока, поблагодарив меня на прощание поклоном. Похоже, помня наставления строгой учительницы.

На следующем уроке ко мне устремился другой мальчик, но первый, чуть не сбив его с ног, опередил его и поклонился, назвал свое имя, я — свое, и мы ушли с маминого урока вместе, за что я, естественно, получила хорошую взбучку дома. Однако с тех пор мы вместе вот уже пятьдесят восемь лет. И очень надеемся потанцевать еще на одной нашей свадьбе — бриллиантовой. Серебряная и золотая уже позади, до бриллиантовой осталось дожить всего два года.

Как же я молила Господа Бога дать нам дожить до этой бриллиантовой свадьбы, когда в 2005 году, пройдя обследование в Институте грудной хирургии имени Бакулева и в Институте Вишневского, мы с мужем узнали, что ему грозит мгновенная смерть, а потому «показана» (так сказали врачи) операция, естественно без гарантии, что он встанет с операционного стола: ведь у него три инфаркта, астма, пневмосклероз левого легкого, а теперь еще и аневризма аорты и подвздошных артерий.

Раздумывали мы долго, но все-таки решили жить, сколько велит Господь. И очень, очень надеялись, что

Он даст нам дожить до нашей бриллиантовой свадьбы (официально мы были зарегистрированы 9 апреля 1948 года), естественно, желая отметить наш шестидесятилетний юбилей, получив все официальные и неофициальные поздравления и даже шесть тысяч на мелкие расходы к столу. Но почему-то совсем забыли (почему!? Почему?!) об истинном дне нашей состоявшейся близости.

Когда это случилось? Да в тысяча девятьсот сорок седьмом году, но не весной — вечной сообщницей влюбленных, а зимой, почти накануне дня рождения Юры (вполне возможно, 26 декабря). А уж когда в день его рождения 28 декабря сорок седьмого года я подарила ему бритвенный прибор со сделанной на нем гравировкой: «Дорогому Юрке, Лиля. 28.XII.47 г.», Юра был несколько смущен, ведь он еще не брился, а его мама — моя будущая свекровь — сказала: «Ну, все ясно! Дети выросли и любят друг друга. Им надо расписаться, как только Юре исполнится восемнадцать».

Да, мы забыли о самом главном дне нашей жизни и ждали официальной даты регистрации этого события. А Господь Бог не забыл. И, вняв моей просьбе (а вернее, мольбе), дал нам дожить вместе до нашего негласного юбилея и подарил нам к этой знаменательной дате еще один месяц жизни вдвоем.

Юра умер двадцать шестого января 2008 года, не дожив почти два года до своего восьмидесятилетия.

XVII

Так вот, семья Юрия Кафенгауза — мальчика, с которым я познакомилась на уроках бальных танцев в седьмой мальчишеской школе, проживала на Большой Якиманке в двух комнатах большой коммунальной квартиры, некогда целиком занимаемой семейством Кафен-

гаузов. Обстановка дома была предельно скромной: все только самое необходимое, включая старый дубовый письменный стол, жесткое рабочее кресло и мягкое для отдыха. И книги, книги, книги повсюду: на полу, на столе, на открытых строганных полках возносящихся к потолку стеллажей. И картины, картины, картины (все, как одна, без рам) трех сестер: Людмилы Андреевны Прудковской, Тамары Андреевны Кафенгауз и Надежды Андреевны Удальцовой. Картины Удальцовой занимали целую стену.

Таким я увидела дом Кафенгаузов 28 декабря 1947 года, когда впервые оказалась в нем на дне рождения своего будущего супруга. Юра кончал девятый класс, а я десятый. Три месяца спустя, в апреле сорок восьмого, мы с Юрием (ему уже исполнилось восемнадцать) расписались. Расписаться-то мы расписались, но жить по-прежнему продолжали порознь: я — у мамы, а он — у себя дома. Так решили родители мужа. Ведь Юрию еще предстояли выпускные экзамены в школе, и их нужно было пройти достойно. Конечно, мы встречались, но строго по воскресеньям. Потом, как опять же решили родители мужа, когда Юрий получит аттестат зрелости, вся семья, как обычно, но теперь уже включая меня, уедет на дачу.

«На машине с вещами, — сказала Тамара Андреевна, — поедет Андрюша. (С Андреем Древиным, сыном живописца Александра Давыдовича Древина и Надежды Андреевны Удальцовой, которая всегда проводила лето рядом с Тамарой Андреевной, я еще знакома не была.) Он поможет шоферу погрузить наши вещи и поедет с ним в кабине. Мы же все будем добираться до места на поезде (электричек тогда не было). Надо только, чтобы Лиля ночевала у нас, и вы, встав как можно раньше, пока соседи будут спать, уехали из дома. А вот когда мы вернемся с дачи и отпразднуем свадьбу, Лиля останется у нас, и вы будете жить вместе».

В абрамцевской деревне, где была снята дача, цвела и благоухала черемуха, раскрывались набухшие кисти сирени и голубели незабудки, выстилавшие правый берег тогда уже обмелевшей Вори, к которой мы каждый день, встав рано утром, сбегали, прихватив полотенца и мыло, чтобы умыться ее освежающей, незамутненной водой. Потом, вернувшись с реки, завтракали и, взяв на всякий случай корзинку, шли через соседнюю деревню в темневший на горизонте лес, который уже тогда настоящим лесом не был, поскольку, едва углубившись в него, очень скоро с левой стороны возникал забор (как потом мы узнали) одного из участков будущего дачного поселка Академии наук СССР. (Строили его в тот год пленные немцы. Один из них как-то даже забрел в деревню, где мы снимали дачу, постучал в наш дом и попросил хлеба. Юра, естественно, вынес ему буханку.) Нас радовал любой найденный в лесу гриб. Мы показывали его друг другу, осматривали вокруг землю, надеясь найти еще и еще, если, конечно, это были не сыроежки, и шли дальше. В середине июля в заросшем крапивой малиннике мы собирали малину, которую потом с удовольствием ели с молоком (у хозяйки дома была своя корова). Вечерами же, когда темнело, мы слушали деревенскую гармонь и разбитные частушки гулявшей далеко за полночь абрамцевской молодежи. В воскресенье к нам приезжал работавший всю неделю в Москве Бернгард Борисович с домработницей Еленой Ивановной, уже много лет помогавшей по хозяйству семье Кафенгаузов. Она прекрасно готовила. Пирожки с мясом и капустой и витушки (так она называла посыпанные сахарным песком и корицей крендельки) были ее коронным номером.

С Бернгардом Борисовичем мы с Юрой ходили то в поселок художников, где жили родственники четвертой сестры Тамары Андреевны — Варвары Андреевны (он стоял на краю большого оврага), то в дачный, сто-

явший на высоком берегу реки Вори, где снимал дачу Роберт Рафаилович Фальк, с которым Бернгард Борисович был в дружеских отношениях. Ну и, конечно, гуляли в музее-усадьбе «Абрамцево».

Вот не помню только, писал ли тогда в Абрамцеве Юрий пейзажи? Похоже, нет! Мы, бесконечно счастливые, что теперь могли быть вместе и днем, и ночью, целиком и полностью были заняты друг другом. Нет, и все-таки он что-то писал.

В Москву мы вернулись в двадцатых числах августа и почти тут же сыграли (как принято было говорить) свадьбу. Свадьба была более чем скромной (1948 год!) и, естественно, дома. Собрались родители, родственники и наши школьные товарищи.

Цветов нам нанесли столько, что ими оказалась заставлена вся двенадцатиметровая комната. Свободной от цветов осталась только двухспальная тахта, на которой нас ждали подушки, постельное белье и ватное стеганое одеяло золотистого цвета, под которым нам Тамара Андреевна пожелала дожить до золотой свадьбы. (Мы не только выполнили ваше пожелание, Тамара Андреевна, но и перевыполнили — мы дожили с Юрой до бриллиантовой свадьбы (шестьдесят лет!), правда, под другим одеялом.)

И вот, когда гости разошлись и мы отправились в свою двенадцатиметровую комнату, утопавшую в принесенных нам на свадьбу огромных георгинах самых разных расцветок, которые стояли торчком, точно в карауле, я, сравнив их с букетом Юры, с обидой сказала:

— Посмотри, какие огромные торжественные букеты! А твой? Маленький.

Юра промолчал.

Постелив постель, мы легли под золотое одеяло и крепко уснули на теперь уже законном супружеском ложе. А когда на следующий день утром проснулись, то

обнаружили, что все великолепные головки георгинов поникли, а некоторые из них даже обнажились, сбросив свой разноцветный головной убор. Лепестки цветов устилали стол, стулья, пол. И только один букет белых чистых хризантем, которые принес мне Юра, торжествовал победу над своими зелеными собратьями... и надо мной тоже.

— Что это?!

Юрий засмеялся:

— Да они же держались на палочках, воткнутых в их головки. Я это сразу увидел, но решил промолчать.

Вот так началась наша сказочная жизнь в двенадцатиметровом кабинете профессора Кафенгауза, который уступил его нам, перебравшись со своим письменным столом, книгами и бумагами в общую, большую (как говорили тогда), двадцатиметровую комнату.

Надо сказать, что родители мужа от нас ничего не требовали, кроме учебы, и во всем нам помогали: поили, кормили, одевали, давали деньги на мелкие расходы и на большие, воспитывая нас и уча жизни. А мы, влюбленные друг в друга, теперь, имея право это не скрывать, старались ни на минуту не расставаться. И когда Юрию нужно было подать документы в Московский государственный институт им. В. И. Сурикова, ни о чем не задумываясь, пошли вместе, что вызвало, надо сказать, у Бернгарда Борисовича явное раздражение: «Зачем этот семейный поход?! Мы идем (он, естественно, шел с сыном, чтобы переговорить с Сергеем Васильевичем Герасимовым. Он тогда, кажется, был ректором института) — по делу, а не на прогулку!» — говорил он довольно громко, вышагивая впереди нас. Мы молчали. А что можно было возразить на вполне разумный довод разумного человека. Ничего. Тем более, что причиной тому было наше детское поведение, хотя в ежедневном общении с нами он иначе, как детей, нас и не воспринимал.

Да, мы, конечно, были для него детьми, как и для Тамары Андреевны. Это так.

Сама же Тамара Андреевна, будучи художником-графиком (она училась во ВХУТЕИНе, но была отчислена чуть ли не на последнем курсе за свое дворянское происхождение и диплом не получила), всю свою жизнь рисовала «в стол». В ее художественном наследии, в частности, графические циклы на темы «Пиковой дамы» Пушкина, сказок Гофмана и «Повести о двух городах» Диккенса, а также крымские, звенигородские и таллинские пейзажи пером и акварелью.

В 2009 году в Москве в Центре книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино вышла в свет замечательная книга «Русский круг Гофмана», в которой впервые опубликованы ее иллюстрации к повестям Гофмана «Золотой горшок» и «Песочный человек», за что низкий поклон составителю книги Н. И. Лопатиной и ответственному редактору книги Ю. Г. Фридштейну.

Так вот, опоздав, как оказалось, с подачей документов в Суриковский, Юрий вынужден был подать документы в Высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское, куда, как и в Суриковский, пришли в те послевоенные годы участники войны и члены партии, многие из которых имели неполное среднее образование. А потому москвичи, получившие аттестат зрелости, естественно, были освобождены от изучения общеобразовательных предметов (за восьмой, девятый и десятый классы).

Тогда-то Юрий и подал по совету Игоря Эммануиловича Грабаря (Бернгард Борисович был с ним в дружеских отношениях) свои документы еще и на заочное искусствоведческое отделение филологического факультета МГУ. И стал учиться сразу в двух вузах, что, честно говоря, стало отнимать его у меня. Но тут я, вылетев из педагогического института за стихи, поступи-

ла наконец в ГИТИС (однажды я уже осталась за бортом волшебного парусника моей мечты, дойдя до конкурса в школе-студии МХАТ и Щепкинском училище) и тоже отдалась учебе, пропадая допоздна в ГИТИСе, чем тут же восстановила status quo в нашей семейной жизни.

Надо сказать, что родители мужа, узнав, что я решила стать актрисой, меня не отговаривали, а, наоборот, старались выяснить мои способности и просили своих друзей, как, скажем, Елизавету Яковлевну Эфрон, прослушать меня и, если можно, поработать со мной, при условии, конечно, что я окажусь достойным материалом.

Кто такая Елизавета Яковлевна Эфрон, я, конечно, тогда не знала. Знала только, что она режиссер известного в те годы чтеца, мастера художественного слова Дмитрия Журавлева и чуть не вышла замуж за Льва Борисовича Кафенгауза¹ (родного брата моего свекра). Как не знала ничего и о Сергее Яковлевиче Эфроне и Марине Цветаевой (нет, стихи Марины Цветаевой мне подсовывал Юрий, и я их читала).

Но именно так родители мужа старались уберечь нас, детей, от политики и всего того, что с ней связано. И правильно делали, как понимаю я теперь, когда вижу по телевизору несмысленную, но разгоряченную молодежь на какой-нибудь сходке по тому или иному политическому поводу. Ждать от них, выкрикивающих лозунги на площадях и улицах столицы, чего-либо дельного — бессмысленно. Ведь только любимый каждодневный и упорный труд, а не митинги, помогает человеку стать человеком и оставить по себе добрую, а может и вечную, память, что, по сути, и является бессмертием.

¹ Лев Борисович Кафенгауз (1885–1940) — ученый-экономист, профессор МГУ и Института промышленности и труда. Помощник министра промышленности и торговли во Временном правительстве. Арестован в августе 1930 г. Реабилитирован 26 января 1932 г.

Так вот, поступив на актерский факультет ГИТИСа, я весь день пропадала там, и теперь мы с мужем виделись только вечерами. А позже, когда Юрий (еще учась в Строгановке) написал «Портрет кореянки» в технике энкаустика, который был выставлен на I Молодежной выставке (1954 г.), потом, в том же году, на Всесоюзной выставке в Третьяковской галерее, потом на выставке в Варшаве (1955 г.), а потом и на Всемирной выставке «Пятьдесят лет современного искусства» в Брюсселе (1958 г.), и защитил диплом, и был принят в Союз художников СССР, и получил государственный заказ от Министерства культуры СССР (1955 г.) на написание картины «Восстание декабристов 1825 года» для очередной Всесоюзной выставки, и весь день с утра до ночи работал в мастерской, мы с ним виделись только ночами.

Да, в творчестве и любви он был одинаково яростным, готовым отдать себя всего без остатка. И я ревновала его к сопернице живописи и частенько просила прийти домой пораньше, засветло.

«Нет — не могу! Писать картину можно только при дневном свете».

Правда, потом, много позже, не успевая закончить картину к указанному в договоре сроку, он изменил свое мнение и, как говорил сам, «врубал софиты», чтобы работать всю ночь. Ну а о том, чтобы остаться дома в воскресный день, и речи быть не могло.

Вот так мы и жили, когда я, расставшись с ГИТИСом, поступила в Московский педагогический институт иностранных языков и на втором курсе родила дочь. А во втором полугодии второго курса, сдав зачеты и экзамены за первый семестр, вернулась в институт в свою испанскую группу. Мама была в восторге. «Тебе обязательно, — говорила она, — обязательно надо окончить институт! Чтобы получить профессию». И продолжала vychаживать внучку до трех лет.

Так что, родив ребенка, занятие, по задумке мужа, получила не я, а обе бабушки, которые, как говорят теперь, «вкалывали» даже при наличии нанятой няни. И девочка, которую все вокруг называли маленькой Лолитой Торрес (фильм с Лолитой Торрес шел тогда на наших экранах), росла ухоженной и обласканной.

О родившейся внучке позаботился и Бернгард Борисович, ведь внучка-то жила у моей мамы (в нашей двенадцатиметровой комнате, походившей на пенал, детскую кроватку даже поставить было негде!). Свекор подал заявление о приеме его в жилищно-строительный кооператив Академии наук СССР. (Решение о строительстве первого послевоенного кооперативного дома работников Академии наук было подписано Сталиным.)

Уже тогда у Бернгарда Борисовича появился легкий тремор в левой руке. Но он продолжал трудиться, работая в университете и в Институте истории Академии наук, и даже поехал в Сорбонну читать лекции. (Какой это был год? Наверное, 1968. В этот год в Париже были студенческие волнения, в которых принимали участие и студенты Сорбонны. И когда свекор вернулся в Москву, тремор усилился. Так что поездка во Францию оказалась для Бернгарда Борисовича тяжелой. А тут еще Академия наук Германской Демократической Республики выдвинула его в почетные академики или членкоры (не помню) и запросила документы. А он, похоже, отдал их в чьи-то «надежные» руки. Так я поняла потом, когда сама, собираясь в 1978 году на стажировку в Лиссабонский университет, пришла к заместителю председателя Государственного комитета по печати товарищу Небензе (забыла его имя и отчество), который напутствовал меня следующими словами: «Вы, Лиана Эдуардовна, никаких бумаг, требующих подписей моих «хунвэйбинов», не оставляйте, если их нет на месте.

Либо ждите их, когда появятся, либо приходите в другой раз, когда будут. Иначе замотают! Понятно? И так из кабинета в кабинет!»

Похоже, бумаги Бернгарда Борисовича Кафенгауза на членкора Академии наук ГДР действительно замотали в Институте истории Академии наук СССР, ведь ходить по кабинетам начальствовавших персон он не умел, да уже и не мог: болезнь Паркинсона у него прогрессировала, чему способствовала, конечно, и беспокойная жизнь все в той же коммуналке на Якиманке.

XVIII

Так вот, не став актрисой (и слава богу!) и окончив в 1957 году Московский государственный институт иностранных языков с хорошим знанием испанского и не очень хорошим французского (не шел он у меня, как, кстати, и у испанских детей, приехавших в Советский Союз в 1937 году и теперь учившихся со мной в испанской группе), я пришла на иновещание Московского радио.

Пришла я к Саше Плевако (однокласснику мужа), который был уже, если не ошибаюсь, обозревателем, нет, скорее, главным редактором «Редакции вещания на Югославию» и общался, как он мне трогательно поведал, с Броз Тито. Пришла, чтобы поговорить о возможности устроиться на работу в испанскую редакцию.

Встретил Саша меня приветливо, но ничего обнадеживающего не сказал:

— Понимаешь, в испанской редакции вакансий нет и в скором времени не будет. Правда, как я знаю, грядет реорганизация испано-португаловещающих редакций и тогда, тогда... Слушай, поработала бы ты у нас на радио внештатно, пописала бы материалы... Ну, хотя бы в рубрику «Культурная жизнь в СССР».

— А что писать?

— Это уже тебе решать. Можно о театре, кино, художниках. Ты что-нибудь писала?

— Нет.

— Ну, так попробуй, найди тему, материал. Если хорошо получится, деньги заработаешь. А там, глядишь, чем черт не шутит, и в штат могут взять. Один диплом мало что говорит о хозяине и его возможностях.

Я молчала.

— Что молчишь?! Давай, давай, попробуй. Муж — художник, семья интеллигентная.

Эти слова я пропустила мимо ушей.

— И фамилия у тебя любопытная, — сказал он, ставя отметку на пропуске, выданном мне в бюро пропусков. — Ты что, не взяла фамилию мужа?

— Нет, — ответила я.

— А почему?

— Так получилось.

— Может, и к лучшему. А кто у тебя отец по национальности?

Моя фамилия, имя и два отчества всегда вызывали этот вопрос.

— Он из Эстонии, — сказала я, как всегда.

— Да-а? Ну, это вторично. А первое и главное: можешь ты писать или нет. Давай, дерзай. Мне пора идти на летучку, к начальству.

Что такое летучка, я тогда не знала.

Писать я попробовала. Муж подсказал тему.

— Пиши о моей тетке Надежде Удальцовой. Хороший художник, у нее берут работу на Венецианскую выставку. Как раз пойдет в «Культурную жизнь СССР».

И я написала.

Я в лифте. Жму на кнопку. Толчок. И, дважды подпрыгнув, лифт стремительно возносится на седьмой этаж. Здесь под

крышей, как все художники мира, живет старейший живописец Надежда Андреевна Удалцова.

Она не окружена ни почетом, ни славой, труд ее не отмечен ни орденами, ни медалями, ее именем не пестрят газетные статьи. Это — художник, путь которого был извилист и тернист. Да, ее дорога была трудной дорогой исканий, заблуждений, ошибок, открытий, взлетов и падений, дорогой борьбы за яркое красочное искусство, по которому шли Машков и Кончаловский, Сарьян и Лентулов, Куприн и Крымов. За плечами у нее были кубизм, «Бубновый валет» и Отечественная война, давшая героев, увековеченных художником. И ее жизнь, и ее искусство — пример мужества, стойкости, подвига.

Как сейчас вижу ее: маленькая сутуловатая женщина, опираясь на палку, смотрит на вас своим чуть прищуренным, пытливым глазом. Ей уже семьдесят лет. Сломанное бедро не позволяет ей передвигаться, она — узник в своей комнате-мастерской. И чтобы подышать воздухом, ей приходится выходить на балкон. А частые головокружения не разрешают ей переутомляться.

И какой же энергией должен обладать этот человек, работая по двенадцать часов в сутки стоя, сидя, лежа только потому, чтобы иметь право назвать себя художником в настоящем.

Я пришла, а она стоит и работает. Завтра она ляжет в больницу, а сегодня закончит картину. С полчаса мне придется занимать себя самой. Я сижу, мы молчим. Приятно отогреться с мороза. И я невольно представляю ее нетопленную мастерскую времен войны и ее натюрморт с черным хлебом, увядшими цветами в мрачно-коричневых тонах, который висел у нас в большой комнате, а потом был куплен Ильей Эренбургом.

Посередине комнаты мольберт с только что начатым портретом. Портрет из серии «Молодежь в культурном строительстве». Девушка-искусствовед с путеводителем в руке. Открытое лицо. Черные завитки волос и чуть-чуть презрительная усмешка, адресованная, вероятно, художнику.

Надежда Андреевна что-то сказала. Я не расслышала:

— Что?

— Выставка.

Да, сейчас идет подготовка к ее персональной выставке. После более чем десятилетнего перерыва эта выставка подведет итог ее многолетнему труду.

Перебираю ее картины. Странное чувство они вызывают. Нет ощущения, что писал человек в семьдесят лет.

Вот радость солнечного дня врывается в распахнутое окно, и легкий ветерок чуть заметно шевелит лепестки стоящего на нем букета. Мне кажется, он даже пахнет. И конечно же пионами. На другом холсте внучка Катюша. Сидит за столом, строя высотное здание будущего. Красные, зеленые кубики и сосредоточенное лицо ребенка, занятого важным делом.

Неожиданно я заговорила о последних событиях: статье Грабара и толках вокруг нее. Она оживилась. И, глядя на нее, я вижу лукавые глаза цыганки, заглядывающие мне в душу с написанного ею портрета, висящего напротив.

Звонок. Кто-то идет. Мне положительно не везет сегодня. Нет, это почтальон.

— Вот вам письмо и план работы Московского Союза художников.

— А ты уже видела каталог Международной выставки? — спрашивает она меня.

— Да, видела, — отвечаю я.

Оранжевые китайские колокольчики, точно перезвон последней вспышки осени, украшают Международную художественную выставку, открывающуюся в Венеции, а у нас на дворе зима и мороз серебрит стекла балкона.

1957 год.

Напечатала, сдала и через две недели, как было условлено, позвонила в редакцию Плевако.

— Твой материал прошел в эфир по всем европейским редакциям, — сказал он. — Можешь получить день-

ги, только узнай предварительно, когда будет выплата гонорара. А кроме того, звони в отдел кадров (он дал мне телефон) и с документами... Они скажут, когда... Короче, тебя берут в редакцию вещания на Латинскую Америку, но работать тебе придется с письмами наших радиослушателей из Бразилии.

Так я стала литсотрудником Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР.

Вначале я осматривалась и приглядывалась ко всем и всему вокруг. Читала поступавшие из Бразилии письма, отвечала на них по имевшимся в редакции болванкам и извлекала из них интересные вопросы, отвечая на которые можно было сделать хорошую передачу, привлекая внештатных авторов, а иногда и обходясь собственными силами (написанный мною материал переводчики переводили на португальский), и старалась, конечно, держаться сотрудников дневной редакции. Пунктуально, в одно и то же время, ходила с ними в буфет обедать, а иногда даже в кафе «Прага» (Комитет тогда находился на Путинках в самом центре столицы), что очень скоро мне надоело. Потом, уже справляясь с кругом своих обязанностей (кстати, реорганизация испано-португаловещающих редакций произошла очень скоро, и я оказалась в «Редакции вещания на Бразилию и Португалию»), я стала подумывать, о чем бы еще написать в «Культурную жизнь СССР» или в «Передачу для молодежи», а может, и в передачу «А знаете ли вы?..», и даже начала работать с крупорушкой (так в то время мы называли портативно-примитивный магнитофон для записи голоса выступавшего). Но тогда я уже стала выходить за пределы редакции и знакомиться со всеми службами большого радиоколлектива, который мне очень нравился своим разноязыким

братством. Кого здесь только ни было: испанцы, португальцы, бразильцы, чехи, венгры, французы, англичане, немцы, представители Индии, и Вьетнама — всех не перечислишь. Некоторые из них даже ходили в национальных костюмах. А когда все они во второй половине дня сходились в буфете, это было нечто феерическое. Языковой оркестр, в который нет-нет, да врывались отдельные русские слова и словечки, оглушал меня, когда «дети разных народов» стояли у кассы буфета и выбирали себе блюда русской кухни, спрашивая друг друга: «Que es кислая капуста?», «Was ist das пельмени? Огурец соленый». «Salgado, salgado»¹, — отвечал кто-нибудь из старожилов. И сразу умолкали, когда садились за столы и ели.

Мне они нравились все, и я нравилась им всем сразу. И частенько, когда кто-нибудь из них спрашивал меня по-русски: «Новая? Вы есть кто?», «Страна, какая?», искренне удивлялись все без исключения, даже европейцы, слыша в ответ, что я — русская, Советский Союз. Меня распирала гордость. Вот так! Да, я всегда была стильно одета, но никогда не была стилигой, что нередко слышала на улице у себя за спиной; нет, нет, внутренней пустотой я никогда не страдала. Да и вся обстановка на иновещании была исключительной, сильно отличающейся от московских будней, и я старалась ни в чем не отставать и даже быть впереди всех. Никто из женской половины нашей редакции не ездил с тонвагеном² на запись репортажей. А я ездила с диктором на Бразилию, и запись с ним мы вели на два голоса. Так, мы с ним побывали на «Мосфильме», где я взяла интервью у Евгения Урбанского, снимавшегося тогда в фильме «Коммунист», потом в подмосковном зимнем студен-

¹ Соленый (исп.).

² Автобус со встроенным в него стационарным магнитофоном.

ческом лагере, на одном из московских заводов, и в наших репортажах всегда звучала музыка ветра, студенческих песен, заводской жизни. Я даже получила старое, потрепанное (на данный момент не было новой корочки) удостоверение собственного корреспондента Московского радио, чем была очень горда.

В конце 1957 года, не дождавшись полагавшейся Бернгарду Борисовичу двухкомнатной квартиры в строящемся кооперативном доме Академии наук СССР (почему двухкомнатной? Две комнаты у нас были и в якиманской коммуналке! Что мы выигрывали, выплачивая огромные деньги за кооперативную квартиру? Впрочем, да! Отсутствие соседей по коммуналке! И наличие собственных мест общего пользования!), мы въехали, и слава богу, в четырехкомнатную квартиру (доплатив большие деньги!), но на первом этаже, что было плохо, конечно. Но до этажа ли было нам тогда?! Бернгард Борисович болел, Юра все еще снимал мастерскую, а наша дочка — ей уже было четыре с половиной года — чаще жила у бабушки, чем у себя дома. А тут, переехав в четырехкомнатную квартиру, каждый из нас обрел свое собственное жизненное пространство, а Юрий — самую большую комнату под мастерскую, в которой теперь уже спокойно мог работать и день и ночь, забывая обо всем на свете. Еще бы! Ведь теперь его донимали грозными письмами деятели из Министерства культуры, присылавшие ему предупреждения о расторжении с ним договора на написание картины «Восстание декабристов». Ну не укладывался он в сроки, не укладывался. И однажды даже получил исковое заявление Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР.

Продлить договор мужа с Министерством культуры помогло мне как раз лежавшее в кармане удостоверение собкора Московского радио. Именно благодаря ему

я спокойно прошла на прием к народному художнику СССР, действительному члену Академии художеств Сергею Васильевичу Герасимову и заручилась его поддержкой. Вот так! Теперь уже Юра работал дни и ночи напролет, забывая обо мне, тем более что я сама очень скоро перешла из дневной редакции в вечернюю, на выпуск к переводчикам и дикторам, став выпускающим редактором на Бразилию и Португалию.

Однако со временем я стала понимать, что забываю испанский язык, а в испанской редакции мест нет и не предвидется. Ведь за последние четыре года у нас в стране было выпущено такое количество дипломированных испанистов, что им, скорее всего, до конца дней придется конкурировать друг с другом. А потому я решила учить португальский, ведь на хорошей испанской почве он должен был быстро дать хорошие всходы. Семь часов каждодневного общения с носителями португальского языка и переведенными ими с русского на португальский текстами должны заставить меня заговорить по-португальски. Я должна была начать переводить на португальский хотя бы бюллетень новостей, ведь словарь их скуп и всегда однообразен.

Теперь я приходила на работу около четырех вечера, получала программу передач и весь материал, наработанный сотрудниками дневной части редакции. Потом бежала в отдел международной информации (где в то время работал мой ровесник Евгений Примаков), вернее, к ячейкам, в которых для каждой редакции лежал общий бюллетень новостей и комментарии обозревателей-международников. Приносила все в редакцию и с шести часов царствовала в ней одна: резала основной бюллетень и составляла свой, на Португалию и Бразилию. Потом всё — и бюллетень и комментарии — распределяла между переводчиками. Переводчиков в нашей редакции было буквально раз, два, и обчелся: Сатва

Брандао (дочь первого секретаря Компартии Бразилии, окончившая исторический факультет МГУ, и, как выяснилось позже, при тесном с ней контакте, ученица моего свекра) и Франсиско Феррейра — португальский полуграмотный рабочий, который, когда умер Салазар¹, а может чуть раньше, уехал на родину, где, зарабатывая на жизнь, публиковал в какой-то жалкой газетенке свои гнусные заметки под броским названием «Тридцать лет на службе у Кремля». Надо же!!! А у нас он на Первое мая и Седьмое ноября стоял на Красной площади у Мавзолея в числе особо приглашенных товарищей.

Так вот, переводчиков у нас в редакции (они же дикторы!) было двое и на обе страны сразу. Счастьем нашим было то, что в эфир наша передача шла в записи. Прямого вещания как такового в те годы не было ни на Португалию, ни на Бразилию (разве что иногда нам удавалось перевести и дать в прямой эфир на Бразилию полночное выступление Хрущева). Вот так мы и трудились какое-то время. Но потом из Бразилии приехал Антонио Паим, приехал, чтобы жениться на своей любимой русской девушке и увезти ее в Бразилию, и какое-то время поработал у нас диктором. Потом, уже позже, приехал бразилец (с индейскими корнями) по имени Мартин, с женой и сыном, искалеченным полиомиелитом, в надежде вылечить его в советской стране. Но, потеряв здесь красавицу-жену Ану и не вылечив сына, улетел (куда, не помню) и погиб в авиакатастрофе, оставив у нас на радио по себе и Ане добрую память. А когда много позже по контракту приехали бразильцы Вера и Иб Керн, на Бразилию был взят новый выпускающий. Ну, а на Португалию твердо осталась я, и все передачи продолжали переводить и читать Брандао и Феррейра, Феррейра и Брандао. А между тем, португальское про-

¹ Антонио де Оливейра Салазар (1889–1970) — глава правительства Португалии (1932–1968 гг.).

изношение сильно отличается от бразильского, да и лексически язык в Бразилии далеко ушел в развитии от своего португальского прародителя. Но что было делать? И мы все ждали, ждали, и я особенно, что вот-вот к нам приедут молодые, образованные, звонкоголосые португальские дикторы.

А пока, раздав тексты переводчикам, я то и дело навещала к ним на третий этаж, где стучали машинки испанских, латиноамериканских, португальских и бразильских переводчиков, которые сидели всем скопом в одной большой комнате, и забирала сделанную ими работу. Все они, кроме двух русских девиц, были иностранцами. И меня, новенькую, они привечали. А один из них, уже не молодой по тогдашним моим понятиям (ему в то время всего-то было сорок пять лет), казалось, просто ждал моего появления в дверях, чтобы, оторвав руку от клавиш, поднять ее вверх и поприветствовать меня. Позже он даже стал вставать из-за стола при моем появлении и, подходя ко мне, шутить, заговаривая со мной на самые разные темы, что меня озадачивало и даже начинало раздражать.

Господи, знать бы мне тогда, кем был этот человек в тридцать седьмом в Испании, и почему он здесь у нас, в СССР, и какую он сыграет роль в моей дальнейшей судьбе, я сразу бы ему сказала: «Здравствуйте, дорогой Сьюдад!» — и никогда бы не сомневалась в его искренности. Но «человек живет незнанием своего будущего, и в этом его счастье».

Когда переводы были сделаны и сверены мною с русским текстом, мы с дикторами шли на запись в нашу аппаратную. Дикторы садились перед микрофоном и, глядя на меня сквозь разделявшее нас стекло, после позывных Московского радио начинали передачу: «Fala Moscovo!¹» И давали программу. Потом начинали чи-

¹ «Говорит Москва» (*португ.*).

тать бюллетень новостей, комментарии и все прочее. Иногда мне приходилось их останавливать: нажимая кнопку на пульте, я просила прочесть заново тот или иной кусок. И так каждый день, вернее, вечер: с восьми до двенадцати ночи с шамкающей речью португальского диктора Франсиско Феррейры, звучавшего в диссонанс со звонким напористым голосом бразильянки Сатвы.

Теперь, работая с ними, я хорошо понимала, как ограничены возможности наших португальских переводчиков, особенно Феррейры. Другое дело Сатва, но она же бразильянка. И бразильская лексика не всегда тождественна португальской. А у испанцев были асссы. Один Перона чего стоил! Его голос и способность донести до слушателя политический комментарий оценил сам генералиссимус Франсиско Франко, не разрешив ему сойти с корабля на испанский берег, когда Перона, бывший мэр одного из испанских городов, решил вернуться на родину. Вот так. Но мы ждали обещанных нам новых молодых португальских переводчиков и дикторов. И я очень надеялась, что сумею им понравиться, и они помогут мне освоить португальский, а я им помогу с русским.

И вот наконец они приехали. Он и Она с трехмесячным ребенком в большой, похожей на хозяйственную, сумке с двумя ручками. У нас в то время такого транспортного средства для малышей еще не было.

Первое время Она была целиком занята ребенком. А Он с места в карьер взялся за работу. И в эфире вместо невнятного шамкающего голоса старого португальского диктора зазвучал красивый баритон молодого, четко выговаривавшего все португальские звуки, особенно носовые. Вся редакция радовалась. Потом, с моей помощью очень быстро освоившись на радио,

Он, не зная русского, стал переводить текст с испанского варианта: основные новости и комментарии шли по всем редакциям одни и те же. А увидев, что я, сидя в редакции, сверяю свой португальский перевод с русского с его переводом с испанского, и узнав, что я хочу стать переводчиком, а может и диктором, очень скоро стал помогать мне осваивать язык Эсы де Кейроша, а я ему — язык Пушкина. Теперь нас можно было видеть чаще вместе, чем врозь, да оно и понятно: я была связующим звеном между дневной редакцией и вечерней, и когда переводчики переводили розданные мною материалы, а у меня все было подготовлено к записи, включая музыкальное оформление (его, как правило, подбирал музыкальный редактор), я сидела в комнате переводчиков и читала данную Им новеллу «Жозе Матиас» Эсы де Кейроша, чтобы, как только Он переведет предложенный ему материал, Он мог подойти ко мне и проверить мои успехи. И так каждый день. Да, мы симпатизировали друг другу, это так! И Сьюдад, видя нас вместе, то и дело поглядывал на нас поверх своих круглых очков, продолжая стучать на машинке. В конце рабочего дня, — а он кончался в половине первого, а то и в два ночи, если приходило выступление Хрущева — оно всегда приходило после полуночи, и его нужно было перевести и дать в эфир, — нам подавали комитетскую машину и развозили по домам. А мы с Ним жили рядом. Он на одной стороне Ленинского проспекта, я — на другой, но Он всегда провожал меня до подъезда моего дома. Всегда. Мы нравились друг другу, в том сомнения не было ни у него, ни у меня. Со временем к нам стали присматриваться остальные сотрудники нашей редакции и даже других редакций, работавших в нашей аппаратной. И однажды, наслушавшись закружившихся вокруг нас сплетен, Сьюдад, провожая меня к комитетской машине, в которой поджидал меня Он, без обиняков (мы

уже были друзьями) сказал мне, что у меня с Ним нет никакого будущего, ни социального, ни политического, никакого...

«Ты это понимаешь?»

«С кем, Сьюдад?» — спросила я его.

«Сама знаешь», — ответил он мне.

Я умолкла. Да, я знала. Но никак не думала, что другие знают то, чего между нами тогда еще не было. Что в этом духе я ему и ответила. Но Сьюдад возразил:

«Нет, ты меня неправильно поняла. Я сказал — нет будущего. А то, что между вами сегодня, — это никого не касается, кроме вас самих. Никого... понимаешь, Лили? И я счастлив, видя тебя веселой. Но мне будет очень больно, если потом ты будешь страдать».

Да, Сьюдад, но я уже тогда страдала. Правда, по другому поводу: у моего мужа-художника по-прежнему была (как бы ни был затаскан этот образ) любовница-живопись. А Он, с кем, по твоим словам, у меня не было никакого будущего, как никто другой из всех вас понимал меня и мое желание найти свое место в жизни. Муж и Он очень скоро познакомились, мы даже стали общаться семьями. Да, да, Он частенько бывал у нас дома, приносил мне то словарь, то грамматику португальского языка, по которой обучал меня, то сборник новелл Эсы де Кейроша, то романы Алвеса Редола. Юрий же, занятый своими декабристами (теперь-то я хорошо понимаю, что это был самый ответственный момент в его жизни живописца; монументальное искусство — это совсем иное!), уверенный во мне и в себе самом, не придавал всему этому никакого значения. И даже в два часа ночи, когда комитетская машина подвозила меня к арке нашего дома, не выходил встречать меня к дверям подъезда, который на ночь запирался лифтером, хорошо зная, что Он обязательно меня проводит, и продолжал работать над картиной.

Да, конечно, конечно, Его и меня тянуло друг к другу, и это видели все в нашей португальской редакции, не говоря уже о тех в Радиокomiteе кому в те годы *вменялось видеть всё*. А ты, дорогой Сьюдад, понимал это очень хорошо и пытался упредить то, что могло случиться. Но... что делать? Это случилось!!! И очень скоро дальнейшее развитие наших отношений с Ним заставило меня во всем признаться мужу, хотя моя свекровь заклинала меня этого не делать. Однако не позволило мне мое советское воспитание (а может, просто воспитание) жить двойной жизнью, и я, во всем признавшись мужу, вынуждена была уйти из дома. К маме! А через двадцать дней, которые потрясли нашу семью, я, вернувшись к мужу и дочке, ушла с Радио. Не сочла возможным работать бок о бок с тем, кого мой муж избил за нашу общую вину. (Вину? Так ли называется это? Пусть так!) Через полгода с Радио ушел и Он. Переведенный на работу в Чехословакию, Он навсегда уехал из СССР.

Как же ты, Сьюдад, хотя я тебя живого никогда на «ты» не называла, спасал меня от меня самой, пока не привел меня к мужу! Ты эти двадцать дней чуть ли не каждый день привозил меня к себе домой, познакомил со своими дочками Амайкой и Марисолью и *tia*¹ (так вы называли пожилую испанку, помогавшую вам по хозяйству после смерти твоей жены) и почему-то «требовал» от своих девочек, чтобы они делали мне бутерброды с колбасой и сыром вместе. («Так, — говорил ты, — вкуснее и сытнее!» Ты прав, я частенько так делаю сегодня.) А от *tia* — чтобы она положила мне на тарелку побольше тортильи². И какие же красивые сказки рассказывал мне ты, кадровый военный испанской армии, бесстрашно сражавшийся с фашистским режимом дикта-

¹ Тетя (исп.).

² *Tortilla* — омлет с картофелем и колбасой (исп.).

тора Франко, за что самим каудильо¹ был приговорен к расстрелу заочно и практически не мог вернуться на свою Родину. А потому жил в СССР и четыре года провел на полях Великой Отечественной войны, сражаясь за мою Родину.

«Лили, — говорил ты мне (пожалуй, ты один и понимал, что я: и Лили, и Ана), — как только падет режим Франко, я повезу тебя в Испанию. Покажу тебе Мадрид, Барселону, Гранаду, Толедо. Мы пойдем с тобой козьиими тропами в горы. Ты увидишь Сьерру-Неваду, Альгамбру и море...»

Я все это увидела, Сьюдад, но тогда, когда тебя уже не было в живых, и даже выступала в 1999 году в Гранадском университете с докладом об издании испанской литературы в СССР, когда уже все мы жили в России.

Да, СССР больше нет, он рухнул, как и социалистический лагерь. (Правда, Куба еще держится. Кто-то мне сказал, что тебе, «Анхелито»², там поставлен памятник. Так ли это?!) И мы строим, в чем сходятся многие, капитализм. У нас появилась собственность, что, по моему, очень неплохо, если она приобретена на честные деньги. Но в такой богатой и огромной стране, как Россия, да еще плохо управляемой, так легко взять чужое и так трудно искоренить это зло. А еще у нас уже есть олигархи. Ну и что ты сказал бы мне сегодня обо всем этом? И о прожитой тобой жизни в сражениях и борьбе за светлое будущее обездоленных, как ты говорил? Я не иронизирую, нет, мой отец, как теперь я знаю, тоже за него боролся до тридцать седьмого года, а что получил? Да и мы чудом остались живы после тридцать девятого. Сегодня я намного старше тебя, Сьюдад, тех

¹ Каудильо — вождь, политический лидер, глава государства, осуществляющий личную диктатуру; так называли Франсиско Франко.

² Анхелито (*Angelito* — умный, ласковый) — Ангел. В данном случае прозвище.

лет, когда ты предостерегал меня от превратностей судьбы, и думаю, вправе сказать тебе то, к чему я пришла за прожитые годы: жизнь у человека одна и человек должен достойно прожить ее, создавая вечные ценности.

Так вот, потом ты привел меня к мужу, за что муж называл тебя Дон-Кихотом при всей твоей внешности Санчо Пансы. Потом ты, как Дон-Кихот, уехал на Кубу. Муж все время говорил мне, что это он тебе напророчил, сказав, что на Радио ты будешь сидеть до поры до времени. А время придет... И время пришло! Тебя призвал маршал Малиновский. И ты был на Плайе Хирон, где победила Кубинская революция.

Потом, спустя годы, ты оказался в Москве проездом. Помню это, как сейчас. Ты у нас дома. Мы живем с мужем и дочкой в том же доме, что и прежде, но на тринадцатом этаже. Ты хромаешь после ранения в ногу. Что-то достаешь из кармана куртки и протягиваешь мне.

«Это тебе, духи «Каменный цветок»! В ГУМе мне сказали, что это лучшие у вас духи!»

Ты приглашаешь нас с мужем на прощальный вечер в квартиру к Марисоли, которая живет теперь на Фрунзенской набережной, а не в большом доме на Большой Пироговке, где жил ты с семьей прежде, и где, как я недавно узнала, жила Долорес Ибаррури.

И неожиданно для меня спрашиваешь:

«Ну, теперь ты счастлива?»

Я помедлила с ответом:

«Да все так же, как и было, Сьюдад. Муж весь день в мастерской со своей живописью, а я... я...»

Твои глаза вдруг затуманились, и в первый момент мне показалось, что тебе плохо:

«Что с вами, Сьюдад? — встревожилась я, но, тут же все поняв, стала трясти тебя за плечи. — Сьюдад! Будьте человеком! Ну, Сьюдад!» — вырвалось у меня.

«А я — человек, Лили, человек! Просто для тебя я — старик. И от того мне очень горько. — Потом, встряхнувшись, сказал: — Так, я жду вас вдвоем. Проводите меня и кубинских товарищей в Китай».

Мы, конечно, пришли. Кубинские товарищи все были в черных очках, и только один, хорошо говоривший по-русски (наш), без очков, но почему-то (тогда я не знала, почему) все они называли тебя, Сьюдад, «Анхелито».

Тот, что был без очков, все время поглядывал на нас с мужем, а час спустя стал, постукивая по циферблату ручных часов, поторапливать всех вас, прощаться с нами и Марисолью, говоря: «Vamos, camarades, vamos. Es hora de partir»¹.

То была последняя наша встреча с тобой, Сьюдад. Какой это был год? Не помню. Скорее всего, шестьдесят... нет, не помню. Потом спустя время от кого-то я услышала, что, вернувшись из Китая на Кубу, ты, Сьюдад, наконец женился во второй раз, но теперь на русской женщине и с ребенком.

Вспоминая сейчас все это, я вдруг подумала: «А почему у меня не было твоего кубинского адреса? Да, почему?» Я могла бы написать тебе, что в семьдесят шестом собираюсь быть в Португалии, а ты бы мне ответил, что в семьдесят шестом будешь жить с женой в Испании, и мы окажемся совсем рядом и, вполне возможно, сможем повидаться. Но этого не случилось, потому что тогда было глухое советское время (я не за все его виню, нет!), и переписываться с иностранцами, мягко выражаясь, было не принято.

Португалию в семьдесят шестом я изъездила вдоль и поперек, а в семьдесят восьмом, проходя стажировку в Лиссабонском университете, встретила с Тем, с ко-

¹ «Давайте, давайте, товарищи, пора ехать!» (исп.)

торым, как ты сказал, у меня нет и не будет никакого будущего. И знаешь, что Он мне сказал? «Мы уже с тобой старые!» И это в пятьдесят-то лет?! Правда, Он был белым как лунь, вернее, сед, как Куньял¹, но я ответила: «Нет! Я еще молодая. И я на стажировке в Лиссабонском университете!» Тогда Он решил познакомить меня с теневым правительством Португалии. Почему и зачем? Скорее всего, потому, что я сказала, что всю Португалию я объехала еще в семьдесят шестом году, так что ее показывать мне не надо! А сегодня (в семьдесят восьмом) Португалию, вернее, место действия своего романа — город Эвору — мне уже показал Вержилио Феррейра. «Замечательный писатель!» — сказала я. «Писатель-то он замечательный, а человек...» — начал Он, но не договорил. Эти его слова мой муж, когда я ему их повторила, с легкостью парировал: «Ну да, небось обратился к нему с просьбой поддержать материально компартию, а Вержилио отказался!» — «Естественно, он же не коммунист!» — сказала я. — А, как они говорят, ассоциированный член Социалистической партии».

Потом ты, Сьюдад, умер. Когда точно, не знаю. Умерла и твоя старшая дочь Марисоль, по-моему, в Москве. А твоя красивая, как говорил мой муж, дочь Амайя свела счеты с жизнью после твоей кончины, выбросившись с какого-то высокого этажа какой-то высокой кубинской гостиницы. Не состоялась ее жизнь в Испании, куда она уехала из СССР вместе с мужем после смерти Франко, — ни профессиональная, хотя, окончив в СССР Второй медицинский институт, она была врачом, ни личная! Вот так!

А совсем недавно я узнала, что в семьдесят шестом году, после смерти Франко, ты, Сьюдад, действительно

¹ Алваро Куньял (1913–2005) — генеральный секретарь Португальской коммунистической партии.

вернулся на родину, в Испанию, и какое-то время жил со своей русской женой и ее дочерью в Мадриде.

Я рада за тебя, Сьюдад! Жаль только, что это было так недолго, и развившаяся у тебя болезнь Паркинсона вынудила тебя вернуться на Кубу, которая предложила тебе свою медицинскую помощь.

Но, увы, «Анхелито»! Увы!

Как же жизнь разбросала по свету твою семью, не оставив нигде: ни в Испании, ни в СССР, ни на Кубе твоего семени (ведь у Амайи от бросившего ее в Испании мужа вроде бы детей не было! А может, я ошибаюсь?) Вот во что обошлась тебе твоя жизнь в сражениях за светлое будущее обездоленных! Вечны, Сьюдад, только вечные ценности!

XIX

После долгого молчания Жорж все-таки позвонил мне. Честно говоря, я уже даже перестала надеяться, что он вообще когда-либо позвонит.

— Лилиана, звоню, — сказал он, — с весьма прискорбной вестью. — И, помолчав, продолжил: — Умер Владимир. И уже похоронен.

— Да, весть прискорбная. Но меня в известность не поставил никто: ни его жена, ни сын, — ответила я, — хотя на похороны я бы...

В трубке неожиданно послышались короткие гудки, которые сменил непрекращающийся длинный.

Я не пошла бы, нет, — продолжала я теперь уже внутренний монолог. Ведь при жизни ему не нужна была живая память о прошлом. А я после смерти мамы и была как раз той живой памятью, которая хранила все о трагическом тридцать девятом.

К тому же, как выяснила я теперь, когда брат умер, в его послужном списке (его я тоже получила, только в на-

шем районном военкомате) я даже не значусь. Отец — да, был. Военный (и все, точка!). Мать тоже была. Иначе как бы он появился на свет?! А вот сестры просто не было и нет! А главное: и не должна быть! Как я понимаю.

Так зачем же я ему в смерти? Ему, его жене и сыну, которые знают обо мне, маме и отце (главное, об отце!) только то и только так, как хотел он?

И все же почему, почему, — думала я, — после девяносто второго года, когда о сталинских тридцать седьмом — тридцать девятом и таких семьях, как наша, заговорила вся страна, брат, хотя у его жены вроде бы была сослана мать и чуть ли не расстрелян отец, продолжал, надеясь на мою короткую детскую память, уверять меня, что наш отец был ничтожеством.

В те страшные тридцать седьмые люди уходили из жизни, как поодиночке, так и семьями. И то, что могло произойти с нашей семьей, ни для кого не стало бы большим откровением. Но все случилось не так, как задумал отец. И мы трое благодаря брату остались живы. А отец ушел из жизни.

Теперь-то, держа в руках отцовский послужной список, я знаю точно, что отец был мужественным и отважным человеком, свято верившим в светлое будущее России.

Но как раз этого-то и не знал пятнадцатилетний мальчишка. (Скорее всего так!) А позже уже не хотел знать, а еще позже не хотел признаться ни себе, ни жене, ни сыну, что сказанное им об отце вчера (в прошлом) было в настоящем (сегодня) неправдой. И продолжал настаивать на сказанном, даже не предполагая, что послужной список отца находится на постоянном хранении не только в Российском государственном военном архиве Москвы, но и в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. И кто-то (ну, скажем, я) когда-нибудь (как это сделала я сейчас) сумеет получить его на руки и, естественно, прочесть!

И все же прошлое, похоже, не отпускало брата и, преследуя его всю жизнь, в конце концов настигло на пороге в мир иной в образе Жоржа, которого его же собственный сын разыскал в Париже! Да что же пришлось ему пережить?! Ведь Жорж рассказывал, что при встрече с ним брат всегда плакал. Не знаю, не знаю. Знаю только, что на похороны я не пошла бы, нет! К тому же, для меня брат умер тремя годами раньше, когда Жорж после трех лет общения с ним и его семьей вдруг обнаружил меня в Интернете, ничего от брата обо мне не зная. Так что я не пошла бы, нет! А тут мне и не сообщили о его смерти. И, казалось бы, все должно было кончиться. Ан нет! Господь, как мы говорим сегодня, распорядился иначе.

Какое-то время спустя его сын, мой племянник, видевший меня три, а может, четыре раза в жизни — маленьким, лет семи, потом на похоронах мамы (своей бабушки) и раза два у своих родителей — вдруг позвонил мне по телефону и сказал:

— Тетя Лиля?! Это говорит ваш племянник.

Усомнившись в интонации голоса, не походившего на голос племянника мужа, который живет в Италии и звонит нам, я спросила:

— Какой племянник?

— А у вас что, много племянников? — удивился звонивший.

— Да, у нас с мужем два племянника, — ответила я.

— Ах, так?! — услышала я в ответ знакомые нотки голоса брата и тут же поняла, кто звонит.

— Слушаю тебя, мой племянник!

— Надо повидаться и поговорить.

— О чем? — спросила я, думая, что с опозданием, но он все-таки решил сказать мне о смерти своего отца (моего брата).

— Мне по рабочему телефону разговаривать не очень удобно, — ответил он.

— Ну так зачем ты звонишь с работы? Позвони из дома или на худой конец из автомата.

Кстати, мобильники тогда уже были в ходу.

— Хорошо, — ответил он и повесил трубку.

Чуть позже перезвонил, возможно, из автомата. И, уже демонстрируя мне свою уверенность, что способен меня, старуху, ну конечно же влачащую свои дни, как и его мать, осчастливить своим сообщением, сказал:

— Тетя Лиля, давайте я приеду к вам и все вам расскажу...

— Что все? — спросила я, опять надеясь, что он скажет мне, что его отец умер.

Но нет, вместо ответа он стал настойчиво выяснять, когда же он может прийти. Я принялась думать вслух:

— Так, завтра я никак не могу, у меня будет Соня.

Вряд ли он помнил, что Соня — это моя внучка и его... Кем же она ему приходится? Племянница?

— Послезавтра, — продолжала я, — да, послезавтра я должна быть в издательстве...

Он явно нервничал, но молчал.

— Послушай, — сказала я, — ты хоть скажи, о чем ты хочешь поговорить?

— Да дело в том, что я ничего не знаю об Эдуарде Николаевиче. — Похоже, его язык не повернулся сказать «о деде». — Не знаю даже, когда он умер.

«Так... хочет знать, когда умер дед, так и не сказав мне, что умер его отец (мой брат)», — подумала я и ответила:

— Уж не решил ли ты после всего того, что случилось с дедом в тридцать девятом, не без участия, как тебе известно, твоего отца, податься в Дворянское собрание?!

Он пробурчал мне что-то невнятное, но тут же назидательно сообщил, что о мертвом говорить плохо не позволено.

— Вернее, не принято, — сказала я, — но я и не говорю плохо, я говорю правду, которая, выйдя наружу, может сослужить тебе плохую службу.

Племянник молчал, так и не обратив внимания на то, что я пропустила мимо ушей, что мой брат мертв, и не спросила, когда он умер. А я про себя подумала:

«А о моем (нашем с братом) мертвом отце твоему отцу (моему брату) в твоем присутствии и присутствии твоей матери и моего мужа говорить плохо было позволено? Ведь он, когда я в последний раз была у вас, опять назвал нашего отца ничтожеством?! А сам, видно, трусил пойти в архив и прочесть отцовский послужной список. Да, да, трусил встретиться на последней его странице с самим собой — пятнадцатилетним. Но последней страницы жизни отца в послужном списке просто не было, вот так! Если бы он пошел, то узнал бы, каким «ничтожеством» был наш отец. Правда, от этого ему морально легче не стало бы, нет!

А вот ты, племянник, смело пошел в архив, но не ради правды о деде, а ради своих амбиций: захотелось стать отпрыском древнего рода, получив фамилию деда. Однако тебе в архиве послужной список не выдали. У тебя же девичья фамилия твоей матери. Вы же на семейном совете решили, что с такой распространенной русской фамилией, как фамилия твоей матери, тебе в России будет жить спокойнее и комфортнее, чем с немецкой фамилией отца! Так что же теперь? Что?»

Так вот, помолчав, племянник повторил мне, что он ничего не знает об Эдуарде Николаевиче (своем деде), даже когда он умер, а чуть позже добавил:

— А мне тут немцы из Ганновера (не помню, может, он сказал из Германии) прислали бумаги, и я должен написать...

— А-а, из Ганновера... — перебила я его, — так у них о моем отце все есть. Я все бумаги передала Жоржу, а он все должен был отправить в Германию.

«Вот отправил ли? Или передал тебе?» — подумала я.

После сказанных мною слов в телефонной трубке воцарилась такая тишина, которая разве что бывает на том свете.

Потом слышались короткие гудки.

Когда же в очередной раз мне позвонил Жорж и сказал, что мой племянник, узнав из разговора со мной, что мы знакомы, был шокирован...

— Лилиана, он прямо так и сказал мне: я был шокирован!

Я ответила:

— А вы, Жорж, признались бы, что дали мне слово, а я — вам, молчать о нашем знакомстве, пока жив Владимир, ведь это его могло убить!

Вот так, отец! В сорок шесть лет от роду твоему внуку захотелось сменить распространенную русскую фамилию своей матери на знатную немецкую, то есть твою, отец! И именно теперь стать Бреверном, когда рухнул Советский Союз, исчез страх, появился Жорж и, наконец, умер мой брат. И когда в Российском государственном военном архиве твоему внуку отказали в получении твоего послужного списка, он, похоже, упросил кого-то из Дворянского собрания получить твой послужной список в архиве Министерства обороны в Подольске. Но, судя по всему, и в Подольске тому, кто приехал, выдали только твою учетную карточку, так как Жорж очень удивился, когда вдруг узнал от твоего внука, что ты владел и датским языком.

— Не датским, Жорж, — сказала я ему по телефону. — Отец не знал датского. Он знал немецкий, эстонский, финский и русский. Так написано и в одном, и в другом его личном деле, архивные копии которых лежат у меня на письменном столе. А вот в учетной карточке

в Подольске слово *финский* написано так, что можно прочесть: датский.

Да, да, отец! Как видишь, внук твой всеми возможными путями пытается получить в архивах твои бумаги, чтобы теперь узнать о тебе все, что его не интересовало все сорок шесть лет его жизни. Ведь он не знает не только, когда ты умер, но и правды, как ты умер, и, главное, почему и где похоронен, но жаждет, просто жаждет получить твою фамилию, а с ней, вероятно, и достоинство отпрыска знатного немецкого рода.

Однако о каком достоинстве (во всех значениях этого слова) может идти речь, если молодой человек, получая паспорт в советское время, из страха, по недомыслию или расчету, а может, и под нажимом матери или отца, который всю жизнь боялся посмотреть правде в глаза и трезво, особенно после девяносто второго, оценить случившееся в тридцать девятом, берет фамилию своей матери, а в постсоветское, когда рухнул Советский Союз, исчез страх, объявился Жорж и умер отец, решает сменить ее на твою фамилию, отец?!

А ведь знатная фамилия, полученная по наследству, — это не только подарок судьбы, но и большая ответственность, и носить ее нужно достойно, а не менять, как платье, по погоде.

XX

После ухода с Радио я работу не искала. Она нашла меня сама. В один из осенних дней шестидесятого года мне позвонили из иностранного отдела Министерства здравоохранения СССР и попросили поработать переводчиком с прибывшим на стажировку в Советский Союз бразильским врачом-кардиологом Омаром Карнейро.

— Лилиана Эдуардовна?

— Да, слушаю.

— С трудом вас разыскали. Знание португальского в наши дни — такая редкость! Нам очень нужна ваша помощь. Поработайте с бразильским кардиологом, он будет знакомиться с нашими клиниками и институтами в Москве и Ленинграде.

— Но устным переводчиком я никогда не работала, да еще в медицине, — ответила я.

— Нам сказали, что вы со всем справитесь. Подъезжайте к нам в Рахмановский, мы познакомимся и обо всем договоримся.

И мы действительно договорились. Я сказала, что буду с ним везде: в медицинских учреждениях, клиниках, на совещаниях и операциях, но жить в гостинице, пить, есть и все остальное, что с этим связано, он будет самостоятельно, без моей помощи.

Теперь с Омаром (в общении с мужем мы его называли «Крабом») Карнейро мы встречались ровно в половине десятого и спешили то в один, то в другой научно-исследовательский институт или клинику, среди которых был, например, и Институт терапии, ревматологии, кардиологии, клинической и экспериментальной хирургии (сегодня РНЦХА), для ознакомления с тем, чему бразильский товарищ (нет, членом Компартии Бразилии он не был, но помогал ей финансово и предоставлял помещение для собраний) мог отдать предпочтение во время своего пребывания в СССР. Мы даже отправились в Ленинград и там тоже побывали везде, где было возможно, разве что не познакомились с собаками Павлова. И поскольку в Ленинграде я была на тех же правах, что и «Краб», а именно: жила в гостинице и питалась, как он, в ресторане, то обнаружила, что я богаче его. Ем, что хочу, расплачиваясь талонами, полученными в Министерстве здравоохранения, а неизрасходованные талоны отовариваю (как говори-

ли тогда) в буфете шоколадом и фруктами. А он расплачивался русскими деньгами и, выбирая блюда, явно скупился. В Петродворце, куда мы с «Крабом» поехали на экскурсию, я обнаружила, что он еще и трусоват, — хотя признаки трусости (трусости ли?) мы с мужем заметили еще в Москве на Ленинградском вокзале, где перед посадкой в поезд он очень дергался, а когда объявили посадку, бросился в вагон, но почти тут же вышел к нам совершенно спокойный.

— Что с вами, Омар? — спросила я.

— Все нормально: у вас купе на четверых.

Петродворец ему понравился очень, но смутил паром, на котором я решила ехать в обратный путь.

— Зачем паромом, Лилиана? Поехали поездом!

— Но паромом же интереснее.

— А если он станет тонуть?!

— Зачем ему тонуть?!

Пришлось «Крабу» смириться под напором моей уверенности.

Но когда, выйдя в Финский залив, наш паром начал крениться на правый бок из-за обилия пассажиров, облюбовавших именно правый борт, и диктор из радиорубки попросил часть пассажиров перейти к левому борту, «Краб» громко закричал мне: «Viu, viu?!¹» — и потащил меня к ограждению, показывая пальцем на серый дымок, поднимавшийся с нижней палубы. «Fogo, fogo!²» — в глазах его я прочла такой ужас, что даже испугалась. Потом свесилась за борт.

«Омар, это же дым от папиросы, тьфу, cigarro, cigarro!»

Когда же мы подплывали к Ленинграду, он, уже успокоившись, рассказывал мне, что в Бразилии пароходы чаще всего тонут от возникающих на них пожаров,

¹ Видите, видите! (*португ.*).

² Огонь, огонь! (*португ.*).



Фамильный герб рода Бреверн



Карл фон Бреверн –
президент Российской академии наук в 1740–1741 гг.



Замок в имении Покровское-Стрешнево, принадлежавший
Евгении Бреверн, которая была замужем за Михаилом
Валентиновичем Шаховским-Глебовым-Стрешневым



Понтус Александр Людвиг граф Бреверн
де ла Гарди с семьей



Понтус Александр Людвиг
граф Бреверн де ла Гарди
(1814–1890)



Жорж Николас де Бреверн
(р. 1943 г.). Морской офицер.
Живет в Париже



Мой отец Иоганнес-Эдуард Николаевич Бревнери
(1893–1939) в царской армии



Моя мама. До замужества Пелагея Васильевна Иловайская
(1894–1973)



Мой отец Иоганнес-Эдуард
Николаевич Бреверн, 1923 г.

Моя мама Пелагея
Васильевна Бреверн, 1923 г.



Мой брат Владимир
Эдуардович Бреверн
(1924–2002)



Отец с нами, детьми, 1931 г.
Мне 2 года, брату 7 лет



Мой муж художник
Юрий Бернгардович
Кафенгауз (1929–2008)

Моя свекровь
Тамара Андреевна
Кафенгауз (1893–1969)



Мой свекор
Бернгард Борисович
Кафенгауз (1894–1969).
Доктор исторических наук,
профессор МГУ, старший
научный сотрудник
Института истории
Академии наук СССР



Юрий Кафенгауз на открытии
своей персональной выставки в 2004 году
в выставочном зале на Кузнецком мосту, 20

Персональная выставка мужа. Слева направо:
художник Григорий Дервиз, председатель секции
монументалистов МСХ Василий Бубнов,
Юрий Кафенгауз и я





В кругу семьи:
муж Юрий Кафенгауз, наша дочь Бэла и ее супруг Саша,
их дочери Соня и Вера





Издательство «Художественная литература».
 Редакция литератур стран
 Латинской Америки, Испании и Португалии.
 Слева от меня Валерий Сергеевич Столбов,
 справа – Альба Шлейфер и Галина Полонская (1966 г.?)

Мой студенческий билет
 Лиссабонского университета. 1978 г.





С Фазилом Искандером. Италия, Пенне, 1998 г.

Мои коллеги-испанисты: Степан Мамонтов,
Венедикт Виноградов, Светлана Пискунова.
Испания. Гранада, 1999 г.





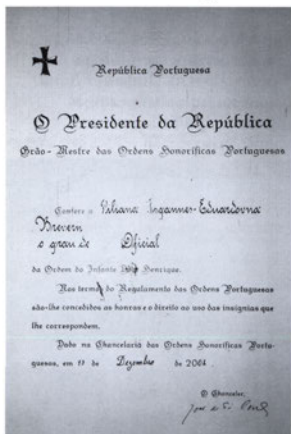
С Натальей Трауберг.
Испания,
Сьерра Невада,
1999 г.

Посольство Португалии в Москве, 4 мая 2005 года.
На церемонии вручения мне государственной награды
Португальской Республики – ордена Инфанта Дона
Энрике. Слева направо: Нина Литвинец,
моя дочь Бэла, мой муж Юрий Кафенгауз
и Виталий Гнатюк





С послом Португалии в России
Мануэло Марселом Курто и его супругой Ириной
после вручения мне ордена



Наградной лист Португальской Республики

«Президент Республики, наделенный полномочиями награждать почетными орденами Португалии, награждает Лилиану Иоганнес-Эдуардовну Бревьер Орденom Инфанта Дона Эрике в чине офицера. Согласно Положению о наградах ей дано право ношения соответствующих регалий. Выдано канцелярией почетных орденов Португалии 13 декабря 2004 года».

Подпись канцеляриста

Главы из книги
Георгия Кюдта
«Бреверниада»

Пере-
бревенуться
-сдать рукопись



Королевская
Лилл - знак
Бурбонов, Бревернов
и др. дворян



БРЕВЕРНИАДА



**ИХЛ
1979**

Книга, сделанная к моему пятидесятилетию
главным художником издательства
«Художественная литература» Георгием Клодтом

и потому он никогда на них не плавает. Не сказал он мне только, что, спасаясь от огня, бросаться в воды Амазонки опасно, даже если хорошо плаваешь. Съедают пираний.

Работая с «Крабом», с кем только из светил нашей медицины я ни познакомилась и чего только ни повидала. Слава богу, что ее, костлявую, не видела в живом воплощении, а только слышала на утренних конференциях о возможных летальных исходах. И они случались, что, конечно, прискорбно.

Первым в череде моих знакомств был советский терапевт, академик, директор Института терапии Александр Леонтьевич Мясников. В вверенном ему институте мы с «Крабом» знакомились с электросном и его способностью понижать артериальное давление. Из общения с сотрудниками института я узнала, что гипертоником человек становится только тогда, когда узнает, что у него повышенное давление, и я долго старалась не знать, какое у меня давление. Но, увы!

Потом в Институте сердечно-сосудистой хирургии мы встретились с кардиохирургом Владимиром Ивановичем Бураковским. Тогда он еще не был академиком и занимался операциями врожденных пороков сердца у детей раннего возраста. Там же с Омаром мы присутствовали вместе со студентами наших медицинских вузов на операции, которую вел академик и президент Академии медицинских наук СССР Александр Николаевич Бакулев, именем которого сегодня назван Научный центр сердечно-сосудистой хирургии. А вот с Институтом клинической и экспериментальной хирургии и Борисом Васильевичем Петровским, на котором Омар остановил свой выбор, мы не только познакомились, но и проработали на операциях почти целый год. Тогда Борис Васильевич еще был профессором и академиком Академии медицинских наук, а позже

стал и академиком Академии наук СССР и даже министром здравоохранения СССР, продолжая до последнего своего дня быть директором Всесоюзного научного центра хирургии. Познакомились мы и с молодыми коллегами Петровского: с Сергеем Ефуни (тогда анестезиологом), рентгенологом Рабкиным и хирургом Крыловым, а я даже с ними подружилась. И какое-то время мы встречались домами, но потом жизнь, как это обычно бывает, развела нас. Однако, когда двадцать пять лет спустя у моего мужа случился трансмуральный инфаркт и я позвонила Сергею Ефуни (он уже тогда был членкором Академии наук СССР) и сказала, что нуждаюсь в его помощи, он через час ждал меня в своем кабинете в отделении гипербарической оксигенации и, положив мужа к себе, провел ему несколько сеансов барокамеры. Надо, конечно, сказать, что все подопечные Бориса Васильевича Петровского, как и он сам, были доступны и открыты в общении.

Борис Васильевич был ко мне благосклонен и перед операцией всегда предупреждал меня: «Забудете какой-нибудь термин по-португальски, не волнуйтесь, я ему тут же скажу по-латыни». А когда в 1961 году в Москве состоялся Международный съезд хирургов, пригласил нас с мужем как гостей на показ своих операций, отснятых на киноплёнку и, сидя с нами рядом, комментировал.

Омар, надо сказать, тоже был доступен и открыт для своих советских коллег и в свободную минуту с удовольствием рассказывал им, что, когда он лечит богатых бразильских землевладельцев, труд его, как правило, они оплачивают быками. Кто-то из наших хирургов, шутя, бросил ему: «Ну да, потому что коллега Омар — сам землевладелец!» Омара услышанное несколько не смутило. Отведя большой палец от указательного сантиметра на два, он, улыбаясь, сказал: «Да, землевладе-

лец, но вот такой, маленький». В восторг всех приводило и ухо Омара, которому нужен был только стетоскоп, чтобы поставить диагноз, и ничего больше: ни электрокардиограммы, ни эхограммы (а была ли она тогда у нас?), ничего. И его диагноз всегда оказывался точным, когда наши врачи сверяли его со своим по всем нашим методикам.

Когда же Омар стал работать на катетаризации сердца (теперешнем шунтировании), он первый сказал мне, что на этом этапе своей стажировки он в моей помощи нуждаться не может, не должен и не будет.

— Ведь я уже освоился у Петровского, Лилиана, — сказал он мне, — а вам просто не следует стоять у рентгеновского стола: рожать не будете.

«Спасибо трусоватому «Крабу», — подумала я, но тут же поправила себя: — Благодарю вас, великодушный и предусмотрительный Омар, я никогда вас не забуду».

И мы расстались.

Перед Новым годом я, ища работу, пришла в ТАСС, но не как «позвоночная» — так тогда называли протеже всех влиятельных людей, — а просто, сама по себе.

Начальник отдела кадров, узнав, что я владею португальским, знаю испанский и читаю по-французски, не задумываясь взял меня референтом в иносправочную. Работая в иносправочной, где в мое распоряжение поступило два ящика картотеки со всеми имеющимися сведениями по двум странам, Бразилии и Португалии, я была обязана пополнять эти картотеки новой информацией из газет, сообщений телеграфных агентств и бюллетеней почтовой информации, присылаемых тассовскими корреспондентами, аккредитованными в этих странах.

При первом же знакомстве с картотеками Бразилии и Португалии мне сразу стало ясно, что составлявший

и пополнявший их сотрудник португальским языком не владел. И, естественно, я тут же принялась наводить порядок и выправлять транскрипцию названий бразильских и португальских государственных учреждений и общественных организаций, провинций, округов, городов, газет и так далее и тому подобное, давая ее в единственно правильном фонематическом варианте¹.

К тому же, мне пришлось учитывать и традиционное написание некоторых названий и имен, которое устоялось и бытует, как, скажем, Лиссабон (по-португальски Lisboa) и Жоржи Амаду (по-португальски Jorge Amado), и которое должно быть сохранено.

На это ушло довольно много времени. Когда же все было сделано, я занялась каждодневной рутинной работой и, заскучав, стала, как все, по часам ходить в столовую и ждать конца рабочего дня. Потом решила поискать в пределах ТАСС иного места приложения своих знаний. Попробовала себя в переводе скупого, бесцветного бюллетеня почтовой информации, но даже пытаться не стала переводить с ленты телетайпа. Я уже тогда любила подумать над переводом иностранного слова и поискать достойный аналог в русском, а требовательный телетайп не позволял этого, кстати, как и синхронный перевод, от которого я отказалась сразу, как только окончила институт.

И тут вдруг одна из сотрудниц ТАСС, явно мне симпатизировавшая и чувствовавшая мою неудовлетворенность в работе, решила меня познакомить с начальником отдела кадров «Издательства литературы на иностранных языках».

¹ Фонематическая транскрипция берет за основу фонему (значимую единицу слова), а не фонетику — акустические и физиологические свойства звука и не транслитерацию — побуквенное изображение слова.

— Там кадровик, — сказала она мне, — очень милый человек. И сейчас он днем с огнем ищет португалиста. В издательстве вот-вот должна открыться португальская редакция. Позвоните ему.

Я позвонила и уже через три месяца начала работать в испанской редакции. Потом в ту же испанскую редакцию был взят португалист, составитель большого «Португальско-русского словаря» (1961 г. издания) Семен Маркович Старец.

— Теперь дело за малым. Как только наверху будет подписано решение об открытии португальской редакции, — сказал кадровик, — к вам присоединится наш старый сотрудник, репатриант из Бразилии Лев Рафаилович Владов. Им составлены и Португальско-русский (1950 г.), и Русско-португальский (1948 г.) словари, он может работать и переводчиком, и контрольным редактором.

В ожидании открытия португальской редакции мы трудились втроем в редакции испанской, состоящей в основном из приехавших в тридцать седьмом году в Советский Союз испанцев, и выпускников советских вузов.

Лев Рафаилович Владов работал переводчиком. Семен Маркович Старец — контрольным редактором, а я — помощником редактора.

Так я снова оказалась в языковой среде, но на этот раз — испанской. И испанцы просто вынуждали меня, то есть всех нас, русских, работавших в испанской редакции, говорить по-испански, поскольку большинство из них, будучи людьми старшего поколения, русский язык за годы своей жизни в СССР так и не освоили. Нет, конечно, как-то по-русски они говорили, но при первой же возможности переходили на свой, родной язык. Особенно жарко они спорили с русскими контрольными редакторами. Иногда дело доходило чуть ли не до

драки, когда кто-нибудь из испанцев отстаивал точность своего перевода на испанский или свою стилистическую редакцию перевода наших русских переводчиков. Дым в редакции стоял коромыслом, когда Льянос, бывший контрабандист, как говорили злые (а может, и не злые) языки, попыхивал своей сигарой, а яростный Мендиета кричал и стучал кулаком по столу русского контрольного редактора Гриши, ниспровергая того с высоты его служебного положения: «Да какой ты контрольный редактор! Ты не знаешь не только испанского, но даже своего собственного — русского языка». Это уж, конечно, было слишком. Но именно это «слишком» и заставляло их обоих продолжать работать дальше. А через час или два, когда работа была окончена и опустевшее поле битвы — рабочий стол — было свободно от словарей, рукописей, карандашей, ручек и прочего наступательного и оборонительного оружия, на нем сами собой появлялись кофейные чашки с ароматным кофе, который не только примирял их, но и восстанавливал силы для будущих сражений. И если в этот момент из их комнаты доносился смех, то причиной того скорее всего был Льянос, который любил рассказать очередной анекдот из своей московской жизни. «Еду я вчера в троллейбусе, — говорил он по-испански, — по улице Горького и никак не могу понять, где мне надо сойти. Помню только, что там, где стоит памятник Маяковскому. Обращаюсь к кондуктору и спрашиваю его по-русски: «Я хочу сotti, где мойкоски». Она смотрит на меня и не понимает. Я повторяю: «Где мойкоски, где мойкоски!» «Пассажир, — отвечает она, — откуда я могу знать, где ваши кошки?!»

Хороший анекдот всегда бывал кстати.

А вот уравновешенный и невозмутимый Санчес был ответственным редактором испанского номера журнала «Советский Союз». И дело свое знал прекрасно.

Большой, добродушный, далекий от каких-либо редакционных свар и языковых баталий, он всегда тихо и спокойно работал со своим контрольным редактором — умной, милой Леной Якучанис, недавно вернувшейся с Кубы. И когда Мендиета с Гришей в очередной раз начинали боевые действия, тут же плотно закрывал дверь и запирали ее на ключ. И всегда снисходительно улыбался, когда речь заходила о точности перевода и чистоте испанского языка, вставляя: «Язык-то испанский у нас тридцать седьмого, тридцать седьмого года, понимаете? А на дворе у нас уже — шестьдесят третий! Язык ведь развивается, особенно лексически, и хорошо бы иметь молодые переводческие кадры сегодняшних носителей языка. Нас же читает современный испаноговорящий читатель. Ах, Испания, Испания моя! Как я скучаю по тебе и как хочу тебя увидеть снова!»

Но увидеть Испанию снова ему так и не удалось. Год или два спустя после моего перехода на работу в издательство «Художественная литература» благодаря умной, милой Лене Якучанис, рекомендовавшей меня как португалиста заведующему редакции «Литератур стран Латинской Америки, Испании и Португалии» (португальская редакция в «Издательстве литературы на иностранных языках» так и не была организована из-за существовавшего в Бразилии закона о неввозе русской литературы на португальском языке), мы с мужем, прогуливаясь на Ленинских горах, встретили Люс — жену Санчеса. Она была с приятельницей. Узнав ее, я неловко пошутила:

— Гуляем, да? А где же Санчес?

Помедлив с ответом, она серьезно сказала:

— Он уехал.

— Один? А вы?

— И я тоже собираюсь.

— В Испанию?

— Да нет, он уехал далеко.

Очень скоро так же далеко уехал и Венто. Красивый, стройный, одухотворенный Венто, по сути дела, мог перевести на испанский язык любой предложенный ему материал, но, будучи профессионалом, он переводил только русскую и советскую художественную литературу, за что и был принят (он, испанец!) в Союз писателей СССР.

Как правило, Венто был сух и сдержан, но именно это и говорило о пылкости его натуры. Иногда эта пылкость прорывалась наружу. Никогда не забуду, как однажды, танцуя в нашей помредовской комнате (мы праздновали восьмое марта), он бухнулся передо мной на колени, театрально, конечно, но почему-то глаза его были полны слез. Потом как-то раз он сказал мне: «Я тебя боюсь!»

Мы жили с ним рядом и частенько встречались на Ленинском проспекте. Последний раз, когда я уже работала в «Художественной литературе», мы встретились с ним у гастронома, находившегося в нашем доме. Он был очень худ. Сказал, что его прооперировали и он пообещал врачу, что будет есть одну овсянку. И вскоре умер. Следом за ним умерла его русская жена, а чуть позже и сын.

Что случилось с корректором Эскрибано, вечно искавшим в наших рыбных магазинах рыбу мерлузу? Не знаю. Нет, как же, знаю. Он уехал в Испанию, как и переводчик Венансио Урибес, только Эскрибано уехал вместе со своей русской женой, а Венансио оставил здесь и свою русскую жену, и свою русскую дочь. (Может, конечно, на время?)

Вот так ломались судьбы людей в начале семидесятых годов.

Еще уехал Анхель Гутьеррес — брат нашей корректорши (не помню, как ее звали). А его помню хорошо, он так же, как я, учился в ГИТИСе, только на режиссерском факультете, и окончил его успешно. А что потом?

Слышала по телевизору, что, живя в Испании, он с благодарностью вспоминает Советский Союз и свою развеселую студенческую жизнь. Но чем занят в Испании, так тогда и не поняла. Однако в 2008 году из присланного мне плана Института Сервантеса я узнала, что он был в Москве (мы могли увидеться, но не увиделись). Я была в Доме творчества писателей «Переделкино» и не знала о его приезде. А потом в ноябре 2009 года я услышала по каналу «Культура», что Анхель создал в Испании театр Чехова и привез свои постановки чеховских пьес в Москву на Международный Чеховский фестиваль.

Да-а! А еще был (чуть не забыла) корректор Матео (он же испанский поэт Хулио Матео), с которым мне в подчитку приходилось читать корректуры редакции в авральные дни. И когда я, читая вслух испанский текст, нет-нет, да сбивалась на португальское произношение, он всегда говорил мне: «Ничего, ничего! Я все понимаю, продолжай!» Тогда как наши русские дивы (они были издательскими редакторами; в издательстве на иностранных языках издательский редактор — это стопроцентный корректор плюс прочие его достоинства), проходя мимо нас, сидящих в коридоре (потому что Матео все время курил), бросив на меня выразительный взгляд, вопрошали Матео: «Ну, что? Дело пахнет керосином?» — Матео отмахивался от них, как от назойливых мух.

Где же они, эти дивы, теперь? Что с ними стало? И чем они живы, если вообще еще живы?

XXI

И вот волею Его Величества случая (да еще какого!) в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году я оказалась в издательстве «Художественная литература», ранее

широко известном в стране как «Гослитиздат», а мне с юности — по изданиям классической отечественной и зарубежной изящной словесности. Взята я была на должность редактора португальской и бразильской литературы, о которой, честно говоря, имела весьма и весьма приблизительное представление. Нет, классика португальской литературы XIX века Эсу де Кейроша я не только знала, но даже начала переводить, прежде всего, его новеллы. Знала я и современного бразильского писателя Жоржи Амаду, конечно, по переводам Юрия Калугина. А уже будучи в «Худлите» и работая с Инной Юрьевной Тыняновой над ее переводом стихов Томаса Антонио Гонзаги, вспомнила, что знаю и этого поэта по вольному переводу Александра Сергеевича Пушкина стихотворения Гонзаги под названием «Там звезда зари взошла...».

И все! Все!

— А кто знает больше? — спросил меня заведующий редакцией «Литератур стран Латинской Америки, Испании и Португалии» Валерий Сергеевич Столбов. — Но с вашим знанием португальского и желанием работать в издательстве, вы быстро освоите литературу и той, и другой страны, я очень в это верю.

— Но я не литературовед, я — лингвист, — сказала я.

— У нас был литературовед, — ответил он, — изучавший португальский, но предпочел уйти в Институт мировой литературы. И мы остались без португалиста. А нам нужно издавать литературу и Португалии, и Бразилии. Вся надежда на вас.

— Спасибо, вы очень добры. Вы же совсем меня не знаете, — ответила я.

— Потом, — продолжил он, — я знаю, что вы переводите... и скоро в издательстве «Прогресс» в вашем переводе выйдет книга бразильского автора Раймундо Мораэса «Амазонская изменчивость». Так что, работая

у нас в издательстве, вы будете совершенствоваться и переводить дальше. Соглашайтесь!

«Какой милый человек, — думала я, — он меня уговаривает и даже вроде соблазняет. Интересно, что ему обо мне наговорила умная и милая Елена Якучанис?»

— Давайте-ка перейдем к делу. Я сейчас познакомлю вас с вашими будущими коллегами, потом пойдем в отдел кадров... надеюсь, вы принесли документы?

Я утвердительно кивнула головой.

Выйдя из своего кабинета, он широко распахнул передо мной дверь редакции, находившейся рядом, все в том же темном закутке второго этажа. В большой, устланной старым, но добротным ковром комнате, за пятью столами сидели женщины, и я невольно отпрянула назад.

— Хочу представить вам нашу новую сотрудницу, — сказал он, словно решение им, мной и издательством уже было принято. Назвал меня по имени и отчеству и сказал, что я буду заниматься португальской и бразильской литературой.

При этих словах, как мне показалось, сидевшие за столами редактрисы облегченно вздохнули.

— Хотя она владеет не только португальским, но и испанским, и французским.

Ответом на эти его слова была гробовая тишина.

— Так, какой стол у нас свободен? — спросил он.

— У окна! — ответила та, что сидела возле двери.

— Ну, от окна, наверное, дует, — продолжал он, — но стол можно переставить к стене. У нас, как видите, просторно. Да, думаю, завтра вы это решите сами. Мы ждем вас на работе к девяти. И еще, один день у нас библиотечный (что такое библиотечный день, я тогда не знала). Пойдемте, я вас провожу.

Уже в коридоре, видя мое смятение, он спросил:

— Что такое? Вам что-то не понравилось?

— Да у вас же одни женщины! — сказала я.

— Ну почему же, — широко улыбнулся он, — у нас столько авторов-мужчин. И поэты, и прозаики, и литературоведы! А еще и художники!

— Вы меня неправильно поняли. Я хотела сказать, что у вас в редакции женский коллектив, а я в чисто женском коллективе никогда не работала.

— Вот и поработаете! Будем надеяться, что вам понравится — работа, конечно, — сказал он и опять улыбнулся.

Так началась моя почти тридцатилетняя работа и жизнь в старейшем издательстве страны «Художественная литература» — гиганте (в те, теперь уже далекие годы) книжной промышленности Советского Союза и безусловном центре литературной и интеллектуальной жизни столицы с 1930 по 1995 год, когда издательство стало умирать. (Да, такое никому даже в самом страшном сне не могло присниться! Но об этом позже.) А тогда, в шестьдесят третьем, я в редакции «Литератур стран Латинской Америки, Испании и Португалии» делала свои первые шаги.

То, что в этом издательстве издавали произведения Пушкина, Лермонтова, Блока, Толстого, Флобера, Мопассана, Дюма и других великих писателей, знал у нас в стране каждый школьник. Их произведения выходили как отдельными изданиями, так и в различных сериях, двухтомниках, трехтомниках и Собраниях сочинений, к которым всегда были предпосланы предисловия известных литературоведов, писателей и поэтов, как и комментарии в конце книги, если они требовались. А вот то, что в издательстве было восемь редакций: «Русской классики», «Советской литературы», «Литератур народов СССР», «Литератур стран народной демократии», «Литератур стран Западной Европы, Северной Америки и Австралии», как и «Стран Латинской Америки, Испании и Португалии» и «Стран Вос-

тока», кроме того — редакции «Литературоведения», «Художественного оформления», «Технического редактирования», ну и, конечно, корректорская, — я узнала, когда стала сотрудницей издательства. А какая богатейшая была библиотека и библиографическое бюро со всевозможными справочными материалами! Но главное — высокопрофессиональный редакторский коллектив, с которым, придя в издательство, мне предстояло работать.

Поначалу, надо сказать, этот самый редакторский коллектив меня несколько озадачил. О том, что это были высокообразованные интеллигентные люди (не все, конечно, к тому же, позже стали появляться удивительные персонажи!), я была наслышана. Я училась у каждого, оценивая всех по их знаниям и способностям, тому, чему они могли меня научить, даже сами того не ведая.

Первым переводом, который лег на мой редакторский стол, был перевод Б. А. Никонова романа бразильского писателя XIX века Мануэла Антонио де Алмейда «Жизнь Леонардо, сержанта полиции». Никонова я знала как автора краткого очерка грамматики португальского языка, в который частенько заглядывала, открывая португальско-русский словарь. И очень удивилась, увидев его имя на титульном листе рукописи.

— А Никонов разве переводчик? — спросила я заведующего.

— Да у нас с португальского практически переводчиков нет. Нам приходится привлекать переводчиков с испанского. А Никонов знает португальский, — услышала я в ответ.

— Но если Никонов не переводчик, а я еще не редактор...

— Ничего, ничего. Читайте русский текст, сверяйте с португальским, отмечайте неточности в переводе, а стилистическую правку сделает внешний редактор.

Следом пошли чистые листы романа Эсы де Кейроша «Реликвия» в переводе Надежды Ароновны Поляк (Боже! Да это же моя преподавательница испанского языка из Московского педагогического института им. Потемкина, откуда я была исключена за стихи... Откуда у нее португальский?!), которые мне было предложено прочесть на предмет опечаток. Что-то я там такое отыскала, уже не помню. То ли нашла пропуск, то ли перепутанные главы.

А вот потом... потом заведующий положил мне на стол рукопись «Лиры и чилийские письма» бразильского поэта XVIII века Томаса Антонио Гонзаги в переводе — «безусловно хорошо» — подчеркнул он, — Инны Юрьевны Тыняновой. Однако тут, как потом мне стало ясно, меня ждало новое испытание: проверка умения, а вернее, способности продуктивно работать с автором.

Да, надо отдать должное заведующему нашей редакцией Валерию Сергеевичу Столбову: не бросил он меня сразу в воду, как котенка, не умеющего плавать, а исподволь подводил меня к самостоятельной работе над русским переводом и общению с автором, за что ему сегодня мой низкий поклон.

Так вот, Инна Юрьевна Тынянова, безусловно талантливая и опытная переводчица с испанского (португальского она не знала), была, как всякий талантливый человек, очень трудной в работе: отстаивала каждое свое слово, цеплялась за интонационные запятые, с которыми, как правило, не соглашались корректоры, и, чуть что, создавала бурю в стакане воды. Это хорошо знал по собственному опыту наш чисто женский редакторский коллектив, и теперь, когда я была на новенького, с замиранием сердца ждал предстоявшую мне с ней боевую встречу на португальской территории. Беспокоился, похоже, и позвонивший мне известный испанист Федор Викторович Кельин, который попросил меня

постараться быть терпимей к Инне. «Не ссорьтесь, девочки, — почему-то сказал он мне. Скорее всего потому, что знал то, чего не знала я. — Очень, очень прошу вас».

Да! Это было мое первое боевое крещение в работе с Инной Тыняновой! И я приняла его достойно. Надо сказать, что и Инна тоже держала себя в руках, скорее всего, выполняя ту же просьбу Кельина. Но вечером, позвонив мне по домашнему телефону, закатила такую истерику по поводу уже согласованной нами в издательстве правки — с криками, бросанием телефонной трубки и новыми неумными звонками до одиннадцати вечера, когда, наконец, вновь согласившись со мной, поблагодарила и пожелала спокойной ночи. Естественно, обалдев от неожиданного поведения автора, я не спала всю ночь. Вот так. В тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году «Лиры и чилийские письма» Томаса Антонио Гонзаги благополучно вышли в свет в серии «Библиотека латиноамериканской поэзии».

В том же шестьдесят четвертом вышел в свет и мой первый и, как я позже решила, последний, перевод с испанского: роман эквадорского писателя Энрике Хиль Хильберта «Наш хлеб». Роман этот был спущен нам сверху, и перевод его должен был быть осуществлен в кратчайший срок, поскольку автора романа ждали в Советском Союзе. Именно это подвигло Валерия Сергеевича Столбова разделить книгу между тремя переводчицами: Натальей Трауберг, Майей Абезгауз и мной. Естественно, исполняя предложенную Столбовым работу, я то и дело неотступно думала: «Ну зачем мне, владеющей португальским языком и имеющей непочатый край работы в португалистике, тесниться на испанском переводческом поле битвы?» И, решив, что незачем, никогда больше не нарушала принятого мною решения, даже в девяностые годы, когда португальскую литературу практически не издавали.

Потом пошла работа над сборником «Под небом Южного Креста» — бразильской новеллой XIX–XX веков. Теперь мне предстояло редактировать переводы двенадцати переводчиков, из которых только четверо владели португальским языком. Все остальные были испанистами и даже переводчиками с французского. Нетрудно было себе представить, какой бесценный переводческий опыт приобретала я в этой работе с разноязыкими авторами. Кроме того, в процессе работы я смогла еще и сравнить собственные первые переводы бразильской классики с переводами многоопытных участников этого тома.

Да, первые годы моей жизни в «Худлите» были ой какие непростые. Во-первых, мне приходилось много работать над собой, читая русскую классику, почти нечитанную в детстве (было не до чтения: семейная трагедия, война и т.д., и т.п.). Потом мой русский нужно было совершенствовать, осваивая толковые русские словари Даля, Ушакова, академический «Словарь русского языка», как и всевозможные энциклопедии (Брокгауза и Ефрона, «Гранат» и т.д.), как и всю имеющуюся справочную литературу. Все предыдущие годы я пользовалась преимущественно португальскими и бразильскими словарями и энциклопедиями. А тут все наоборот! Потом, я очень четко отдавала себе отчет в том, что многого не знаю. Но, как известно, все знать никто не может. Однако, если ты знаешь, чего ты не знаешь, и знаешь, где можно найти то, чего ты не знаешь, ты вооружен знанием. К тому же, по опыту работы с Инной Юрьевной Тыняновой, да и с другими переводчиками, я поняла, что мне необходимо учиться и работать с ними. Это своего рода большое искусство! Ведь переводчику надо суметь толково объяснить его ошибку, доказать свою редакторскую правоту и остаться с ним в добрых рабочих отношениях, особенно с та-

лантливými и легкоранимыми. У меня еще свежа была память, как эту самую правоту доказывали друг другу переводчик и контрольный редактор испанской редакции «Издательства литературы на иностранных языках», бегая вокруг стола и выкрикивая друг другу всякие обидные слова.

Вот так, день за днем, месяц за месяцем, год за годом я училась редактировать и переводить, переводить и редактировать. А еще толково и четко докладывать о проделанной работе над рукописью на главной редакции, проходившей в кабинете главного редактора Александра Ивановича Пузикова, и держать ответ при утверждении сигнальных экземпляров на дирекции. Ну и конечно же жить в чисто женском коллективе редакции.

Беда моя (а может, и наша общая) была еще и в том, что наша редакция находилась как бы на отшибе (в темном закутке на втором этаже). Все же остальные литературные редакции располагались на четвертом и пятом этажах. И мне, новенькой, вынужденной вариться в редакционном «латиноамериканском соку», было очень трудно освоиться в большом издательстве. Но я старалась изо всех сил. И со временем, конечно, стала частичкой всего издательского коллектива. Тому способствовали главные редакции, дирекции, редсоветы и прочие общеиздательские мероприятия и даже, как ни смешно и ни печально, типографии, где наш редакторский состав самого крупного издательства страны надевал на свои книги суперобложки, и овощные базы, где опять же весь наш редакторский состав перебирал гниющую картошку.

В семидесятом году на мой редакторский стол лег перевод удивительнейшей книги, вышедшей в Лиссабоне в 1614 году. Называлась она очень пространно: «Странствия Фернана Мендеса Пинто, где сообщается о мно-

гих и многодливных вещах, которые ему довелось увидеть в королевствах Китайском, Татарии, Сорнау, оно же в просторечии Сиам, в Каламиньяне, Пегу, Мартаване и во многих других королевствах и княжествах Востока, о которых в наших западных странах мало или даже совсем ничего не известно». Но как я позже поняла, этими необыкновенными приключениями Мендеса Пинто, купца, солдата, пирата, путешественника и дипломата, упивалась вся Западная Европа. Читателя увлекал острый сюжет, повороты судьбы главного героя, яркие описания экзотических стран, лежащих на краю земли.

Перевод романа был сделан известным ленинградским переводчиком Иваном Алексеевичем Лихачевым, тогда еще мне незнакомым.

— Так, — сказала я заведующему, — перевод есть, а оригинала нет?!

— Нет! — ответил он мне. — Лихачев переводил с испанского перевода, и, как он говорил, сверял с немецким.

— А как же быть мне? Я же должна сверить с португальским оригиналом?!

— В Библиотеке иностранной литературы книги нет. Позвоните в Ленинку, узнайте у них. Может, в отделе редкой книги есть оригинал?

Я позвонила в Ленинку. Да, в отделе редкой книги португальский оригинал был. Но, как мне сказали, читать и работать с ним можно будет только в читальном зале. Так я и просидела в читальном зале отдела редкой книги Ленинки более полугода. Сегодня даже невозможно представить, как трудно мне было тогда. Оригинал был, естественно, на старопортугальском. Но я-то старопортугальского не знала. Однако со временем, работая с высокопрофессиональным переводом Ивана Алексеевича Лихачева, даже перестала замечать, что сверяю его со старопортугальским оригина-

лом. Оказалось, что и такое возможно при качественном переводе. Вообще ленинградских переводчиков-профессионалов — Донского, Косс, Чежегову, Цивьяна, Шмакова — я всегда очень высоко ценила, как, впрочем, и московских: Любимова, Лысенко, Гелескула, Тынянову, Витковского. Ну, а что касается переводчиков-непрофессионалов и сиюминутной «маловысокохудожественной литературы», как говорил Зощенко, политического звучания, которую нам нет-нет да и предлагали к изданию вышестоящие организации, — их я старалась по мере своих сил избегать, входя в конфликт с заведующим и, соответственно, получая стресс за стрессом. А тут над подготовкой к изданию «Странствий Фернана Мендеса Пинто» со мной работал хорошо знающий свое дело слаженный профессиональный коллектив: переводчик Иван Алексеевич Лихачев, авторы предисловия и комментариев Яков Свет и Дега Деопик. Ну и художник, конечно, — Георгий Клодт.

За работу над этой книгой я получила Диплом второй степени на ежегодном издательском конкурсе на лучшую редакторскую работу. Вот так! После чего уставшая, но довольная поехала в очередной раз в Дом творчества писателей «Коктебель».

XXII

Коктебель, Коктебель, как я скучаю по тебе и как боюсь и даже не хочу увидеть тебя сегодня. А в далеком шестьдесят пятом, когда я впервые вдохнула полной грудью твой морской, степной и горный воздух, ты был необыкновенно хорош собой и чужд сегодняшним русско-татарско-украинским страстям, бушующим на твоей благословенной земле. Тогда ты благоухал цветущей белой акацией, сиренью, дроком и еще чем-то не-

уловимо коктебельским, которого не было, нет и никогда не будет на земле, и встречал нас с распростертыми объятиями.

В Коктебель мы с мужем всегда приезжали в конце апреля. В это время года в парке Дома творчества писателей уже буйно цвела сирень и белая акация и начинало распускаться иудино дерево. Чуть позже, в первых числах мая, всеми нами любимая Библейская долина вспыхивала выстилающим ее огненно-красным горичветом. А по дороге на Карадаг, образ которого, как писал Максимилиан Волошин, «ваял двойным резцом огонь древних недр и дождевая влага», нас приветливо встречали, кивая головками, дикие пионы, и настороженно топорщилась, всегда готовая к отпору, неопалимая купина.

Карадаг — это удивительное, завораживающее каменное чудо. Он влечет к себе, заманивает в свои пещеры и гроты, подталкивает к стоящим над обрывами скалам и настойчиво зовет вниз, в свои бухты, где ласково плещется соленая морская волна. И когда мы, уставшие после долгого подъема на перевал и прогулок по горным тропам, наконец спускались в одну из таких бухт, под ногами у нас оказывался шуршащий ковер черносерой полированной коктебельской гальки. Набежит морская волна, намочит гальку — она почернеет; отхлынет волна, солнечные лучи высушат гальку — она станет серой. А новая волна уже опять набегают, идет одна за другой, играет галькой и дразнит меня. И я с восторженным криком бросаюсь в холодную майскую воду, но тут же, окунувшись, выскакиваю на берег.

Иногда, встав рано утром, мы до завтрака шли в Тихую бухту за гору Хамелеон. Миновав береговую пограничную вышку, как правило, сбрасывали одежду и, оставшись в купальниках, продолжали свой путь под утренним коктебельским солнцем и всегда освежающим кок-

тебельским ветром. В бухте купались в чем мать родила (в такое раннее время там, как правило, не было ни души) и, уже одевшись, чтобы не обгореть, теперь под жаркими лучами солнца пускались в обратный путь, торопясь успеть к завтраку. После завтрака я работала за письменным столом, а муж шел писать пейзажи.

Вот так, приезжая из года в год весной, мы стали коктейбельцами, как говорили все, весеннего призыва. Ни летом, ни осенью мы в Коктебель не ездили. Правда, один раз осенью все-таки попробовали поехать на виноград, но это был совсем другой Коктебель: другое море, другие горы, другие люди.

Никогда не забуду свой первый приезд в этот замечательный уголок восточного Крыма. Получив номер на втором этаже третьего писательского корпуса, стоящего у моря, я, подойдя к окну и распахнув его, тут же отпрянула: огромное темно-синее Черное море прямо на меня катило свои высокие мощные волны с белыми барашками.

В тот же вечер, устроившись на раскладушке в лоджии и глядя на усыпанный бриллиантами черный бархат неба, я решила, что все двадцать четыре дня буду спать только здесь, чтобы дышать морским воздухом. Но в первую же ночь, как ни старалась заснуть, так и не смогла. В голове все время навязчиво крутилась одна и та же фраза: «Я опять не сплю! Я опять не сплю! Я опять...» И вдруг:

Я опять не сплю,
я опять молю,
чтоб пришел рассвет,
но его все нет!
А кругом все спят,
тихо все вокруг.
Только ветер вдруг

колыхнет листву.
Темен неба круг,
глаза звезд горят,
На посту они
в эту ночь стоят.
Стерегут покой,
стерегут рассвет.
Но покой не мой.
И рассвета нет.

Муж тихонько посапывал в глубине комнаты. Потом по небу покати́лась звезда:

Я вижу падающую звезду.
А что, если так же и я упаду...
И не узнает никто никогда,
куда я упала,
куда?

Да, именно в Коктебеле я снова стала писать стихи. И как же хорошо мне всегда работалось в Коктебеле! Здесь я впервые перевела ритмическую прозу Урбано Тавареса Родригеса «Смерть аиста» и «Письмо» Вержилио Феррейры. Прочла и начала переводить роман Алвеса Редола «Яма слепых» и даже решила переводить роман Виторино Немезио «Непогода в проливе», хотя это уже была не собственно Португалия, а ее Азорские острова, о которых я мало что знала и, естественно, не бывала ни на них, ни на острове Мадейра. Но «Португальский институт книги и библиотек» мне тут же прислал толстый том «Открытие Португалии» в картинках и текстах, где были и Азоры, и остров Мадейра.

Здесь же, в Коктебеле я обрела новых друзей среди переводчиков и писателей и крепче подружилась со старыми. И теперь всякий раз, вспоминая Коктебель,

вспоминаю и недавно (как недавно? Теперь уж давно) умершего литературоведа академика Николая Ивановича Балашова, который водил нас, новообращенных коктебельцев, в горы (на Карадаг и вокруг Святой горы) и даже в дом Волошина, когда еще была жива жена Волошина Мария Степановна и его «Дом-музей» для посещений был закрыт. Вспоминаю я и Бориса Абрамовича Слуцкого, который слушал мои стихи (что я ему тогда читала там, в Коктебеле, сидя на лавочке у восемнадцатого корпуса? Да все подряд), и...

Тихо дремлет теплый вечер, зажигая огоньки
в этой маленькой деревне, что ютится у Оки.
Во дворе мычит корова, куры видят третий сон,
спит индюк — двора обнова, молодец, красавец он.
Утки чинно друг за другом возвращаются с реки.
За столом в соседнем доме вечерают пастухи.
Где-то там за косогором ветерок улегся спать,
и туман лег. Завтра рано, ему поутру вставать.
Все уснуло, все в покое. И сегодня, как вчера,
Лишь собачья перебранка не смолкает до утра.

Взглянув на Бориса Абрамовича, я замолчала.
— Читайте, читайте, — сказал он.
Я стала читать дальше...

Черепица Таллина
сегодня опечалена.
Плачет черепица,
дождь по ней струится.
Стоит солнышку взойти,
черепица на пути.
Засверкает, заискрится,
заиграет черепица.
Черепица Таллина

весела отчаянно.
Снег кружится и ложится,
одевая черепицу
в белый свадебный наряд.
Бриллиантами горят
все и вся вокруг подряд.
Ветер тронет черепицу,
черепица обнажится,
сбросит белую фату
и, краснея, красоту
отдаст ветру-исполину,
что не раз ее покинул,
солнцу, что из года в год
радость и тепло дает,
хмурому седому небу
и тебе, ведь ты там не был?!

— Еще! — сказал Борис Абрамович. — Еще!

Нет воскресений, нет вознесений!
Есть бесконечных страстей хоровод:
Мытарств, распятий и потрясений,
Предательств и лжи учрежденный черед.

— Ну, ну, — продолжал он подбадривать меня.

Мне надоела суета с ее пустым и грешным телом.
Ведь эта дева никогда не забеременеет делом.
Она не даст ростка любви и плод фантазии раздавит.
Сегодня, делу вопреки, она, играя, миром правит.
Тепло, покой, уют и сон украла суета у мира,
И нынче суетно звучит поэта суетного лира.

— А знаете что, Лилиана Эдуардовна, — прослушав меня, сказал Борис Абрамович, — приходите-ка вы ко

мне на семинар начинающих поэтов. Мы по четвергам собираемся на улице Богдана Хмельницкого в Доме народного творчества.

— Хорошо, — ответила я. — Но... Борис Абрамович, ведь...

В стихах я просто душу отпускаю,
даю ей воспарить в безоблачную высь.
Когда же проза жизни отрезвляет,
Я ей кричу: Вернись, душа, вернись!

В Дом народного творчества я пришла раза два, не больше. Не хватало ни времени, ни сил. Работа, семья: муж, дочь-школьница, которых нужно, кормить, поить, а главное — любить.

Со временем почему-то у нас в редакции перестал появляться Борис Абрамович Слуцкий. Правда, работа над его переводом стихов португальского поэта Фернандо Пессоа уже была закончена, и рукопись то ли находилась в производственном отделе, то ли уже была в типографии. А потом, спустя какое-то время мне позвонил заместитель председателя Литфонда СССР Владимир Федорович Огнев и сказал, что среди названных людей — а их единицы, — кого умирающий Слуцкий хотел бы видеть, он назвал вас, Лилиана Эдуардовна.

— Сходите к нему во Вторую градскую.

Я пошла, от души желая сказать что-нибудь утешительное стоявшему на пороге в мир иной человеку. Не вышло. А вот томик стихов Фернандо Пессоа с переводами Слуцкого вышел, но уже после его смерти.

Да, вспоминая Коктебель, я вспоминаю и молодого Владимира Маканина, сидевшего за нашим веселым молодежным столом (не считая, конечно, вдову умершего художника Натана Исаевича Альтмана, написавшего еще в 1914 году великолепный портрет Анны Ахма-

товой). Тогда Володя Маканин был начинающим писателем. Он много работал, частенько запаздывал к обеду, а иногда не приходил и к ужину. Позже мы несколько раз встречались с ним в Доме творчества «Малеевка». Вот в одну из встреч он и подарил нам с мужем свою книгу «Ключерев и Алимускин», написав на ее титуле: «Лиле и Юре с доброй памятью. Володя. 31.12.79». Потом мы как-то встретились на книжной выставке Non fiction в ЦДХ, едва успели поговорить перед его выступлением, как на него набросились читатели. Не помню, какая его книга тогда вызвала такую читательскую любовь. Он дал мне свой телефон, но я так и не позвонила. Теперь, уже в 2008 году, Володя подписал мне на очередной Non fiction свою книгу «Асан» и опять дал мне свой телефон. «Обязательно позвоню», — сказала я. И позвонила в апреле 2009 года, пригласив его на посмертную выставку мужа, которая проходила в Московском Союзе художников, но Володи не видела, как не видела никого, находясь в тяжелом стрессе.

Так вот, с кем только я в Коктебеле ни встречалась из своих современников, многие из которых теперь уже ушли из жизни. Это и Василий Шукшин, и Виктор Шкловский, и Юлиан Семенов, и Маризтта Шагинян, и сегодня здравствующий Евгений Евтушенко, всегда наводивший порядок на набережной у нашего писательского третьего корпуса, где то и дело, собравшись в кучку, донецкие шахтеры (квота в наш Дом творчества у них была и весной, и осенью) спевали: «Веселися, бабка, веселися, Любка, веселися, ты моя милая голубка»; и Юлия Друнина с Каплером, и доктор наук, директор Института русского языка и литературы Академии наук СССР Елена Андреевна Земская (племянница Михаила Булгакова), с которой мы, надо сказать, подружились, прежде всего, благодаря нашим маленьким дочкам. Девочки играли в классики у «Муравейника» — так на

зывали старый волошинский корпус, в котором на третьем этаже с отдельным входом любила независимо ото всех жить Лена.

Но месяц в Коктебеле пролетал быстро и приходилось возвращаться. Нет, не к работе — работать я не переставала и в Коктебеле, переводя книгу за книгой, — а в женский рабочий коллектив, где всегда кто-то кому-то завидовал, кто-то кого-то любил, а кого-то не любил, да еще при таком заведующем, с которым у нас теперь отношения были столь плохи, что дальше некуда.

«Но всему приходит конец» — думала я, когда Столбов, вступив в Союз писателей после своего перевода романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (надо сказать, он был неплохим переводчиком, что никак не отменяло его человеческих недостатков), ушел в 1975 году из издательства на свободный литературный труд. Сколько тогда ему было лет? Шестьдесят? А может и больше, ведь он еще в тридцать седьмом участвовал в испанских событиях, а много позже, в Великую Отечественную войну, сменил в Генштабе отбывавшего тогда на фронт известного журналиста Юрия Федосюка, с которым мы в 1967 году, когда он работал главным редактором русской версии «Дайджеста», встретились и подружились опять же в Коктебеле.

И вот теперь, казалось бы, для Валерия Сергеевича Столбова, человека бесспорно творческого, наступило то самое время, чтобы забыть все административные дела и ненужные разборки с нелюбимыми авторами и редакторским составом и уйти с головой в переводы. Ан нет! Неуемная жажда властвовать и иметь везде свою руку, и крепкую, тем более, в бывшей подведомственной ему редакции, не давала ему покоя. И он стал проталкивать на должность заведующего нашей редакции своего человека, но совсем из иного ведомства.

Владея испанским, тот человек работал в Госкомитете по экономическим связям с зарубежными странами. Время от времени, посещая страны Латинской Америки, он привозил Столбову, предлагая себя в качестве переводчика, ту литературу, которую и литературой-то назвать было никак нельзя. А тут вдруг перед ним замаячило кресло заведующего.

Однако сразу посадить его в кресло заведующего нашей редакции Столбову не удалось: издательству нужен был прежде всего заместитель главного редактора. Ведь последнее время, руководя нашей редакцией, Столбов по совместительству был и замом главного. А главный редактор Пузиков, хоть и не переставал ходить на работу, постоянно болел. Между тем, протеже Столбова никак не тянул на зама главного, как, кстати, и на заведующего нашей редакцией. Ну не был он знаком с художественной литературой, не был. А тут еще классика! Однако, упорствуя, Столбов нет-нет да и подбрасывал ему переводик какой-нибудь спущенной сверху испанской книжонки (там наверху тоже были не очень сильны в художественной литературе), чтобы тот на паях с кем-нибудь перевел ее, конечно же, с помощью редактора, трудившегося с ним вместе в поте лица своего.

Так вот, наш главный редактор Александр Иванович Пузиков протеже Столбова к себе в замы не взял.

И после долгих ожиданий на должность заместителя главного редактора и по совместительству заведующего нашей редакцией к нам пришел всеми уважаемый Владимир Дмитриевич Золотавкин — бывший сотрудник журнала «Иностранная литература», который больше всего на свете любил литературу, изменяя ей разве что с кружечкой пива.

Так начался «золотой век» (правда, короткий — Владимир Дмитриевич Золотавкин вскоре умер) для до-
220

стойных авторов, творческих сотрудников издательства и всего издательского коллектива, который просто боготворил Владимира Дмитриевича.

Наш новый заведующий ни мне, ни моим коллегам никогда не предлагал в качестве переводчиков или рецензентов своих друзей-непрофессионалов.

Да и предложений к формировавшемуся перспективному плану Золотавкин ждал прежде всего от редакторского коллектива и всеми нами уважаемых профессионалов-переводчиков и литературоведов. Потом он все просматривал, включая авторские заявки, и обсуждал их со всеми нами вместе. И только со мной одной — планы изданий португальской и бразильской литературы: ведь в издательстве «Художественная литература» я была единственным португалистом. («Лиля у нас монополист», — говорил Степан Петрович Мамонтов, советник по культуре советского посольства в Лиссабоне.) Однако это не мешало мне частенько редактировать и переводы с испанского таких знаменитых классиков, как поэт Луис де Гонгора-и-Арготе (XVI век), драматург Тирсо де Молина (XVII век), Аларкон (XVIII век) и многих других.

Так, при Владимире Дмитриевиче Золотавкине каждый член нашего редакторского коллектива был вынужден оценить свои знания, способности и возможности работать в редакции, вне зависимости от имеющегося в кармане партийного билета (сам Золотавкин был членом партии), который давал большинству неучей, бездарей и приспособленцев определенные привилегии.

С приходом Владимира Дмитриевича Золотавкина пришло время высокой оценки человеческого достоинства, глубоких знаний и подлинных способностей каждого, кто хотел и мог занять свое собственное место в литературе и в жизни издательства. И все-таки

Минину, протеже Столбова, какое-то время после смерти Золотовкина и его преемницы Алевтины Ивановны Мироновой удалось поцарствовать в нашей редакции и даже при полном незнании и португальского языка, и португальской литературы (да еще XVI века) стать редактором «Лузиада» Луиса де Камозенса.

XXIII

В апреле 1974 года в «подопечной» мне Португалии случилась революция «красных гвоздик», и тут же стали восстанавливаться порушенные после семнадцатого года дипломатические и культурные отношения с Советским Союзом. В это самое время Инокомиссия Союза писателей получила несколько сборников рассказов португальского писателя-коммуниста Урбано Тавареса Родригеса, испытавшего на себе все прелести фашистского режима Салазара, и предложила издательству «Художественная литература» ознакомиться с ними и по возможности издать у нас в редакции.

Естественно, книги легли на мой стол. Полистав каждую, я, ориентируясь на глубину произведений и их художественные достоинства, тут же выбрала для себя три новеллы: «Дядя Бог», «Предрассветные птицы» и «Смерть аиста». И последнюю, самую маленькую, очень напоминавшую мне стихотворения в прозе любимого мною Тургенева, тут же начала переводить.

«Это было давно, в то далекое время, когда шкафы смотрели на нас своими стеклянными глазами, а свисавшие с потолка лампы казались удивительными сказочными фруктами, когда мы верили в привидения и чудеса, когда нас пугали страшные сны и радовали сделанные нами открытия, когда на тлеющих углях камина расцветал трепещущий голубой

цветок, а в сотканной паутине паук обезглавливал мух, когда перезвон бубенчиков напоминал нам молитвы, а лунный свет рисовал на стенах замороженных им коленопреклоненных зверей. Это было в детстве, в рождественские дни. Дни, полные чудес. Дни фантазий.

Столько зим, столько лет прошло с тех пор, Мигел, столько выпало на мою долю обид, столько проглочено горьких слез и такой все сметающий ураган воспоминаний обрушивается на меня сейчас, что я, сжавшись в комок, маленький, истерзанный, униженный, хотел бы вернуть тот волновавший душу медленный танец тумана, опускавшегося на Ардилу, и покой нашей гостиной, приятно согретой теплом камина. Как воскресить безоблачные утра, перламутр заморозков, журчание воды в овраге и пение дроздов, которых мы с тобой подстерегали с пращой или ружьем в руке?!

Стоял прозрачно-голубой декабрь с ледяными слезинками в глазах. Мы, обутые в сапоги, к которым липла грязь, бродили в надежде на удачу по оливковым роцам.

У меня ягдташ был пуст, а у брата набит дроздами, жаворонками, куропатками. И надо же было мне в тот самый момент, когда я почувствовал отчаяние, что возвращаюсь с пустыми руками, увидеть аиста, белого прекрасного аиста, летящего к черному тополю, на котором он свил гнездо. Я не раздумывал. В руках у меня было ружье. И белая птица, нежный аист, описав в предсмертных муках параболу, упал в крапиву. Так в одно мгновение символ счастья превратился в кучу безжизненных перьев и стынущую плоть.

Я почувствовал, как в горло мое вонзились острые клыки совести. Дыхание перехватило. Глаза брата осуждали меня. Я хотел подобрать птицу, но, пристально взглядевшись в свою жертву, отдернул руку, почувствовав, что совершаю святотатство.

В эту ночь, как никогда, была холодна моя постель. Я не мог заснуть, не мог согреть свои преступные руки.

И только на следующий день, после того как я, вскочив с кровати и не притронувшись к пафному молоку и свежему хлебу, пробежался босиком по замерзшей реке, ранив себе ноги и подставляя розовому солнцу голую грудь и всклокоченные волосы, мы с братом, обнявшись, молча пошли к тому месту, где была убита птица.

Аиста не было. Не было даже перьев и запекшейся крови. Лишь красная застывшая капля висела на крапиве. Ветер дал мне пощечину. Гимном ответила ему река. Громко, протяжно закричал пастух, и занялось утро, обычное алентежское утро, такое, как вчера, как позавчера, такое, как тысяча других ему подобных.

Мне так хотелось попросить прощения у аиста. Надежда до сих пор не покинула меня, и я без устали ищу эту птицу счастья на мглистых берегах жизни, полной борьбы, любви и тревог».

Рассказ этот в моем переводе был опубликован в 1975 году в августовском номере журнала «Иностранная литература». А в октябре того же года в Москву приехал Урбано Таварес Родригес на встречу со своими читателями и мной (его переводчицей), проходившую в Библиотеке иностранной литературы. Потом, будучи приглашенными в журнал «Иностранная литература», мы долго беседовали с Юрием Дашкевичем и строили планы нашей будущей встречи, но уже в Лиссабоне, что для меня в то советское время казалось чистой фантастикой: партийного билета у меня не было, как не было в юности и комсомольского. Однако знание португальского языка, переводы португальской и бразильской литературы и уже двенадцатилетний стаж редакторской работы в издательстве «Художественная литература» были. А главное: я, а вернее, мои знания были нужны «Союзу обществ дружбы с зарубежными странами». И именно благодаря этому я и поехала в Португалию в 1976 году.

Поехала в составе группы «Общества дружбы СССР — Португалия». И увидела ее всю, с Востока на Запад и с Юга на Север и обратно, за исключением небольшой горной части, откуда, как я узнала позже, был родом крупнейший португальский писатель, философ Вержилио Феррейра, которого я открыла не только русскому читателю¹ и с которым мы дружили до последних дней его жизни.

Где мы только тогда ни побывали и с кем только ни встречались! Это были и рабочие сельскохозяйственного кооператива в Монтеморей, и писатели в Эворе, и студенты Эворского университета, и коммунисты «красного» города Бежа, куда мне с представительницей интеллигенции Латвии и простым заводским рабочим из Москвы вдруг (неожиданно для нас троих, да еще среди ночи) пришлось выехать на коммунистический митинг. Когда мы приехали, нас ввели в какой-то зал и, объявив: «У нас в гостях советские товарищи!», — выпустили под шквал оваций на сцену. Пришлось отвечать на посыпавшиеся как из рога изобилия самые разные вопросы, которые мы сами себе никогда не задавали: о зарплате простого рабочего и балерины Майи Плисецкой, об оплачиваемых отпусках и медицинском бесплатном обслуживании и даже о том, как это мы, русские, литовцы, татары, украинцы и все остальные, разговаривая на разных языках, понимаем друг друга.

Я, привыкшая рано ложиться спать и рано вставать, еле держалась на ногах: на часах было около трех ночи. К счастью, скоро мы услышали, что за нами пришла машина... Утром мы уже снова были в Эворе, где в книжном магазине со мной познакомилась одна симпатичная португальская семья. Что-то я им тогда пода-

¹ Роман Вержилио Феррейры «Явление» был переведен с моего русского перевода на литовский (Вильнюс, 1989).

рила, — скорее всего, матрешку, тогда русские матрешки были в большой моде, — получив в ответ красивую коробочку с картами для игры в канасту и вложенными в нее духами. А дочка их преподнесла мне глиняную расписную тарелку, бесценно висящую у меня на кухне уже тридцать три года. С этой семьей я долго переписывалась.

Потом были города Фаро, Ольян, Портиман — замечательные курорты Атлантики, которые мы осмотрели за два дня, встречаясь с деятелями местного отделения «Общества дружбы Португалия — СССР». Одиннадцатого октября мы уже были в Назаре, где мне вдруг довелось «обмыть» только что купленные мокасины в Атлантическом океане. Неожиданно набежавшая пенная волна оставила на них черные пятна нефти. Двигаясь дальше на север, мы прибыли в университетский город Коимбру, где нас потрясла своим великолепием университетская библиотека. Здесь же у нас была встреча с португальской интеллигенцией, на которую приехал и наш советник по культуре Степан Петрович Мамонтов. Потом мы посетили старинный город Порто, славящийся на весь мир своим портвейном, потом в колыбель Португалии город Гимараэнс, потом в город Брага, на судовой верфи Вианы де Кастелло, в Авейро, Маринья Гранде, где прошла встреча со стеклодувами, и в Алжустреле. Наконец, много-много часов спустя, нас встретили пригороды Лиссабона: королевские замки Синтры, Келуша, Касакайса и Эсторила.

Так, прилетев в Лиссабон пятого ноября и объехав всю Португалию, утром семнадцатого ноября мы вылетели обратно в Москву.

Да, эти двенадцать дней я, как губка, впитывала все увиденное мною в этой поездке по удивительно красивой и хорошо сохранившей свою историю стране. Встречалась с уже знакомыми мне писателями, побы-

вавшими в Советском Союзе в 1975 году, и незнакомыми, но очень спешившими познакомиться со мной, редактором издательства «Художественная литература», и подарить мне свои книги в надежде на издание в СССР. На встречу со мной приходили и литературоведы, советовавшие мне издать то или иное произведение, заслуживающее внимания русского читателя. Как, например, роман Жозе Родригеса Мигейса (единственного в своем роде представителя португальской литературы изгнания), названный именем последнего русского императора «Николай! Николай!»

Я ответила, что ничего не знаю об этом авторе. И тут же, вспомнив полученные перед отъездом наставления, подумала: «Ну вот, начинается!» И спросила: «Антисоветский?» — «Нет, нет, — услышала я, — это роман о русских эмигрантах первой волны, с которыми автор жил бок о бок в одном из пансионатов Брюсселя». Услышанное насторожило меня несколько не меньше (так, о белых русских эмигрантах!), и я постаралась уйти от навязываемого мне разговора. Так ли нужна эмигрантская литература (да еще португальского писателя!) нашему читателю, которого мы только-только начали знакомить с литературой самой Португалии, где в 1974 году расцвели «красные гвоздики»¹. Однако впоследствии, когда Ассоциация португальских писателей, возглавляемая старейшим поэтом Жозе Гомесом Феррейрой и Марией Велья да Коста, выслала мне для издания пять ящиков произведений португальских прозаиков и поэтов, я среди полученных мною книг Фернандо Пессоа, Виторино Немезио², Аугустины Беса Луис,

¹ Имеется в виду революция в Португалии 25 апреля 1974 года.

² Виторино Немезио (1901–1978) — португальский писатель, уроженец Азорских островов. Его роман «Непогода в проливе» в моем переводе вышел в 1990 году в издательстве «Художественная литература» в серии «Зарубежный роман XX века».

Вержилио Феррейры обнаружила и роман Жозе Родригеса Мигейса «Николай! Николай!» Правда, я перевела его много позже. Он вышел в издательстве «Аграф» в 2000 году.

После возвращения в Москву у меня в издательских планах 1977 года уже практически был готов к набору сборник новелл Урбано Тавареса Родригеса; в 1978 году — «Лирика» испанского поэта XVII века Луиса де Гонгоры-и-Арготе (как я уже говорила, мне перепала трудная, но замечательная испанская классика) и «Лирика» португальского поэта XX века Фернандо Пессоа.

Была ли мне тогда по плечу работа над переводами произведений этих выдающихся поэтов? Пожалуй, на этот не раз возникавший у меня вопрос я могу дать обоснованный ответ только сегодня. Да, была! И прежде всего, благодаря серьезному подбору (особенно в случае с Гонгорой) авторского коллектива переводчиков-испанистов, таких как Павел Грушко, Сергей Гончаренко, Марк Самаев, Майя Квятковская и, теперь уже доктор наук Светлана Пискунова. Она не только написала к сборнику предисловие, но и сделала примечания к тексту Гонгоры, позволявшие неумудренному в испанистике читателю прочесть и понять впервые издававшегося в Советском Союзе поэта, но, вполне возможно, хорошо знакомого по портрету, написанному Веласкесом в 1622 году, а может, и по впоследствии возникшему в странах Западной Европы течению «гонгоризм».

Авторский коллектив, работавший над переводом лирики Фернандо Пессоа, состоял не только из поэтов-переводчиков (Витковского, Гелескула, Цывьяна), но и наших известных поэтов: Юрия Левитанского и Бориса Слуцкого. Что же касается предисловия, то оно было написано португальским литературоведом, профессором Лиссабонского университета, президен-

том Лиссабонской академии наук Жасинто до Прадо Коэльо.

Где-то все в том же 1975 году по приглашению иномиссии Союза писателей СССР Жасинто до Прадо Коэльо посетил Москву и наше издательство, где имел беседу с директором Валентином Осиповым и со мной. На директорский стол я тогда выложила всю изданную в издательстве португальскую литературу. Потрясенный увиденным и полученным в подарок томиком «Португальская поэзия XX века», в котором впервые были опубликованы стихи Фернандо Пессоа (в переводах Юрия Левитанского, Анатолия Гелескула и Геннадия Шмакова), до Прадо Коэльо тут же дал согласие написать предисловие к будущему сборнику «Лирики» Фернандо Пессоа и выразил готовность всегда и во всем, в чем только сможет, помогать мне в моей работе.

Так постепенно я приобретала друзей и помощников среди португальских писателей и литературоведов, естественно заинтересованных в издании португальской литературы в Советском Союзе (который, кстати, в те годы выплачивал иностранным писателям только поощрительный гонорар), а потом и в государственных институтах, таких как «Португальский институт книги и библиотек», высылавший всю необходимую мне для работы справочную литературу и оказывавший мне после 1992 года финансовую поддержку (так называемые гранты) на перевод того или иного значимого для нашей страны произведения португальского автора, а еще позже — Институт Камозенса, финансировавший издание той или иной книги.

В эти бурные годы моей редакторской и переводческой деятельности мой муж, закончив картину «Восстание декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года» и сдав ее в Музей декабристов в Иркутске,

создавал свои монументальные работы: «Карту железных дорог СССР и Европы» для железнодорожных касс в здании гостиницы «Метрополь» (Москва, 1965 г.); «Спортивная победа» (Воркута, 1967 г.); «Монумент в честь открытия алмазного месторождения в Якутии» (Мирный, 1970 г.) и «Весна Туркмении» на фасаде Дворца культуры гидростроителей (Мары, 1975 г.) в технике мозаики и рельефа с мозаикой, получая почетные грамоты и дипломы.

Дочка росла, окончила математическую школу № 2, поступила в Московский государственный университет на биологический факультет и в 1975 году вышла замуж.

А вот родители наши ушли. Отец и мать мужа вместе — в 1969 году, а моя мама, дожив до нашей серебряной свадьбы, в 1973-м.

XXIV

После того, как Жорж так поспешно отбыл из Москвы, все-таки заехав к нам около двенадцати ночи, чтобы получить бумаги о моем отце (почему он так спешил получить их? Ведь, в конце концов, я могла бы переслать ему их по почте. А может, они были нужны ему здесь и сейчас?), мы с мужем вопрошали друг друга довольно долго.

— Так что же могло случиться с Жоржем в последний его приезд в Москву? Кто мог, а, вернее, имел право или основание допрашивать его в гостинице, и так долго? И почему? — спрашивала я мужа.

— По инициативе служащих гостиницы такие дела не делаются или, во всяком случае, не должны делаться, — отвечал он мне. — Значит, кто-то обратил чье-то внимание на его активную деятельность: общение с большим

количеством приходящих к нему людей (зачем?), которых он интервьюировал, как понял я, чуть ли не в вестибюле, так?

— А может, это сделал Владимир? — выпалила я неожиданно пришедшую мне в голову мысль. — Ведь его сын Андрей говорил Жоржу, что отец как-то сказал ему: «Ты что, не видишь или не понимаешь, кто такой Жорж?!» — «Военный атташе», — ответил ему Андрей. «Да, да, и на Черноморском флоте меня тоже разыскивал военный атташе — после чего, как тебе известно, я оказался на суше».

— Все может быть, все, — ответил мне муж. — В наше время совсем не обязательно быть завязтым шпионом. Вполне достаточно, посещая горячие точки бывшего Союза, получать из первых рук даже тех, кто приходит наниматься на работу во французскую фармацевтическую фирму, свежую информацию об умонастроении людей.

— Да, это верно, тем более что люди у нас болтливы. Правда, Вовка всю жизнь молчал об истинной причине трагедии, случившейся в нашей семье в тридцать девятом. Конечно, пятнадцатилетний мальчишка мог не понимать, да и не знать, что происходило в стране тех лет с такими семьями, как наша. Однако после перестройки он не пошел в Российский государственный военный архив, будучи более чем взрослым, когда судьбы семей, подобных нашей, стали общеизвестны, чтобы все узнать об отце из документов, находящихся на постоянном хранении. Побоялся.

— А что он мог узнать? Только то, что лишил жизни героя Гражданской войны, который, дав ее вам, решил в тридцать девятом отнять ее у всех вас, включая себя. Думаю, так! — сказал муж.

— Так неужели именно это и рассказал сыну Владимир, находясь на пороге смерти? Да еще, как сказал Жорж,

оговорил заранее, что делает это сам, чтобы никто другой (а кто другой? Других нет! Есть только я — единственный оставшийся в живых свидетель) не рассказал ему эту подлинную правду.

Да, а ведь Расскажи я племяннику эту самую подлинную правду, что все мы — мама, Вовка, я и отец — могли уйти из жизни по трезвому решению отца (хоть он и был в тот день пьян), ради того, чтобы никто из нас не угодил в тюрьму, не был выслан из Москвы или просто расстрелян (все немцы накануне Великой Отечественной войны были на прицеле), он бы не поверил. Я, конечно, ничего этого знать не могла, как и Вовка: мне было всего десять лет, а ему — пятнадцать. Однако Вовкина оценка отца, которая последние годы меня особенно раздражала (он называл его ничтожеством), оказалась бы для его жены и сына очевидной неправдой, а попросту — враньем. Что и случилось на деле, когда бумаги отца были получены племянником в архиве Министерства обороны в Подольске, если, конечно, Жорж говорит правду, и они не были отданы самим Жоржем в тот же поздний час ночи после того, как он получил их от меня. Очень может быть, что именно поэтому Жорж так старался получить их у нас той ночью, во что бы то ни стало, чтобы передать племяннику, который сам их никак получить не мог. А получив их от Жоржа, естественно, озабочился: «Как мог такой герой Гражданской войны пойти на убийство своей семьи?»

Именно это спрашивал мой племянник, опять же, по словам Жоржа, у своей матери (брат уже тогда умер), которая сказать ничего мудрее, как «Сошел с ума!» или «С ума сошел!», не могла.

— Так что, как говорят, по всем параметрам выходит, что именно Владимир положил конец наездам Жоржа в Москву. Ну зачем ему, чтобы после его смерти некий

Жорж общался с его семьей, особенно с сыном? Андрей не слишком здоров. Жена тоже плоха и стара. А тут еще время от времени их будет навещать военно-морской атташе, пусть даже в отставке. Думаю, так! Скорее всего, так, — сказала я.

— Ну, а какие рычаги он использовал? — спросил меня муж.

— Да, похоже, они у него были! — ответила я.

XXV

Теперь наши восстановленные дипломатические и культурные отношения с Португалией, да и читательский интерес к издаваемой в Советском Союзе португальской литературе побудили (так думаю я) Государственный комитет по печати включить меня в группу португалистов, ехавших в 1978 году на стажировку на филфак Лиссабонского университета. Группа состояла из двух преподавателей португальского языка Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза, одной сотрудницы Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы и еще одного молодого человека, которого я никогда раньше как португалиста не знала и никогда позже не видела ни на каких «посиделках» ни в португальском Посольстве, ни в Московском государственном университете, где позже стали проходить «Камоэнсовские чтения».

Цели и задачи у каждого из нас, ехавших на стажировку в Лиссабонский университет, были свои, как и избранные каждым из нас лекции, семинары и практические занятия, проходившие в разных аудиториях и в разное время. Я выбрала для себя историю и литературу страны, кто-то — лингвистику, а кто-то... не пом-

ню что. Так что виделась я со своими спутниками только рано утром, когда мы вставали и, позавтракав, отправлялись пешком (в целях экономии) в университет, или поздно вечером, когда я отходила ко сну, вернувшись после вечерних встреч с португальскими писателями или знакомыми мне по работе в Москве корреспондентами Игорем Фесуненко и Владимиром Резниченко (Резниченко возглавлял тогда Международный корпункт в Лиссабоне), которые старались показать мне не только Лиссабон и его пригороды, но даже Кабо-да-Рока — самую западную точку Европы.

— Да, — сказала мне, узнав о моих поездках, Екатерина Осемян, преподававшая в те годы русский язык в Лиссабонском отделении «Общества дружбы СССР — Португалия», — за этот месяц ты повидала в Португалии столько, сколько не увидели живущие здесь годами наши посольские!

Думаю, именно это и вызывало у моих товарищей (хочу надеяться) добрую зависть. И когда они однажды попросили меня, чтобы кто-нибудь из «моих писателей» пригласил всех нас послушать фад¹, я обратилась к Урбано, который тут же, переговорив со своими университетскими коллегами (он преподавал в Лиссабонском университете литературу), организовал нам этот «культпоход». Товарищи мои остались очень довольны, а я была тому очень рада.

В тот же 1978 год в Лиссабоне я свела знакомство не только с Жоакимом Пасо Д'Аркосом, но и с широко известным в Португалии прозаиком Фернандо Наморой.

Будучи директором «Португальского института книги и библиотек», Намора конечно же бывал в Москве, но так и не побывал в издательстве «Художественная литература», где стремился побывать каждый приез-

¹ Фад^о — португальская народная песня.

жавший к нам в страну зарубежный писатель. У него была своя переводчица, печатавшаяся в «Прогрессе», как когда-то свой — у Жоржи Амаду. Иметь своего переводчика, конечно, неплохо, даже хорошо, если он духовно близок писателю и не только понимает его, но и способен художественными средствами своего родного языка адекватно передать содержание и дух оригинала. А то ведь нередко случается, что давно известный читателю автор в переводе другого переводчика вдруг открывается как совершенно новый и никому неведомый. На эту тему можно говорить много, многолетний редакторский труд дает мне на то полное право, но сейчас о другом.

Так вот, вопросов у меня к Фернандо Наморе не было (к тому времени я перевела только один его рассказ), но желание наконец встретиться возникло как у него, так и у меня. Созвонившись со мной по телефону, Намора сказал, что только что прилетел, что в дороге у него пропал чемодан, потом еще какая-то неприятность, но все это не мешает нашей встрече. И на следующий день я уже была у него дома, двери которого для меня были широко распахнуты, что было очень приятно. С Фернандо Наморой мне было легко и просто, как и с Жоржи Амаду, который оказался у него в гостях и все время надо мной и над ним подтрунивал: «Хочешь, чтобы она тебя опубликовала в «Художественной литературе»? Опубликовать-то опубликует, а вот гонорара у нее не получишь». (Женевская конвенция, к которой мы присоединились в 1973 году, позволяла нам публиковать бесплатно все произведения иностранных авторов, появившиеся в печати до этого года.)

Конечно, Намора хотел быть опубликованным в издательстве «Художественная литература» и, конечно, сожалел, что в «Радуге» его произведения не выйдут в серии «Мастера современной прозы». «Почему, Лили-

ана? — спрашивал он меня позже в письме и ревниво продолжал: — А Вержилио Феррейра в серии остался!» — «Будем думать о вашем двухтомнике в «Художественной литературе», — писала я ему в ответ, — и надеяться, что все будет хорошо». И двухтомник вышел в «Худлите» в 1988 году¹, но Фернандо Наморы в этом же году не стало. Зная об остававшихся ему считанных днях, я приложила максимум усилий, чтобы как можно скорее через португальское Посольство ему отправили полученный издательством сигнальный экземпляр его двухтомника.

Спустя какое-то время пришло письмо от Зиты — супруги Фернандо. Она писала мне, что двухтомник их очень порадовал, он сделан с большим вкусом (художник-оформитель получил серебряную медаль!), но сожалела, что сам Фернандо написать мне обо всем этом уже не может: он не встает с постели, его мучают страшные боли, их глушит только морфий, от которого он все время впадает в забытие. «И все же, — продолжала Зита, — в минуту проблеска сознания Фернандо прошептал мне, глядя на книгу: «Лилиана здесь, вот она, присутствует при моей смерти».

С Вержилио Феррейрой я познакомилась тоже в год моей стажировки в Лиссабонском университете. Тогда я как раз переводила его роман «Явление», и у меня к Вержилио было много вопросов по тексту, дышавшему ароматом португальской земли, ее историей, реалиями, и изобиловавшему языковыми трудностями интеллектуального романа.

Наша встреча произошла без каких-либо сложностей: я позвонила Вержилио, сказала, кто я, в какой гос-

¹ В двухтомник Фернандо Наморы вошли пять романов, рассказы и стихи. Два романа: «Хлеб и плевелы» и «Река печали» — в моем переводе.

тинице остановилась. Он тут же приехал, точно давно ждал меня. Все было просто, непринужденно, как между старыми добрыми друзьями: договорились поработать у него дома.

И вот, когда мы с Вержилио, сидя в его лиссабонской квартире, разбирали не понятые мною кусочки текста, он неожиданно принял решение показать мне место действия романа — древний город Эвору, его собор, храм Дианы и дать мне подышать воздухом лица, где учительствовал герой романа, а когда-то и сам Вержилио.

«Едем завтра же, рано утром, пока не очень жарко!» — сказал он.

Из Лиссабона мы действительно выехали очень рано, выпили кофе в маленьком пригородном кафе и двинулись дальше. Миновав мост через Тежо у городка Вила-Франка-де-Шира, мы через некоторое время оказались среди моря хлебов, сохнувших под палящим солнцем провинции Алентежо — португальской житницы. Был конец июля. Жара стояла адова, плотная, недвижимая, но обычная для этих мест. «Будет легче, если сбросить туфли», — сказала мне Режина, супруга Вержилио — и тут же сделала это. Я последовала ее примеру. И так мы ехали навстречу накатывающим на машину волнам солнечного света. В надежде на порыв ветерка Вержилио увеличивал скорость, но густой воздух только обжигал наши лица, а на обочинах дороги сочувственно провожали нас парализованные солнцем деревья, прятавшиеся в их кронах птицы, и тысячами мелких солнц вспыхивали желтые кусты душистого португальского дрока. И вот на холме показался город Эвора.

В Эвору — этот город с запутанной, как старые силки, сетью улиц, руинами, полуразрушенными арками, молящимися фигурками святых в нишах и потаенными глазницами готических окон — мы въехали в пол-

день. Поднялись по улице к церкви Святого Франциска, потом повернули к площади, на которой высятся уцелевшие колонны храма Дианы — молчаливого образа ушедших веков, — какое-то время постояли, вслушиваясь в шелест листвы древнего, давно уже не существующего здесь леса, и пошли по торопливо бегущим вниз улочкам к лицу. Лицей был пуст — каникулы, но служитель, узнав Вержилио, тут же с большим почтением провел нас во внутренний дворик, показал аудитории и то, что интересовало меня, и то, на что хотел обратить мое внимание Вержилио. Да, о подобном я, как и любой другой переводчик, могла только мечтать. Весь день мы провели в Эворе. Бродили вдоль средневековых стен и под аркадами древнего города, стояли под молчаливыми сводами главного нефа собора и сидели на его пустующих скамьях. А когда вышли, Вержилио подвел меня к каменной чаше с водой и сказал: «Смочи пальцы и поднеси ко лбу». И тут же, видя мое изумление, добавил: «Нет, нет, Лилиана, не для того, чтобы осенить себя крестом, а чтобы стало прохладнее. В Португалии давно никто не верит в Бога. Всемогущий Бог — это Человек!» К вечеру, когда спала жара, мы обедали в маленьком уютном ресторанчике, а когда стало смеркаться, поднялись на вершину Сан-Бенто, чтобы посмотреть на искрящийся, словно бриллиантовая брошь, город, и двинулись в обратный путь в Лиссабон.

Вот так началось наше знакомство и большая дружба с Вержилио Феррейрой, поддерживаемая частой перепиской, но, к сожалению, редкими встречами.

Москву Вержилио Феррейра посетил дважды. Первый раз — в 1981 году проездом на конгресс «Международной ассоциации литературных критиков», проходивший в Алма-Ате. Союз писателей попросил меня встретить его в аэропорту и проводить до гостиницы

«Россия», откуда утром следующего дня в числе других приглашенных он должен был вылететь в Казахстан. Пока шофер Союза писателей вез меня в аэропорт, я почти сожалела, что надела шубу, а когда приехала и вышла из машины, обрадовалась: на улице сильно похолодало и сыпал мелкий колючий снег. Подняв воротник, я старательно высматривала Феррейру, ведь он, если бы я его не окликнула, мог, миновав турникет, пройти мимо меня.

— Я бы тебя не узнал в шубе-то, — сказал он мне, здороваясь, — как у вас холодно! Вержилио был без головного убора и в демисезонном пальто.

— Пошли скорее в машину, — крикнула я ему.

К гостинице «Россия» мы, как казалось Вержилио, ехали бесконечно долго. Скупое освещенный длиннущий Ленинградский проспект, похоже, начинал раздражать его: «Где мы, в городе? А почему так темно?» Действительно, не в пример европейским столицам, наша тогда еще не сверкала многоцветными зазывными рекламами магазинов, ночных клубов, баров, ресторанов, игорных домов, приглашающих богато, весело и красиво провести спускавшуюся ночь. И Вержилио, чувствуя себя неуютно, набычившись, молчал почти всю дорогу.

— А вот и гостиница «Россия», приехали наконец, — обрадовал нас шофер.

Теперь, когда принимавший писателя переводчик беседовал с администратором, оформляя Вержилио номер, мы с ним, удобно устроившись в креслах, разговаривали ни о чем и обо всем сразу. Потом, посмотрев на часы, Вержилио ахнул:

— Уже половина двенадцатого ночи. Лилиана, тебе, надо ехать домой. Я здесь как-нибудь сам справлюсь. А по возвращении позвоню. Поезжай, поезжай немедленно.

По возвращении из Алма-Аты Вержилио действительно позвонил мне. А на следующий день мы с ним, получив гонорар (естественно в рублях!) в издательстве «Художественная литература», отправились в универмаг «Московский», чтобы его немедленно истратить: послезавтра Вержилио улетал в Лиссабон и сегодня хотел купить жене шубу.

— Такую же, как у тебя, — сказал он. — Этих денег хватит?

— Нет, конечно! — ответила я. — Гонорар же поощрительный, он маленький.

Пришлось Вержилио обойтись мелкими подарками: каракулевые пластины жене, каракулевую шапку невестке, сыну он вообще категорически отказался что-либо покупать.

— Прежде я хочу купить подарок тебе. Говори, что, иначе я прекращаю покупки.

Пришлось сказать, что больше всего мне нужны ортопедические ботинки для внучки.

— Ну так идем в детский отдел и покупаем!

— Нет, Вержилио, у нас в магазинах ортопедической обуви не бывает.

— Как такое может быть?! Тогда дай мне все размеры, я вышлю из Португалии. И выслал две пары, одну поменьше, другую побольше. Не ботинки, а чудо, вернее, сотворившие чудо, — ребенок твердо встал на ноги и пошел.

Потом мы обедали у нас дома. Приготовленное мной мясо Вержилио не понравилось.

— Жестковато, Лилиана, — заявил он, — и как его можно есть без сухого вина? Да у меня желудок не переварит!

Сухого вина достать мы не смогли. То был год «сухого закона» по-горбачевски: виноградная лоза пошла под нож.

— Как такое может быть?! И никто не протестует?! — И тут же спросил, как бы воспользовавшись возможностью узнать из первых рук то, что его интересовало: — А диссиденты? У вас есть друзья диссиденты?

Нет, друзей диссидентов у нас не было, разве что один мой товарищ по театральному кружку Дома пионеров имени Павлика Морозова стал диссидентом. Тогда, принимая Вержилио у себя дома, я о нем не подумала, а сейчас, когда пишу эти строки, вспомнила, зная, что Кости уже нет в живых.

Вспомнила, как пришел он ко мне в далекой юности объясняться в любви, почему-то босиком. Дождь? Но босиком он шел от Зоопарка до Никитских ворот! И преподнес мне акrostих. Невероятно, но сорок пять лет спустя в 1991 году, перед самым моим отъездом во Францию, он позвонил мне:

— Лиля, это говорит Костя...

Других знакомых с именем Костя у меня не было, но я все-таки спросила, бывают же совпадения:

— Какой Костя?!

— Бабицкий! Ты знаешь, я — почетный гражданин Праги! Какой замечательный город! Какая замечательная страна!

(Позже я прочла об этом в газетах.)

— А ты где, в Праге? — спросила я. — Чем занят? Пишешь стихи?

— Нет, я — дома, в Москве, я — инвалид. Стихов не пишу, а те, что писал, взяли при моем аресте.

— Так можно же восстановить по памяти.

— У меня с ней плохо, очень... Я снова женился, растет маленький ребенок...

— Так на что же ты живешь?

— На помощь друзей, а теперь вот и Чехословакии! Ну, а ты, ты-то что делаешь? — спросил он.

— Перевожу португальскую литературу, у меня много книг...

— Да-а-а, — оторопело произнес он и умолк.

Похоже, он звонил, чтобы сообщить, что наконец состоялся. Печально, а ведь он писал стихи, и очень неплохие стихи.

Вспомнила я и еще одного диссидента, с которым мне довелось познакомиться и общаться в издательстве «Художественная литература».

Дело было так. Однажды заведующий нашей редакцией Столбов, вызвал меня в свой кабинет.

Войдя, увидела, что он в кабинете не один, а с каким-то автором, которого я не знаю.

— Садитесь, Лилиана Эдуардовна, — сказал он мне совсем улыбочиво. — Это наш будущий автор! — И не представив мне будущего автора, продолжил: — Вот у вас там, в сборнике «Португальская поэзия XX века» есть переводы Якобсона. Нам, пока еще идет верстка, необходимо заменить их. Почему? Причина вам известна: Якобсон уехал в Израиль. Вот вам новый переводчик (кажется, тут он назвал одну из распространенных русских фамилий: Иванов, Петров, Сидоров, точно не помню). Что касается португальского, вы ему поможете, я знаю. Так что давайте ему тексты, пусть пробует. Надеюсь, вы останетесь его работой довольны.

Я внимательно посмотрела на нового автора и, отдавая себе отчет в том, что это приказ начальника, сказала:

— Хорошо, пусть попробует. Зайдите, пожалуйста, в редакцию, я дам вам тексты.

Когда новый автор вошел в редакцию, наши редакционные дивы молча улыбались: автор им явно был известен.

Тексты я дала. Новый автор ушел. Тишина в редакции стояла гробовая.

Почесав в затылке (иносказательно, конечно), я пошла в кабинет к заведующему.

— Валерий Сергеевич, что Якобсон уехал в Израиль, мы все знаем, а этот что, не уедет? Не пришлось бы нам на стадии сверки давать подстрочник еще кому-нибудь!

— Нет, Лилиана Эдуардовна, этот уже приехал, из ссылки. Это Юлий Маркович Даниэль, но мы в содержании книги дадим: перевод Ю. Петрова. Таков приказ директора.

Позже, будучи в дружеских отношениях, мы с Даниэлем неоднократно встречались не только в издательстве, но и в Доме творчества «Коктебель».

Так вот, не услышав ничего о диссидентах, Вержилио Феррейра высказал свое недоумение по поводу голых стен нашей квартиры.

— Где же картины художника?

Да, тогда в нашем доме картин мужа еще не было. Он говорил, что не может их видеть дома, глаз должен дома отдыхать.

— Он — монументалист, — сказала я, и мы показали Вержилио книгу «Монументальное искусство СССР», слайды и фотографии его работ в разных городах страны. — Потом, у него мастерская на Юго-Западе, и все работы там.

Вержилио этот ответ не удовлетворил.

— Ну а фотографии семьи, родителей, дедов?

Не было на стенах и фотографий: мы только что сделали ремонт, и наши достойные предки не обрели еще своих мест на стенах и не взирали с них на неожиданно объявившегося у нас требовательного португальского гостя.

Разговор о литературе шел трудно: муж никакого языка, кроме русского, не знал, а я, не будучи устным пере-

водчиком, не успевала переводить их умные речи; так что они не очень-то понимали друг друга.

А вот в 1977 году у меня в гостях был португальский новеллист Урбано Таварес Родригес. В издательстве «Художественная литература» в 1977 году вышел в свет его сборник «Новеллы». Так он и мой муж, когда я ушла на кухню, прекрасно общались: эмоциональность и хорошее знание произведений европейского изобразительного искусства помогали им обходиться без переводчика. И ко мне на кухню, где я готовила нам ужин, то и дело доносились слова: «Desastres de la Guerra!»¹, Ван-Гог! Гоген! Эль Греко! И смех людей, довольных, что они понимают друг друга.

Конечно, понимать эмоциональные всплески собеседника или его философию — вещи разные. А разговор с Вержилио шел о современном романе, Хемингуэе, Ремарке и самом Вержилио Феррейре, считавшем себя учеником Достоевского.

— Нет, — сказал Вержилио, — все это очень интересно, но о таких вещах нужно говорить на одном языке.

Улетал Вержилио утром следующего дня, но мы простились с ним накануне, проводив его до «России» и пожелав счастливого пути и скорой встречи в Москве.

Урбано же вообще был очень легок в общении, он считал себя моим другом: я — первая перевела его рассказы, он — первый из португальских писателей приехал в Советский Союз. Возможно, все это и наша непринужденная переписка дали ему право считать, что он может предугадывать мои желания. А потому, когда я приехала в Лиссабонский университет, Урбано выдвинул свою программу нашей встречи, от первого пункта которой я тут же решительно отказалась, и к нему мы

¹ «Ужасы войны» (исп.) — серия офортов Франсиско Гойи.

больше никогда не возвращались, хотя по дороге на обед (обед был вторым пунктом) он вдруг завернул в бассейн. «Зачем?» — спросила я. «Хочу искупаться». Усадил меня в шезлонг против вышки, с которой прыгнул, проплыл (все очень красиво), вышел из воды, подошел ко мне еще в плавках, потом быстро оделся и, уже сидя в машине, сказал:

— Как видишь, я еще вполне молод!

— А я и не сомневалась, — ответила я.

В университете мы пробыли какое-то время, а когда стемнело, поехали смотреть вечерний Лиссабон — вначале из окна его машины: мы ездили по центральным улицам и площадям города, затем поднялись на смотровую площадку замка Сан-Жорже и оттуда сверху смотрели на залитый светом, искрящийся город, реку Тежо и стоящие на ней пароходы. Около полуночи мы отправились слушать фадю.

Заведение находилось в уютном подвальчике, живо напомнившем мне подвальчики Вильнюса. Три или четыре, а может и больше, небольшие комнаты с низким сводчатым потолком и сводчатыми дверными проемами, столики на двоих, троих, четверых, бар, стойка. В избытке португальские вина, фрукты и все прочее. Столик, похоже, Урбано заказал заранее, так как, когда мы вошли, ни одного свободного, кроме этого, не было. Царившая обстановка говорила, что до нашего прихода уже немало было выпито и спето: на небольшом возвышении отдыхали музыканты. Как только мы сели, появился певец, поклонился нам с Урбано (они были знакомы) и запел. Запел протяжное тоскливое фадю, звуки которого тут же заполнили все уголки помещения — потрясающая в этом подвальчике была акустика! и, казалось, рвались наружу.

Присутствовавшие безумствовали: хлопали в ладоши и по столам, что-то выкрикивали и тут же затихали, как

только фадист начинал петь снова. В два часа ночи, когда накал страстей достиг апогея и было спето фадо «Lisboa menina e moça»¹, которое я хотела услышать, мы потихоньку вышли и уехали.

Второй раз Вержилио посетил Москву в 1986 году в составе группы деятелей культуры, сопровождавших его Превосходительство Президента Португальской республики, доктора Марио Соареша.

По этому случаю я с супругом была приглашена в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, где открывалась выставка «Современная португальская живопись», и на прием в Посольство. Когда же в португальском Посольстве меня в числе других приглашенных знакомили с президентом и представили как переводчицу произведений Вержилио Феррейры, его превосходительство просто, непринужденно крикнул: «Вержилио, где вы?! Здесь Лиλιана!»

— Вы уже виделись? — спросил он меня.

— Да, — ответила я, — мы виделись еще в Музее имени Пушкина.

Здесь же, в Посольстве, я преподнесла Вержилио том его произведений, только что изданный в издательстве «Радуга» в серии «Мастера современной прозы». Он очень обрадовался, но, сказав, что устал, сел в сторонке и с удовольствием стал листать книгу, в которую вошли: романы «Явление», «Краткая радость» (в моем переводе), «Знамение-знак» (в переводе В. Федорова) и рассказы.

Никак не думала, что эта наша встреча с Вержилио окажется последней, тем более что предполагалась моя новая поездка в Португалию. Но человек предполагает, а Бог располагает... В 1997 году Вержилио

¹ Здесь: «Вечно юный Лиссабон» (*португ.*).

Феррейра ушел из жизни, а я до сих пор продолжаю бороться за жизнь его произведений в нашей стране.

Во время моей стажировки в Лиссабоне я встретила и с уже знакомым мне по Москве переводчиком русской литературы Мануэлом Сеаброй.

— Сегодня я без машины, — сказал мне Мануэл, поджидавший меня у гостиницы, где мы поселились с моими товарищами по стажировке, — так что поедem ко мне на португальской электричке, будешь набираться опыта, как ездить ко мне в гости на общественном транспорте.

Ради практики он предпочитал разговаривать со мной по-русски (кстати, говорил неплохо), и наш русский всю дорогу до Каскайса — красивого курортного городка на берегу Атлантики, где жил Мануэл Сеабра, — вызывал явное любопытство у сидевших рядом пассажиров.

— Ну вот, сейчас увидишь мою двухкомнатную квартиру, очень похожую на московские двухкомнатные, в которых мне довелось бывать во время моих визитов в СССР, — сказал он, открывая дверь.

В Барселоне у него была другая квартира. Переводя русскую литературу на португальский язык, Мануэл еще был и корреспондентом одной из барселонских газет, в которой каждую неделю вел свою колонку.

Мы говорили о замкнутом образе жизни писателя-переводчика и его сознательном самозаточении, без которого не переведешь и не напишешь ни строки, особенно если переводишь классику. (Тогда я переводила новеллы португальского классика XIX века Эсы де Кейроша.)

— Но это самозаточение подчас становится для меня уж очень мучительным, — сказала я.

— Когда такое со мной случается в Португалии, — ответил мне Мануэл Сеабра, — я сажусь в поезд и еду в Испанию.

Зная, что я перевожу Феррейру, Намору, Тавареса Родригеса и других современных писателей, он, с нарочитым возмущением спрашивал:

— Кто такие?! Из современных — самый талантливый Мануэл Сеабра! Слушай, а сколько страниц ты переводишь в час?

— Зависит от автора, — отвечала я, — от сложности его текста, стилистики, наконец, созвучности вещи мне, переводчице...

— А для меня закон, — сказал он, — час — страница! И прямо на машинку!

Минутой раньше я сказала ему, что не перевожу на машинку: ее ритм сбивает меня с ритма переводимого текста. Я не стала говорить ему о русских переводческих школах, искусстве перевода и муках творчества: ведь за какие-то муки он получил в СССР «Премия имени Горького». Потом, возможно, сказанное было бравадой, ведь Мануэл хорошо понимал, что переводчику нужно знать страну, литературу которой он переводит, ее культуру, особенности быта и нравов.

— Тебе надо бы сходить на бой быков, — сказал Мануэл, — увидеть все своими глазами. У нас он, конечно, не такой, как у испанцев, но тебе нужно видеть наш, португальский.

Услышав сказанное Мануэлом, я тут же вспомнила, как два дня назад президент Лиссабонской академии наук Жасинто до Прадо Коэльо (мы в обеденное время сидели с ним в одном из ресторанчиков Лиссабона, находящегося неподалеку от Кампо-Пекено, где проходит португальская коррида) спросил меня не без тревоги в голосе:

— Неужели и вы, Лилиана, пойдете смотреть это чудовищно безвкусное зрелище?

— Конечно, пойду! (Билет уже лежал у меня в сумочке.) Мне же нужно видеть все своими глазами, чтобы безошибочно переводить португальскую литературу.

— А еще, — сказал Мануэл, неплохо бы тебе побывать в таверне рыбаков и, конечно, съездить на Кабо-да-Рока — самую западную точку Европы — она ведь у нас, в Португалии.

В таверне мы с ним посидели в тот же вечер.

— Ты с Пасо Д'Аркосом ела бакалао¹, приготовленный для аристократов, а вот попробуй-ка то, что едят рыбаки, ты же переводишь Редола².

Не могу сказать, что треска по-рыбацки мне понравилась. Правда, именно из романа Редола «Яма слепых» я знала, что она готовится не из свежей, а из вяленой рыбы. Но, даже сдобренная оливковым маслом и запиваемая португальским вином, она просто застревала у меня в горле.

Позже, не помню, какой это был год, Мануэл был в Москве у меня в гостях, и я потчевала его теми блюдами, зная которые ему было необходимо для его переводов: борщом, солеными огурцами, гречневой кашей и прочим.

— А где галушки? — сказал он и уставился на меня своим стеклянным глазом (один глаз у него был искусственный).

— Галушки — блюдо украинское, — сказала я ему.

Потом, увидев висящий у меня на стене сертификат о посещении мной самой западной точки Европы, воскликнул:

— Все-таки съездила!

— Да, съездила.

Тот день, когда Игорь Фесуненко повез меня на Кабо-да-Рока, солнечным не был. Всю дорогу небо хмури-

¹ Бакалао — треска по-португальски.

² Антонио Алвес Редол (1911–1969) — португальский писатель-неореалист. Его роман «Яма слепых» вышел в моем переводе в серии «Мастера современной прозы» в издательстве «Радуга» в 1982 году.

лось и дул хоть и слабый, но нестихающий ветерок. Потом его сменил порывистый ветер, который крепчал с каждой минутой и гнал черные, тяжелые тучи, быстро закрывавшие горизонт. Когда же мы достигли края земли («Земля достигла там предела...» — писал португальский поэт-романтик XIX века Алмейда Гарретт), то ничего, кроме простирающегося во все стороны Атлантического океана, волны которого с яростью бросались на вторгшуюся в его пределы дыбившуюся скалу, да свирепо воющего шквального ветра, не было ни видно, ни слышно.

Как мы добирались с Игорем на его машине обратно в Лиссабон, помню плохо. Но сертификат, скрепленный сургучной печатью, свидетельствующий о том, что я, Лилиана Бреверн, посетила Кабо-да-Рока — самую западную точку Европы, где кончается земля и начинается море, откуда вера и жажда приключений влекли португальские каравеллы на поиски новых, еще не открытых земель, — висит на стене у моего письменного стола.

Из Лиссабона по окончании стажировки я уезжала с чемоданом, набитым книгами. Мы с моими товарищами с трудом сумели закрыть его. А когда я вернулась в Москву, то ко мне пачками стали приходить письма португальских писателей. Писали мне все — как старые заслуженные прозаики и поэты: Жозе Гомес Феррейра, Ромуло Карвальо, Жоаким Пасо Д'Аркус, София де Мело Брайнер Андресен (кстати, во время своей стажировки я была приглашена к ней на домашний обед. В сборе была вся семья, кроме мужа Софии, члена правительства, который, как я подумала, решил избежать встречи с коммунисткой, каковой я не являлась), так и молодые (относительно, конечно): Вержилио Феррейра и Жасинто до Прадо Коэльо, Урбано Таварес Родригес и Марио Клаудио, и будущий нобелевский ла-

250

уреат Жозе Сарاماго, ну и, конечно, Жоржи Амаду, который по полгода блаженствовал в Лиссабоне, где купил себе дом.

Писем и бандеролей было так много, что на Главпочтамте, похоже, уже наизусть знали мой адрес и всегда исправляли вкравшиеся в его индекс ошибки.

Все письма были деловые и, как правило, сопровождали только что вышедшие в свет и отправленные мне книги. И почти каждое письмо дышало дружбой, ну и, естественно, надеждой на мои издательские возможности.

Переписывалась я со всеми по-португальски. Получив мое первое письмо, Фернандо Намора тут же незамедлительно мне ответил в своем, что приятно удивлен «флюэнсией» моего португальского даже в письме. Это было, как я поняла, наивысшей похвалой моему перу. Мне же, в свою очередь, в своих ответных письмах частенько приходилось смирять писательскую зависть к тому или другому собрату по профессии, произведения которого издавались (как кому-то из них казалось) много чаще, чем его, объясняя, что во всех случаях при составлении издательского плана я руководствовалась интересами русского читателя.

Много позже, где-то в начале 2002 года, меня в моем доме посетили первый секретарь посольства Португалии (она же советник по культуре) Анна София Карвальоза и Фатима Пиньейро, представительница Института Камоэнса, желая воочию увидеть все изданные в издательстве «Художественная литература» португальские книги. А увидев их: отдельные издания, двухтомники, собрания сочинений и художественно иллюстрированные издания, например, «Сказки и легенды Португалии», и поэзию Луиса де Камоэнса (XVI в.), Мануэла Марии Барбоза ду Бокаже (XVIII в.), Фернандо Пессоа (XX в.), сборники «Лузитанская лира», «Порту-

гальская поэзия XX века», двуязычный двухтомник «Поэзия Европы XIX–XX вв.», а также пачки писательских писем, которых оказалось более двухсот, — они были потрясены всем тем, что было сделано мною и издательством «Художественная литература» в советское время.

В постсоветское время я, уйдя в 1989 году на вольные хлеба, сотрудничала как переводчик с португальского с издательствами «Локид», «Олма-Пресс», «Аграф», «Б.С.Г.-Пресс» и «АСТ», где у меня вышли произведения Жоржи Амаду, Жозе Родригеса Мигейса, Вержилио Феррейры и всю жизнь любимого Эсы де Кейроша.

Сегодня я почти не получаю писем из Португалии. Большинство работавших со мной писателей уже давно нет в живых. Это так! Но они продолжают жить в своих книгах, стоящих на полках Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино и российских читателей, включая, естественно, и меня.

XXVI

В мае 1979 года я должна была поехать в Испанию, но теперь от «Общества дружбы СССР — Испания».

И директор издательства Валентин Осипов, взяв в руки мою характеристику, предназначенную для подачи в райком партии, через который проходили все выезжавшие за рубеж, даже беспартийные, взвился на дыбы и заявил:

— Что же это вы то в Португалию, то в Испанию, не слишком ли много?

— Я же беру дни в счет очередного отпуска, — ответила я «хозяину» (не иначе) издательства «Художественная литература», вверенного ему государством.

— Не подпишу! — сказал он четко и твердо. — Я тоже хочу в Испанию!

— Идите к парторгу, — продолжил он. (И это при том, что я не член партии!)

Я пошла.

— Лиля, на носу выборы, — сказала парторг на полном серьезе и даже с озабоченным видом, — в местные органы власти. Идет агитационная кампания. Вы же — агитатор. Вы должны обойти квартиры своих избирателей...

— Они не мои избиратели, я никуда не баллотируюсь. И агитаторов из нас, беспартийных, делаете вы, партийные, вынуждая нас ходить по коммунальным квартирам и выслушивать жалобы жильцов, что у них текут батареи, не работает канализация и что они не придут на выборы, если все это им не починят. А им действительно не починят, их надо просто переселять из этих подвалов, и все! Не в моих правилах обещать то, что не в моих силах исправить. И вообще, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Все это я сказала парторгу и директору.

— Тогда мы (уже мы!) не подпишем вам характеристику для райкома партии.

— Ну, если не подпишете, тогда я немедленно еду к зампреду Комитета по печати Небензе.

С Небензей я была знакома по моей поездке в Португалию на стажировку.

— Ну-у-у, поезжайте, — несколько неуверенным тоном сказал мне директор Валентин Осипов.

И я поехала. Небензя меня выслушал, посмеялся и сказал:

— Поезжайте, Лилиана Эдуардовна, в издательство, все будет в порядке.

Когда я вернулась в издательство и вошла в редакцию, на моем столе уже лежала характеристика, подпи-

санная издательской тройкой. Ничего не скажешь: Небензя умел управлять подведомственными ему организациями.

И я поехала в Испанию. Мадрид, Толедо, Ла-Манча, Сьюдад Реаль, Альбасете, Аликанте, Валенсия, Террагона, Барселона.

Группа, состоявшая из представителей интеллигенции Грузинской, Латвийской, Белорусской ССР и Карельской АССР, Москвы и Ленинграда (в те годы это был так называемый «деловой туризм»), была профессионально разнообразной и человечески приятной. Это были врачи, преподаватели университетов, юристы, искусствоведы и даже (надо же!) священнослужитель из Петрозаводска. Да, да, и это по тем-то советским временам. Молодой, представительный, красивый человек был одет в повседневную одежду.

Кто-то из группы сказал, что он — главное действующее лицо в нашей поездке. Как говорится, гвоздь программы! И как только мы приедем туда, где будут проходить его встречи со священнослужителями и прихожанами церкви, он облачится в рясу и все остальное, приличествующее данному случаю.

Так вот, самолет, на котором мы летели в Испанию, благополучно приземлился на испанской земле.

— Мадрид! Мадрид! Мадрид! — кричали мы все и хлопали в ладоши, как дети.

Здесь, в этом красивом, шумном и кипящем жизнью городе, мы были прекрасно устроены и вкусно (относительно, конечно) накормлены. Относительность касается такого кушанья, как паэлья (пилав), которое я называла рисовым кошмаром. Его специфический запах даров моря я переносила с трудом и, поглядывая на нашего шофера, который заказывал себе мясо с картошкой и много-много зелени, просила официанта принести

мне такое же блюдо, как и шоферу, что чуть позже, в Барселоне, спасло меня от отравления. Кроме того, здесь, в Мадриде, мы при желании могли, воспользовавшись городским транспортом, через две-три остановки оказаться в центре города на Пуэрта дель Соль. Правда, каждое утро после завтрака нас возил по городу предоставленный автобус с водителем, с которым я тут же вступила в контакт, произнеся несколько испанских фраз с португальским акцентом, после чего он наотрез отказался признавать меня русской и всю дорогу обращался ко мне не иначе, как «эта португалка».

Так вот, каждый день с утра мы ехали то к Королевскому дворцу, то в парк «Ретиро», то на Пласа Майор, то в музей «Прадо».

Хорошо зная, что в поездке по Испании на меня как на испанистку никакой ставки не было и не будет, я честно отдыхала, познавая окружающий меня испанский мир во всех его проявлениях, и была весьма довольна собой даже тогда, когда, помогая проживавшей со мной в номере женщине-хирургу купить в одном из мадридских обувных магазинов туфли (правда, сорокового размера), натолкнулась на грубость испанского продавца: «Наши испанские женщины, — сказал он, — таких размеров не имеют!»

«А у нас в СССР, — ответила я ему на чистом испанском без португальского акцента, — имеют и работают хирургами, оперирующими вас, мужчин». — И попросила его впредь быть вежливее с гостями города, чем явно его смутила.

Из Мадрида мы двинулись в Толедо все на том же прекрасном автобусе, оснащенном уже тогда, как теперь у нас говорят, аудио-видеоаппаратурой, под мечтательную музыку Сарасате¹ и гитару Сеговии².

¹ Пабло Сарасате (1844–1908) — испанский композитор и скрипач.

² Андрес Сеговия (1893–1987) — испанский гитарист.

Теперь по правую сторону шоссе (я всегда сажусь на сиденье справа) навстречу мне со скоростью нашего автобуса неслись огромные черные рекламные быки, завораживавшие меня красным отблеском своих больших стеклянных глаз. А чуть дальше от шоссе, на мелькавших за окнами полях, то и дело возникали оливковые рощи и какие-то отдельные строения. Однообразие местности нет-нет да навевала сон, и я задремывала.

И вдруг на семидесятом километре пути от Мадрида на неожиданно возникшей скалистой местности, явно бросающей вызов равнине, стал вырастать стремящийся к небу древний город-крепость Толедо. Окруженный, точно рвом, бурными водами реки Тахо, город разрешал войти в него только через ворота по переброшенным высоким каменным мостам. А там, за воротами, среди зелени тополиных ветвей, цветущего миндаля и обычных для этих мест оливковых деревьев высились красавец кафедральный собор, церковь де Сан Хуан де лос Рейос и высвечивались белые толедские виллы городских и сельских жителей.

Надо же! Я увидела те самые толедские виллы! А ведь в издательстве незадолго до отъезда мной был сдан в производство роман «Толедские виллы» испанского классика XVII века Тирсо де Молины, перевод которого я редактировала, даже не мечтая, что когда-нибудь их увижу воочию. (Для переводчика и редактора это очень, очень важно!)

Да, согласно мнению испанских историков, Толедо — самый испанский город из всех городов Испании, и побывать в нем просто необходимо, даже если у тебя всего два дня пребывания в стране.

Почему-то мне кажется, что в Толедо мы приехали к вечеру (а может, потому, что здесь красного цвета земля и свинцовое небо, и это придает городу мертвен-

ную бледность), но, где ужинали, ночевали, а потом завтракали, хоть убей, не помню. Зато прекрасно помню дом и музей Эль Греко, его мастерскую с портретом святого Петра на мольберте и картину «Похороны графа Оргаса», и невероятно красивый женский портрет, написанный для картины «Святое семейство», который всегда был (естественно, в репродукции) у мужа в мастерской на виду. Ну и, конечно, невозможно забыть весь дышащий древностью город с его собором, солнечными воротами, узенькими улочками и маленькими лавочками с манящим нас, женщин, названием «Золото Толедо».

Вот в такой лавочке я и купила себе в 1979 году маленький нагрудный золотой кошелек на цепочке, который с тех пор ношу, удивляя всех и каждого чем-то никогда не виденным.

Время в поездке по Испании бежало быстро. И вот мы, распрощавшись с Толедо, уже держали путь в края Дон-Кихота Ламанчского, включающие провинцию города Сьюдад Реаль, большую часть Альбасете, Толедо и Куэнку.

Теперь здесь, на равнинных землях Ла-Манчи, нас встречают не бегущие навстречу рекламные быки, а огромные ветряные мельницы, с которыми так отважно сражался Дон-Кихот Ламанчский — герой Мигеля де Сервантеса Сааведры.

Ознакомившись со всеми достопримечательностями прославленной Сервантесом равнины Ла-Манчи, где совершал свои знаменитые подвиги хитроумный идальго, мы продолжили следовать курсом, предначертанным нам «Союзом обществ дружбы с зарубежными странами», конечным пунктом которого была Барселона.

По пути наш батюшка из Петрозаводска все время давал, как говорят теперь, «мастер-классы» своим ис-

панским коллегам и их пастве, которая, внимая хорошему испанскому этого молодого русского священнослужителя (не общаться же ему с Богом и испанскими прихожанами на старославянском!), вполне возможно, дивилась его речам и донкихотству.

Теперь наш путь лежал в Аликанте, Валенсию, Террагону и Барселону. Аликанте помню плохо. А может, мы и не были в Аликанте, а напрямик направились в залитую солнцем и обласканную теплыми волнами Средиземного моря Валенсию, в которой соединилось все: и провансальская элегантность, и итальянская непринужденность, и арабская фантазия.

В центре города, естественно, высился кафедральный собор, и именно от него расходились пути-дороги приехавшего сюда туриста. Но мы не туристы. Мы — посланцы Общества дружбы с зарубежными странами. И потому кто-то выступает в местном «Обществе дружбы Испания — СССР», кто-то изучает местные художественные промыслы и дарит русские матрешки, кто-то архитектуру, а кто-то отдыхает в шезлонге на балконе своего номера. И это я! А может, это было в Террагоне? Конечно, в Террагоне!

Выйдя на балкон, я села в шезлонг и тут же зажмурилась от бескрайней синевы морского простора, смыкавшегося на горизонте с голубым куполом неба. Красота, тишина, воздух! Да, именно здесь, в отеле «Террако», наш батюшка, окончивший МГИМО (что меня тогда потрясло до глубины души), искупался в открытом бассейне. Молодец! Ей-богу, молодец!

А вот и последний пункт нашего пребывания в Испании — красавица Барселона. Впечатляющий морской порт, площадь Испании, площадь Каталонии, недостроенный храм Святого Семейства — великое творение каталонского архитектора Гауди, Рамбла — бульвар, прогуливаясь по которому я впервые увидела таких кра-

сивых испанских женщин (к сожалению, все они оказались проститутками) и не менее красивых мужчин того же профессионального клана. (В те годы для нас, советских, подобное явление было исключительным.) Ну и, конечно, феерический фонтан и Национальный дворец на горе Монтжуик, куда нас привезли перед тем, как отправиться в аэропорт Барселоны, чтобы самолетом через Рим вылететь в Москву.

Вернувшись из Рима в Москву, я, как говорится, прямиком попала с корабля на бал, правда, прощальный, который по случаю своего отъезда из Москвы давал Его Превосходительство Посол Португалии Фернандо Магальянс Крус.

Прием был дневной. Я вошла в зал, несколько припозднившись.

Посол и его супруга были заняты гостями, которые с бокалами вина разбрелись по всем комнатам. Я стояла как неприкаянная, правда, тоже с бокалом вина в ожидании чего-то, а скорее кого-то знакомого, как вдруг Посол быстрым шагом прошел мимо меня, даже не взглянув в мою сторону. Боже! «Неужели это результат того, что я отказалась прийти на обед в Посольство после начала афганских событий и временного отъезда Его Превосходительства из Москвы?! Не может быть», — думала я. И тут же услышала:

— Лилиана! Я не узнал вас. Где вы были?!

— Я была в Испании, — ответила я.

— Отдыхала! — сказал он утвердительно.

— Отдыхала! — согласилась я.

— А мы с супругой прощаемся с Москвой и отбываем в Португалию. Наше время истекло. Будем скучать по Консерватории и Большому театру.

— А я по Вашему Превосходительству и Вашей супруге, с которой у нас оказались общие знакомые среди

португальских писателей. Ваша супруга вспоминала, как она училась с ними на филфаке Лиссабонского университета.

— Ничего, ничего, на смену нам приедут новые и тоже образованные люди и будут помогать вам в вашей городской работе. Я в этом уверен! («Блажен, кто верует!» Череды последовавших за ним Послов и их советников изданием португальской литературы в России просто не интересовалась.)

И мы распрощались без надежды на встречу; Посол был уже в возрасте и, похоже, выходил на пенсию. Да, в семьдесят девятом он выходил на пенсию, а мне в июле семьдесят девятого года исполнялось всего-то (как я говорю теперь) пятьдесят лет.

Июль — самый неподходящий месяц для любого сбора гостей. Все родственники и друзья в отъезде. Никого не собрать, как ни старайся. А тут пятидесятилетний юбилей, приказ директора и конверт с деньгами.

Ну я и устроила всем праздник в нашем чисто женском коллективе, естественно, пригласив мужской пол из других редакций на чашечку чая с пирогами и тортом собственного приготовления, фруктами и шампанским.

Пришли, конечно, самые близкие мне редакторы, корректоры, техреды, художники и даже работники АХО, которые любили меня за открытость и уважительное отношение к ним и их труду. Не сумел прийти только главный художник нашего издательства Георгий Клодт (для меня просто Юра), он последние годы болел, но сделанную мне в подарок книгу прислал со своей женой Галей.

Книга называлась «Бреверниада», ИХЛ, 1979. Открывалась она посвящением Лиле Бреверн. Потом на шмуцтитуле шел подзаголовок «Бестолковый словарь толковых понятий», в котором первые слова были взя-

ты из энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Бреверны и Бреверн де ла Гарди ведут свое происхождение от Иоанна Бревера, родом из Силезии, р. 1616, ум. 12 мая 1700 г.»

Затем следовали следующие строки: «Королевская Лиля — знак Бурбонов, Бревернов и пр. дворян, Мендес Пинто». «Странствия Бреверн», книга, перевод с португальского, «Портолиля — портвейн». «Португальская бреверна — каскадный танец обезземеленных латифундистов», «Цейхгауз, кафенгауз и т.п. — постройки особого назначения».

И все это на десяти первых страницах книги объемом в 20 печатных листов, оставленных пустыми, скорее всего, в расчете на мое собственное перо, способное их заполнить. (Сегодня я знаю, что в тот год ты, Георгий Клодт, писал книгу о своем прадеде Петре Карловиче Клодте фон Юргенсбурге.) Юрка! Ты просто меня запрограммировал. И сегодня я почти завершаю завещанное мне тобой дело. Спасибо!

Да, а помнишь, как мы — ты, Галя, Юра и я — любили ходить в горы и гулять по царской тропе в Крыму? Вы с Галей жили всегда в Гурзуфе в старом Доме творчества художников, а мы с Юрой — в новом.

Теперь у художников не осталось ни того, ни другого. Вот так!

XXVII

Где-то в середине восьмидесятых я, подсчитав объем переведенных мной произведений португальских и бразильских писателей, решила подать документы в Союз писателей СССР, выслушав советы своих друзей-переводчиков, которые со знанием дела говорили мне, что путь в Союз писателей долг и тернист для

каждого вступающего (но оставлять надежду, как понимала я, не стоит!), а для меня с таким именем, двумя отчествами и такой фамилией, да еще — редактора такого крупного издательства, как «Художественная литература», — о-со-бен-но! Кому-то из членов приемной комиссии не дала перевод, кого-то обидела правкой, а кого-то ею обделила. И этого вполне достаточно, да, да!

«Ты понимаешь, что это запоминается на всю жизнь, — сказал мне как-то Сергей Гончаренко (тогда он был членом бюро творческого перевода), — особенно у злопамятных. А потому на прохождение всех инстанций: бюро творческого перевода, приемной комиссии Московской писательской организации и писательской организации СССР потребуется время, и немалое! Так что, если у тебя уже есть необходимый листаж и рекомендации переводчика (прозаика), поэта и литературоведа, то подавай бумаги немедленно. Не тяни!»

«Не тяни! Подавай в Союз, — подбадривал меня муж, который вступил в Союз художников СССР сразу по окончании вуза и участия картины «Кореянка» на Всесоюзной художественной выставке в 1956 году в Третьяковской галерее. — Сама-то подумай, твои переводы высоко ценит Николай Михайлович Любимов!»

«И помни, — напутствовала меня Скина Вафа (переводчица с испанского, которая когда-то работала под началом все того же Столбова), — ты нажила себе ой какого врага на всю, как говорят, оставшуюся жизнь».

«Мою?» — спросила я ее с усмешкой, но не без тревоги.

«Нет, хочу надеяться, Столба!»

Так многие называли Столбова в издательстве.

«А вспомни, Скина, как он меня брал в редакцию с распростертыми объятиями! Кстати, мало что обо мне зная».

«Так он же брал красивую женщину, да еще со знанием редкого португальского языка. Но всегда говорил: «Что за черт! Как красивая баба, так обязательно стерва!»

Однажды я навещала родителей мужа на Новодевичьем кладбище и какое-то время постояла у колумбария, где захоронен твой прах, Скиночка, вспоминая, как ты говорила мне: «Тебе ли не знать, как, готовя себе открытые двери в Союз писателей, Столбов привечал известных прозаиков и поэтов, раздавая им переводы и с испанского, и с португальского, вспомни, вспомни. И дал бы с китайского, если бы мог!» — «Но за это ему большое спасибо, — отвечала я тебе, — книжки-то выходили достойные!» — «Да, да, однако, такой известный, правда, независимый переводчик, как Николай Михайлович Любимов, оставался в стороне, и у Столбова не работал. Ведь прекрасный двухтомник Сервантеса в серии «Литература эпохи Возрождения» в переводе Николая Михайловича Любимова с иллюстрациями Гюстава Доре вышел у вас в издательстве только в 1988 году, спустя тринадцать лет после ухода Столба на пенсию и накануне его смерти, случившейся в 1989 году».

Выслушав доводы каждого, я решила поторопиться и подать заявление в Союз писателей как можно скорее, раз прохождение туда было таким долгим и муторным делом. Мне ведь так хотелось, вступив в Союз, уйти из издательства и заняться только переводом.

Первым рекомендацию в Союз писателей мне дал Николай Михайлович Любимов, который меня в глаза и за глаза называл не иначе, как Екатериной Третьей. Он дарил мне свои книги с такими надписями: «Дорогой и очаровательной Лиле с пожеланиями удач, успехов и радостей». Н. Любимов. Москва, 1978 г. «Перевод —

искусство». «Дорогой Лиле с пожеланием здоровья и благополучия». Н. Любимов, Москва, июль (мой день рождения), 1983 г. «Былое лето».

Вторую рекомендацию в Союз писателей мне дал замечательный поэт и милый, открытый (во всяком случае, со мной) человек Юрий Левитанский.

В его книгу «Избранное», вышедшую в нашем издательстве в 1982 году в редакции «Советская литература», в раздел «Близкие ритмы» вошли и переводы с португальского, над которыми мы с ним работали в нашей редакции, когда в 1974 году выходил в свет сборник «Португальская поэзия XX века». Именно в этом сборнике в переводе Левитанского в СССР впервые были опубликованы стихи Фернандо Пессоа, крупнейшего поэта не только Португалии, но и всей Европы первой половины XX века. По решению ЮНЕСКО в 1988 году вся Европа отмечала столетие со дня рождения этого великого поэта.

Из литературоведов рекомендацию в Союз писателей дала мне Инна Артуровна Тертерян. Большого я и желать не могла.

В итоге 23 ноября 1988 года я получила билет члена Союза писателей СССР.

Надо сказать, что восьмидесятые годы были для меня как для редактора очень плодотворными. В свет вышли двуязычный сборник «Поэзия Европы XIX и XX вв.» (португальская часть XX века была сделана мной) и иллюстрированное издание «Сказки и легенды Португалии» (здесь я выступила не только как редактор, но и как переводчик) и одновременно «Мифы, сказки и легенды Бразилии». Потом «Лирика» величайшего поэта Португалии XVI века Луиса де Камозенса и «Лузитанская лира». И «Лирика» великого зодчего слова конца XVIII века Мануэла Марии Барбо

264

за ду Бокаже, в творчестве которого (как пишет португальская критика) искусство португальского стихосложения достигло своего апогея. Потом вышли «Новеллы» классика португальской литературы XIX века Эсы де Кейроша, чуть позже — Собрание сочинений Эсы де Кейроша в двух томах, а также двухтомники писателей XX века Фернандо Наморы и всем известного у нас в стране бразильского писателя Жоржи Амаду.

И вот, когда я, уже будучи членом Союза писателей, в 1989 году решила уйти из издательства и заняться только переводом, его директор Георгий Андреевич Анджапаридзе заключил со мной сразу три договора. Первый — на редактуру романа «Шестой остров» автора Чаварриа (перевод с испанского), второй — на переиздание романа «Яма слепых» (в моем переводе) классика португальской литературы Алвеса Редола и третий — на перевод романа Виторино Немезио «Непогода в проливе». Все три книги успешно вышли в свет в серии «Зарубежный роман XX века» в 1990 году.

Как сейчас помню Москву середины девяностых, когда город просто замирал у экранов телевизоров, следя за судьбой страдальцы рабыни Изауры, героини нескончаемого бразильского сериала, сделанного по роману бразильского классика конца XVIII века Бернардо Гимараэнса. И Георгий Андреевич Анджапаридзе, у которого уже тогда пульсировала коммерческая жилка, попытался склонить меня к переводу именно этого романа:

«Вы только представьте себе, Лилиана Эдуардовна, в какие тысячи вам обернется этот перевод, а издательство просто обогатится — ведь читатель книгу расхватает мгновенно. Найдите в Библиотеке иностранной литературы книгу и посмотрите ее на предмет перевода... А Виторино Немезио переведете позже».

Отказаться найти книгу во ВГБИЛе и посмотреть ее я не сочла возможным. Но когда взяла ее, тонюсенькую, в руки и полистала, мне стало абсолютно ясно, что переводить ее бессмысленно: издательство не только не обогатится, но и понесет убытки, а моя репутация достойного переводчика явно пострадает! Ведь из крошечного романа (если вообще его можно назвать романом) бразильский сценарист создал чуть ли не эпопею.

«Нет, Георгий Андреевич, лично я за перевод «Рабыни Изауры» не возьмусь, а продолжу переводить роман Виторино Немезио «Непогода в проливе».

Однако народ нашего демократического государства требовал «Рабыню Изауру». И очень скоро на книжных развалах у выходов из метро и у входов в кинотеатры появилась столь полюбившаяся в перестроечные времена кинематографическая версия любовной истории. А позже — и все прочие кинематографические любовные истории населения Латинской Америки.

Кто на этом обогатился? А кто обнищал духом? Об этом страна узнала много позже.

XXVIII

После долгого молчания Жорж снова позвонил мне и сказал, что у моего племянника не очень-то получается сменить материнскую фамилию на отцовскую.

— Оказывается, ваш брат, Лилиана, какое-то время был с женой в разводе.

— Ах да, действительно, — ответила я, — они даже жили в разных городах: она — в Москве, а он — под Севастополем. Но потом вроде бы поженились снова. Честное слово, Жорж, я не следила за регистрацией актов гражданского состояния этой семьи, — продолжила

я, начиная раздражаться. — И потом, какое мне дело, поженились они снова или нет?! Ни на первой их свадьбе, ни на второй я не была. Да и мама тоже! Не приглашали! А вас-то, Жорж, почему все это так волнует?

«Похоже, взятые у меня Жоржем бумаги об отце не помогли племяннику в его желании сменить фамилию», — подумала я.

— Да, дело в том, Лилиана, что, женившись второй раз на своей собственной жене, ваш брат, как сказали в ЗАГСе, должен был усыновить своего сына, вашего племянника. А он этого не сделал, и теперь ваш племянник — не сын своего отца, а сын того, чью фамилию он носит.

— Прекрасно, Жорж, прекрасно. Значит, он сын своего деда по материнской линии и брат своей матери?! А знаете, меня радует, когда тот, кто ничем ни брезгует и все делает по расчету, остается в проигрыше. Однако вот такая штука: при том, что мой племянник, как получается, не сын своего отца, а сын того, чью фамилию носит, а следовательно, и не мой племянник и не внук моего отца, он, при всем этом, как написал мне в письме ссылающийся на вас ганноверский Бернхард фон Бреверн, который теперь после смерти Олафа возглавляет нашу большую семью Бревернов, старается (очень старается! — подчеркнул Бернхард) найти документированные доказательства происхождения моего отца, моего деда и даже моего прадеда. Как это? Ведь племянник мой совсем недавно сказал мне, что ничего не знает даже о своем деде — моем отце! Не знает ни когда тот умер, ну и, естественно, ни где тот похоронен. Но оставим это, Жорж! Когда собираетесь в Москву?

— Пока не собираюсь. Уж очень неприятный — как это вы, русские, говорите — осадок остался у меня от моего последнего визита.

— Но почему осадок?! Подумаешь, проверили, кто вы такой, и все!

— Все-то все, но...

— Тогда куда держите путь теперь и где побывали за последнее время? — уже не без ехидства спросила я.

— Был в Азербайджане, собираюсь на Украину.

— Значит, из горячей точки в горячую же?! Что вас туда влечет, Жорж, или кто вас туда посылает и зачем?

— Дела посылают, Лилиана, дела фирмы, на которую я работаю. Однако, пора кончать беседу. Начальство пришло. Звоню из офиса. Всего наилучшего.

В трубке слышались короткие гудки. Я даже не успела попрощаться. Какое-то время раздражение от разговора с Жоржем не только не утихало, а, наоборот, нарастало, вынуждая припоминать его прежние недомолвки или отказы от ранее сказанного, уж не в расчете ли на мою старческую память?

Память у меня, Жорж, в моем возрасте отменная. Она меня ни разу не подводила. И ваши последние слова, сказанные по телефону в спешке, что из одной горячей точки в другую вас посылают дела, долго не шли у меня из головы.

«Да, да, конечно, дела Consultant en Ressources Humaines. Но какие? Самое ли подходящее время заниматься сегодня подбором работников для фармацевтических фирм Франции в бывших республиках Советского Союза, особенно в тех, где сейчас идут цветные революции? А может, как раз сегодня — это самое оно: ловить рыбку в мутной воде? Кто вы, Жорж де Бреверн?! И почему вы *де* Бреверн, а не *фон* Бреверн? Ах, да! Конечно, вы родились в Париже в 1943 году в семье эмигрантов. Однако, в том же Париже в то же время проживал некий мсье Жорж фон Бреверн, о существовании которого я узнала еще в 1977 году, когда вам, Жорж де Бреверн, было всего 34 года

Так вот, как узнала я из достоверных источников, мсье Жорж фон Бреверн, проживая в 1977 году в Париже по адресу 84 Фобур Сент-Оноре (8), был весьма уважаемым человеком и состоял членом престижного парижского аристократического клуба, в котором хоть изредка, но все-таки появлялся.

Собираясь в 1991 году в Париж, я написала ему письмо в надежде на встречу, но ответа не получила. «Скорее всего его, Жоржа фон Бреверна, уже не было в живых, как и не оказалось много позже в книге Олафа фон Бреверна «Семья фон Бреверн» — кстати, как и нас, московских Бревернов, которых, правда, от западного мира отделял железный занавес», — думала я, садясь за письменный стол и, по обыкновению, принимаясь перечитывать переведенный вчера кусок романа Эсы де Кейроша «Город и горы», который тут же (и слава богу) унес меня в век девятнадцатый.

— Все в порядке, сеньор! Животных сейчас приведут. Не удалось только раздобыть седло для вашей лошади, сеньор Жасинто.

То был носильщик Пимента, добрый малый, который принес нам пару разрозненных и заржавленных шпор. Правда, совсем скоро в овраге появился и ослик с привязанным к спине вьючным седлом, и лошадь серой масти, и подросток с охотничьей собакой. Мы дружески пожали потную руку Пименты и стали подниматься по дороге, которая с тех давних времен, когда ее потирали тяжелые, кованые сапоги Жасинто четырнадцатого века, не стала ни гладкой, ни менее крутой. Когда же мы миновали шаткий деревянный мостик, мой Жасинто вдруг неожиданно обнаружившимся у него острым хозяйским глазом отметил, сколь отягчены были плодами оливковые деревья. И совсем скоро ни с чем не сравнимая красота благословенной Сьерры заставила нас забыть о всех тревоблениях.

С каким же блеском и каким вдохновением создавал ее божественный художник, как старательно оберегал и заботился о ней, как щедро в столь любезной его сердцу Португалии наполнял ее недра несметными сокровищами!

Крутые каменные бока ущелий поросли густым светло-зеленым лесом, живо напоминавшим мох, в который так и хотелось броситься и поваляться. С холмов, двумя грядами тянувшихся по обе стороны ухабистой дороги, свисали и переплетались раскидистые ветви деревьев, образуя зеленый шатер, укрывавший и ездока, и лошадь от солнца. Он источал благоухание, едва взлетающая птица касалась его крылом. Сквозь вековую, поросшую плющом ограду возделанных земель проросли извивавшиеся, как змеи, и тоже обвитые плющом корни. На любом участке земли, в каждой трещине и на каждом бугорке цвели дикие цветы. А на склонах холмов красовались белые скалы. Одни из них грели на солнце свои отполированные ветром бока, а другие, поросшие лишайником и колючим кустарником, напоминали, выдаваясь вперед, изукрашенный нос галеры. То здесь, то там друг к другу жались жалкие, неведомо как туда вскарабкавшиеся, а теперь и покосившиеся домишки, которые смотрели на мир черными глазницами своих окон из-под нависших, словно густые брови, вьющихся растений.

Со всех сторон бежала и журчала дающая жизнь живая вода. Резвые ручейки, пересмеиваясь с нашедшими приют в их русле мелкими камушками, быстро струились меж ног нашей лошади и осла. Своевольные гордые горные ручьи с шумом бросались с утеса на утес и, повисая тонкими прямыми сверкающими нитями, напоминали серебряные струны гитары, а будучи пойманными в трубы, спокойно бежали по ним, чтобы напоить человека и скотину. Иногда открывавшееся взору плоскогорье оказывалось засеянным зерновыми, над которыми, точно хозяин и страж, господствовал одинокий ветвистый вековой дуб.

Поднимаясь все выше и выше, мы миновали горную деревушку в десять—двенадцать домов, укрытых тенью смоковниц,

над черепичными крышами которых уже вился смолистый дым еловых шишек. На отдаленных вершинах над чернеющими задумчивыми соснами высвечивались белые часовенки. Прозрачный чистый воздух проникал в душу, и душа обретала силу и радость бытия.

Жасинто, ехавший впереди на своей серой лошади, то и дело вздыхая, восклицал: «Какая красота!»

Следуя за ним на осле, как Санчо Панса за Дон-Кихотом, я вторил ему:

«Какая красота! Наконец, наконец мы дома. И мы остаемся здесь, с тобой, приветливая, благодатная, дышащая покоем и плодородием Сьерра, благословенная среди всех прочих гор и горных хребтов!»

«Да, похоже, Париж со всей его изощренностью, цивилизацией, утонченной чувственностью и свободой нравов, а скорее, откровенной безнравственностью, которой он дышал в те годы, более чем надоел Эсе де Кейрошу — консулу Португалии, и он последние десять лет жизни явно скучал в утопавшем в зелени парижском особняке, мечтая о возвращении на родину к своим пенатам, если с такой сердечной нежностью описывал милую его сердцу и уму родную Португалию», — подумала я.

Резкий телефонный звонок вернул меня из Парижа конца девятнадцатого века в Россию конца двадцатого.

— Лилечка, — услышала я в трубке, — это Сережа.

Несмотря на большую разницу в возрасте, Сережа Гончаренко — автор нашей редакции — всегда называл меня, естественно, с моего молчаливого согласия, Лилечкой. А почему нет? Ведь называла же я шестидесятилетнюю Инну Юрьевну Тынянову — Инночкой, когда мы работали над ее переводами.

— Ты меня слышишь? Извини, что звоню так рано и отрываю тебя от работы. Но тут вот какое дело. Мне предложили выступить с докладом в Пенне...

— Где, где? — перебила я его.

— В Италии, на международном симпозиуме, который должен состояться в городе Пенне двадцать седьмого ноября этого, девяносто восьмого, года по случаю получения Нобелевской премии португальским писателем Жозе Сарамаго. Естественно, я отказался — я же не португалист — и посоветовал обратиться к тебе. Сказал, что ты не только португалист-переводчик, но и бывший редактор издательства «Художественная литература», и член Союза писателей России — это для них очень, очень важно.

Я молча слушала его.

— Италия пришлет тебе персональное приглашение, — продолжал он, — оплатит проезд туда и обратно, а также проживание и питание в гостинице, ты слышишь?

— Слышу, слышу, но не знаю, что ответить. Это так неожиданно. И что, я из России поеду одна?

— Да нет, с тобой поедет группа российских писателей. Кто точно, я не знаю, но они едут по своим делам, а ты поедешь по своим. Все подробно тебе расскажет (и он назвал фамилию, которую я уже не помню). Я ему дал твой телефон. Только не отказывайся, слышишь? Не отказывайся!

— Да я ведь Сарамаго не переводила; вернее сказать, получив от него книги и письмо с предложением что-нибудь из присланного перевести, отказалась, сославшись на то, что перевожу роман Алвеса Редола «Яма слепых». А если честно, не люблю я, Сережка, сплошняк, в котором нет ни точек, ни запятых, во всяком случае, в тех его вещах, что я держала в руках. Знаки препинания для меня, как и для всех, конечно, — не только интонационное расчленение текста, но и инструмент выражения эмоций. Да и герои его романов — не мои! Даже не знаю, что тебе ответить и что мне делать!

— Ждать звонка, писать доклад и ехать в Италию! Если, конечно, завтра ты не сдаешь перевод. Кстати, а над чем ты сейчас работаешь?

— Перевожу последний, посмертно изданный роман Эсы де Кейроша «Город и горы». Ты должен знать Эсу по гослитовскому тому БВЛ¹, да и нашему двухтомнику.

— И сроки поджимают?

— Да нет, пока я еще даже не определилась с издателем. Надеюсь, как всегда, на поддержку Португалии, я имею в виду оплату моего труда.

— Ну, тогда сам Бог велел тебе ехать в Италию. Жди звонка, тебе позвонят обязательно.

И мне позвонили и подтвердили все слово в слово. Доклад надо сдать в Москве в первых числах октября на перевод. А лететь в Италию — в ноябре.

Так вот, хорошенько обдумав, я решила сесть за доклад. А уж когда пришло и персональное приглашение, в котором, как теперь говорят, все было включено (и к тому же бесплатно!), от «Организационного комитета» города Пенне, где должен был состояться международный симпозиум по случаю получения Нобелевской премии португальским писателем Жозе Сарамаго, я по-настоящему порадовалась своей востребованности специалиста, да еще на международной арене.

Правда, на дворе был девяносто восьмой год. И этим все объяснялось. Ведь в советское время подобная миссия профессионалам, как правило, не выпадала. Зарубежные поездки совершали чиновники от литературы, пользуясь подготовленным для них докладом — над которым, естественно, трудился профессионал, — что и позволяло им подменять профессионала в любой сфере деятельности. Ведь один из бывших директоров «Худлита» даже вычеркнул мою фамилию из

¹ Библиотека всемирной литературы, серия II, том 127.

состава членов правления «Общества дружбы СССР — Португалия» и четко вписал свою собственную, когда получил бумагу из «ССОДа» с просьбой подтвердить мою кандидатуру на следующий срок.

— Шо это ваш шеф, — нарочито грубо спросил меня по телефону секретарь «Общества дружбы СССР — Португалия» Игорь Ермолаев. — Языка не знает, страны тоже, но желает прошвырнуться в Лиссабон? Нам же нужен португалист, человек, которого уже знают в стране!

Вот и Рэм Викторович Хохлов, ректор Московского государственного университета, возглавлявший в те годы «Общество дружбы СССР — Португалия», планировал именно со мной, владеющей языком и знающей страну, деловую поездку в Лиссабон, никак не думая, что я, как в сказке, обернусь директором «Худлита».

Много позже все тот же директор, уже работая не в «Худлите», а в маленьком издательстве (каком, не знаю), встретив меня у входа в поликлинику на улице Заморенова, куда нас, писателей, утративших свою собственную литфондовскую поликлинику в «революционные» девяностые, определили Министерство здравоохранения и мэр Москвы, пожаловался мне, что вот, мол, приходится оформлять пенсию... И вдруг, ни с того ни с сего, спросил меня:

— А хотите, я вам окажу протекцию?

— Какую протекцию? Зачем? — с усмешкой спросила я.

— У меня свой человек в Обществе дружбы с зарубежными странами.

— Нет, не хочу, — ответила я, — в эти игрушки я играла в детстве.

Как позже я узнала, этим своим человеком для него была та, которой он в бытность свою директором издательства «Художественная литература» тоже оказал протекцию, после того, как я, редактор португальской

литературы, категорически отказалась подписать с ней, начинающим переводчиком, договор на перевод (и чего, о Боже!) поэмы «Лузиады» классика португальской литературы XVI века Луиса де Камозэнса! Но директор вышел из положения, дав ей в редакторы чиновника, владевшего испанским, но не португальским языком, и даже не от литературы (заведующим нашей редакцией он был без году неделя), а совсем от другого ведомства, работая в котором (вполне возможно, плодотворно), он даже понятия не имел, ни кто такой Камозэнс, ни что такое «Лузиады». Зато тут же от директора узнал, кем был тогда ее отец. А был он главным редактором журнала «Новый мир».

Тьфу! Сегодня эту уж очень советскую историю издания шедевра литературы XVI века руками дельцов даже вспоминать противно.

И все-таки следует сказать, что за тридцать без малого лет моей работы в издательстве это был единственный случай, когда я категорически отказалась от работы с предложенным мне переводчиком.

Однако как же я отвлеклась от поездки в Пенне! Так вот, доклад о нобелевском лауреате, португальском писателе Жозе Сарамаго был мною написан и сдан в назначенный срок. Оставалось полистать итальянский разговорник, внимательно посмотреть карту Италии тех мест, где предстояло побывать, и собраться в путь-дорогу.

И вот я в аэропорту Шереметьево с группой российских писателей: Фазилом Искандером, Людмилой Петрушевской и Валентином Распутиным. Они летят в тот же город Пенне, что и я, но получать национальную премию за свои произведения, выигрывшие конкурс. А я — на международный симпозиум, в котором примут участие представители Испании, Бразилии, Венгрии, Италии и России. И из России — я!

Перед посадкой в самолет выясняется, что с нами еще летят Святослав Бэлза и директор Дома литераторов Владимир Носков, которого сегодня уже нет в живых. Узнаю от кого-то из них, что завтра к нам в Пенне приезжает из Парижа Посол России в ЮНЕСКО Евгений Сидоров. Он будет председательствовать как раз на нашем симпозиуме.

С Евгением Сидоровым до нашей встречи в Пенне я знакома не была, хотя то, что он какое-то время был министром культуры России, мимо меня не пролетело.

За день до поездки в Пенне я даже справилась в библиотеке ЦДЛ, имеются ли у них книги состоявшегося в 1998 году лауреата Нобелевской премии Жозе Сарамаго, и узнала, что ничего, кроме романа «Поднявшиеся с земли», у них не было. И книгу эту хранят для Евгения Сидорова. А жаль, ведь тогда уже были переведены и роман «Воспоминание о монастыре», и «Евангелие от Иисуса».

И вот наконец посадка объявлена и закончена, ремни пристегнуты, мы взлетаем и, набрав высоту, зависаем в воздухе — короче, летим. Теперь можно и расстегнуть ремни. Кто-то уже встает с места и идет по проходу. И вдруг этот кто-то оказывается Андреем Николаевичем Сахаровым, директором Института истории Академии наук, знакомым мне еще по Госкомитету по печати, где он возглавлял «Главную редакцию» и проводил со мной собеседование перед моей первой поездкой в Португалию в 1976 году. Вот тогда мы с ним и обнаружили, что он ученик моего свекра и сокурсник по университету моей подруги детства.

— Вы в Рим? — спрашивает он меня.

— Нет, я еду в Пенне с группой писателей, моих попутчиков.

— Вижу, вижу: Фазиль Искандер, Распутин. А вы при чем, при чем?

— Я при самой себе. Еду в Пенне на симпозиум по поводу получения Нобелевской премии португальским писателем...

— А-а, Сарамаго! — перебивает он меня. — А мы с женой едем в Рим. Потом в проходе возникает Женя Солонович — поэт, переводчик с итальянского. Женя уже тогда был одним-единственным переводчиком (из известных мне), награжденным итальянским орденом за переводы итальянской поэзии. И я ему по-хорошему завидовала. Машем друг другу руками — мы ведь совсем недавно виделись в итальянском консульстве, получая визы. Но тут Женин вопросительный взгляд задерживается на моем соседе. Слева от меня сидит Валентин Распутин с женой (она его сопровождала, как Тоня — Фазиля). Женя, еще выше подняв брови, смотрит на меня.

— А вот там, — говорю я ему, — еще сидит Фазиль Искандер, а дальше — Петрушевская. И мне с ними всеми по пути в Пенне.

— А-а, понятно, — говорит он и исчезает в хвосте самолета.

От усталости и недосыпа (пришлось встать в четыре утра) я, пожевав что-то, впадаю в спячку и просыпаюсь только на подлете к Риму, когда самолет уже идет на посадку.

Все в порядке, мы в римском аэропорту. После ноябрьского холода в Москве здесь просто тепло: солнышко, зеленая травка, цветочки. Тут же в аэропорту нас подбирает маленький автобус, в котором нам предстоит пересечь итальянский сапожок поперек, чтобы оказаться на Адриатике. И мы едем, едем, едем. Сегодня уже не помню, сколько часов, но долго, то по открытому шоссе, то скрываясь в длинных темных туннелях, проложенных в горах, на которых, подобно огромным осиным ульям, лепятся один к другому разноцветные домишки местных

жителей. Потом опять шоссе, вдоль которого то справа, то слева стеной стоят схваченные (по-моему, железной сеткой) осыпающиеся прямо на дорогу скалы, вернее, камни. И всюду, куда ни глянь, таблички: «Privado», «Privado», «Privado» — частная собственность, частная собственность, частная собственность.

И тут уж никаких тебе возможностей: мальчики — направо, девочки — налево. Всё в свое время и в специально отведенных местах, где можно и руки помыть, и воды попить, и что-нибудь купить поесть: цивилизация! Вот так!

В какой-то момент я начинаю чувствовать, что дорога пошла вверх. Воздух становится все холоднее и холоднее. Похоже, скоро перевал — высшая точка подъема. И вдруг в одно мгновение все вокруг становится белым-бело. Огромные белые хлопья снега залепают окна машины. Да, это — перевал. Мои коллеги и попутчики начинают согреваться коньяком. А я — кутаться в мохеровый шарф.

— Еще немного, и дорога пойдет вниз и снова будет лето, — перевела нам Люся Петрушевская слова шофера, хорошо знающего резкие перемены погоды на этом участке пути.

«Какая молодец, — подумала я, — хорошо подготовилась к общению со своими читателями на их родном языке». (Всегда приятно, когда приезжающие к нам в Россию иностранцы хоть как-то говорят по-русски.)

Но лето не лето, а хорошая осень с висящей на деревьях спелой ярко-оранжевой хурмой и темно-красными розами в белых снежных шапочках, которые почти тут же и растаяли, встретила нас часа через полтора у порога гостиницы Vestini, где мы должны были жить и работать.

Первые дни я, вполне удобно устроившись в своем номере, следуя программе и соблюдая предложенный

распорядок дня, знакомилась с городом и его окрестностями, но в часы заседаний всегда была в зале и слушала наших известных прозаиков, которые отвечали на вопросы собравшихся здесь учеников колледжа и отцов города, сражаясь друг с другом (скажем так) за получение международной премии города Пенне.

Услышав выступление Петрушевской на итальянском языке (не важно, каком!), зал бурно зааплодировал. И, как оказалось позже, первую премию получила именно она. Следует сказать, что оценку каждому нашему конкурсанту давали ученики колледжа. А потому небезынтересно было бы узнать, сумел ли переводчик (ведь это художественная литература!) адекватно донести до читателя (итальянца) психологизм такого писателя, как Людмила Петрушевская, или драматизм и высокую нравственность Валентина Распутина, или особенности эпического письма Фазиля Искандера, с которым мы, выйдя в перерыве из зала заседания, обсуждали эту серьезную проблему.

Люся Петрушевская — неумно творческий человек. Не успела спуститься с гор, разобрать чемодан и устроиться в номере, куда она меня пригласила после обеда, чтобы показать мне, как включается обогреватель (за столом я пожаловалась, что у меня в номере холодно), как тут же, заглянув ко мне в номер, побежала в магазин, купила акварель и стала писать «портрет» только что сорванных роз, что встречали нас, снегом укрытые, у входа в гостиницу. Спустя два дня, узнав, что я бывший редактор издательства «Художественная литература», Люся сама принесла мне почитать ее последнюю книгу, что было с ее стороны просто замечательно. Правда, у меня на прикроватном столике уже лежала книга Валентина Распутина, но читать по-настоящему, честно говоря, я просто не могла ни то, ни другое. Дело в том, что я уже начинала волноваться.

Дни шли, а перевода моего доклада о Сарاماго, который был сдан мной еще в Москве, все не было и не было.

— В Москве не перевели, — сказал мне «ответственный» (назовем его так) за нашу поездку. Будут переводить здесь, в Италии.

— И когда же будет перевод? — спросила я. — Мне же все-таки посмотреть его надо, а на это нужно время.

— Будет, будет время!

— Когда-а? — спросила я, не надеясь на ответ «ответственного», который тут же, как только к нам со своим вопросом подошел Фазиль Искандер, ушел от моего вопроса. Неясность всегда меня раздражала.

Возможно, «ответственный» ждал приезда Евгения Сидорова.

Конкурс наших прозаиков шел к концу, а Сидорова все не было и не было, как не было и мне ответа, когда же будет готов перевод. Между тем, мое имя и имена моих коллег-португалистов из других стран красовались на афишах, развешанных по всему городу.

Жду. Снова спрашиваю, где же перевод моего доклада и когда, наконец, он будет? Раздражение мое нарастает.

Между тем, Евгений Сидоров с женой уже прибыли, и по утрам он совершал моцион вокруг гостиницы, мельком здороваясь со мной.

Наконец, после завтрака «ответственный» говорит мне, что надо бы несколько сократить вступление о себе самой...

— Невозможно, — отвечаю я, — потому что только мой огромный труд португалиста (я имею в виду количество отредактированных и переведенных мною книг), о котором я говорю на первой странице, дает мне право сказать то, что я хочу сказать о Сарاماго и издании его произведений в России.

«Да, — думала я, — похоже, моя оценка восприятия творчества Сарамбо российским читателем кого-то не устраивает, хотя это и объективная реальность. Но кого? Итальянских коммунистов, товарищей Сарамбо по партии? Так ведь их я вижу только за нашим обеденным столом в ресторане, а в зале-то их нет! А может, самого Евгения Сидорова? Ведь именно он должен открывать симпозиум и, естественно, за здоровье, а не за упокой. А что он мог узнать о творчестве Сарамбо, прочтя одну-единственную имеющуюся в библиотеке ЦДЛ книгу, а именно: роман «Поднявшиеся с земли»? А ведь русский читатель уже знаком и с «Воспоминанием о монастыре», и с «Евангелием от Иисуса». Да, трудновато, конечно, открывать симпозиум и говорить о предмете не очень тебе знакомом, но высоко оцененном Шведской академией в Стокгольме. Это так!»

Проходит еще один день. Перевода — нет.

— Переводчик не успевает, — говорит мне «ответственный». — Может, вы сделаете доклад по-португальски?!

— Ну уж нет! — отвечаю я. — Для того, чтобы делать доклад по-португальски, его надо перевести на португальский. А я переводчик с португальского на русский. К тому же в этом зале будут не только гости-португальцы, но и хозяева — итальянцы. Это неуважение к ним, проводящим этот симпозиум. Все, похоже, идет к тому, что мой доклад придется отменить, — ответила я.

— Лиля, я думаю, — сказал Валентин Распутин, — вы не правы. Мы же выступали, даже говоря по-русски.

— Но произведения-то ваши были переведены на итальянский, и в разговоре с залом вам помогал переводчик. Нет, Валентин, с моим докладом что-то не так. Похоже, что-то кому-то в нем не нравится. Ну, скажем, моя позиция или еще что-то. А не могли бы вы, Валентин, прочесть мой доклад и сказать мне откровенно свое мнение?

— Пожалуйста, давайте, хоть сейчас.

И я дала ему русский текст доклада.

Возвращая его, Валентин сказал:

— Доклад интересный, ваша позиция и оценка восприятия русского читателя ясна!

— В докладе ведь я говорю, — перебила я его, — что Сарамаго был опубликован в России не в то время и не в тот час, чтобы быть у нас востребованным.

— Да, да! И я не вижу причин, чтобы доклад ваш не переводить. И думаю, что все будет так, как должно быть!

Несколько успокоившись, вечером этого дня я с семьей Распутиных и Людмилой Петрушевской отправилась в город Пескару. Но утром следующего дня я опять заволновалась. «Перевода доклада нет, но будет завтра», — услышала я за завтраком от «ответственного».

— Завтра — это завтра! Я даже не успею просмотреть итальянский перевод. Мой доклад — третий по счету.

Ночь я провела без сна, все время готовясь, что перевода не будет и завтра. Встала с чутунной головой, но в девять тридцать узнала, что перевод готов.

— Ну что ж, — сказала я — выходит, за переводом придется мне следить по своему русскому тексту, когда вы будете читать его по-итальянски.

И какую-то правку по ходу чтения текста по-итальянски мне все-таки сделать удалось. Хотя, конечно, лучше было бы просмотреть перевод загодя.

Боже! Но как же хорошо принимали мой доклад мои иностранные коллеги-португалисты (скорее всего, единомышленники), да и присутствовавшие в зале итальянские коммунисты, и все остальные, любопытство которых к изданию в нашей стране не только Сарамаго, а вообще португальской литературы превзошло все мои ожидания. Зал долго аплодировал, потом некото-

рые стали подходить ко мне с добрыми словами, адресованными не только моему докладу, но и мне самой. Конечно, все это было слышать чрезвычайно приятно! И я почти в эйфории вышла из зала, быстро зашла в номер, накинула куртку и, совершенно забыв о запланированном посещении фабрики Brioni Roman Style¹, пошла одна бродить по городу, постепенно обретая покой в общении с обступившими меня со всех сторон домами и домиками, на дверях которых висели колокольчики и букетики цветов, разноцветные шелковые сердечки и прочие разные разности маленького провинциального городка, изо всех сил стремившегося к большой духовности столичного города. И все выпавшие мне здесь неизвестно почему и зачем переживания вдруг ушли, рассеялись, как дурной сон или утренний туман.

В гостиницу я вернулась только к обеду и, забирая у дежурного ключ от своего номера, получила и оставленные для меня визитные карточки своих иностранных коллег-португалистов и даже конверт с отиском литературоведческой работы профессора Будапештского университета доктора Иштвана Ракоши о португальском авторе XVI века Фернанде Мендесе Пинто и его романе «Странствия», сравнимого разве что, — как пишет он, — с поэмой Луиса де Камоэнса «Лузиады».

Вот так, а ведь в своем докладе я только упомянула о произведении Фернана Мендеса Пинто среди многих других португальских и бразильских писателей, издание которых у нас в стране я считала своей заслугой. И вот какой ценный для себя получила резонанс! А профессор Марлизе Ваз Бриди, доктор Университета

¹ Швейная фабрика, где все работы исполняются вручную.

Маккензи в Сан-Пауло, даже увезла в Бразилию, естественно с моего согласия, итальянский перевод моего доклада.

За ужином, подняв бокал, Евгений Сидоров поздравил меня с большим успехом, что, безусловно, было приятно.

Ну, а уж о деньгах за сделанный мною доклад я даже не мечтала. Но получила.

Что же касается прощального ужина, устроенного нам отцами города, он был великолепен. Великолепны были и все мы, даже внешне. Из мужчин, естественно, блистал Святослав Бэлза (ему не привыкать!) Женщины были хороши все. На мне же после недели черного брючного костюма и ботинок на толстой платформе было открытое платье из тафты цвета морской волны и черные португальские туфли на высоком каблуке!

XXIX

Вернувшись из Италии в Москву, я получила авторские экземпляры тома Жоржи Амаду, вышедшего в издательстве «Олма-Пресс» в серии «XX век. Грани», с моим переводом того самого романа «Тереза Батиста, уставшая воевать», который много лет назад Жоржи Амаду послал издателю журнала «Иностранная литература», сопроводив его письмом, подписанным: «Отец Терезы Батисты».

В то время журнал «Иностранная литература» был крестным отцом произведений Жоржи Амаду, которыми, как теперь говорит молодежь, «зачитывались наши бабушки и дедушки».

Зачитываться-то зачитывались, однако не всегда могли понять причинную связь происходивших в романе событий, поскольку публиковавшиеся в журнале

переводы сплошь и рядом купировались, представляя собой сокращенный, так называемый «журнальный» вариант.

Так вот, в журнальном варианте романа «Тереза Батиста, уставшая воевать» отсутствовали не только любовные сцены, столь обязательные для любого латиноамериканского романа, но и отдельные главы и их части, а также целая сюжетная линия, связанная с рождением мифа о героях и их подвигах.

Это, надо сказать, полностью разрушило единый замысел писателя. Было из-за чего выйти из себя, прекратить на какое-то (довольно долгое) время присылать в журнал свои новые произведения и при всяком удобном случае, мягко выражаясь, сетовать на столь бесцеремонное отношение к авторскому тексту. Ведь даже на банкете, который Жоржи Амаду со свойственным ему широким размахом (только кухня была не баиянская, а русская) устроил в Центральном доме литераторов по случаю своего семидесятилетия, писатель не преминул вспомнить, правда в шутливой форме, о страданиях Терезы Батисты не только на бразильской, но и на русской земле.

Более двадцати лет минуло с момента появления журнального варианта романа «Тереза Батиста, уставшая воевать» на страницах журнала «Иностранная литература». За годы работы в издательстве «Художественная литература» мною были отредактированы и вышли в свет в 1982 году «Избранные произведения в двух томах», а в 1987 году «Собрание сочинений в трех томах» всеми любимого и чтимого у нас в стране автора, в которые, по уже известным причинам, не мог войти роман о Терезе Батисте.

И вот к новому юбилею — восьмидесятилетию писателя — мне, посвященной во все перипетии издания романа в СССР, представился случай сделать новый пе-

ревод «Терезы Батисты», который я и выполнила со всем вниманием к авторскому тексту и даже ко всем тонкостям любовных откровений, сторонницей которых я отнюдь не являюсь.

Так роман «Тереза Батиста, уставшая воевать» впервые вышел в свет в моем переводе (без купюр) в 1997 году в издательстве «Локид», затем в 1998 году — в издательстве «Олма-Пресс» в серии «XX век. Грани», в 2003 году — в издательстве «АСТ» в серии «Мировая классика» и в серии «Книга на все времена», а в 2004 году — и в серии «Классическая и современная проза».

А покорившая меня целиком и полностью своей поэтичностью сказка Жоржи Амаду «История любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки» дважды вышла в моем переводе в издательстве «Художественная литература» — в двухтомнике 1982 года и в «Собрании сочинений в трех томах» — 1987-го. А в 2012 году, к столетию со дня рождения писателя, — в издательстве «Центр книги Рудомино» на русском и португальском.

Эта сказка сродни сказкам Оскара Уайльда, в которых написано то, чего и впрямь никогда не было, да и просто не могло быть, но так правдиво и с таким изяществом каждой детали, что совсем не кажется ложью.

Да нет! Ну какая же это ложь?! Да кто позволит назвать ложью эту историю любви, которую рассказывает Заря скучающему Времени, чтобы получить в подарок от него Голубую Розу. (Сама-то она слышала эту историю от Ветра.)

Утро занимается медленно. Ленивица Заря потягивается, с трудом приоткрывает заспанные глаза, поглядывает на землю — никак не приступит к своим обязанностям. «Поспать бы всласть!» Случись ей выйти замуж за богатого, раньше одиннадцати вставать не станет, не ждите. Окна занавесит и кофе будет пить в постели. «Вот это жизнь!» — Мечты

девицы на выданье. – Не то что у служащей с твердым распорядком дня, которая вынуждена подниматься чуть свет, чтобы гасить зажженные Ночью звезды. Ночь боится темноты. Она же трусиха».

И вот идет по горизонту полусонная, зевающая Заря и гасит звезду за звездой поцелуем. Случается, какие и пропускает. И те горят себе при свете дня безо всякой радости – тусклые-претусклые. Невеселое зрелище. Потом Заря будит Солнце. Работа не из легких, скажем прямо, и не для такой хрупкой девицы: сначала нужно раздуть огонь, пусть слабенький, в остывших за ночь углях, потом поддерживать дрожащее пламя, пока не запыхает костер. Одна бы она возилась целую вечность, но ей помогает могучий Ветер. Какому глупцу придет в голову, что Ветер налетел случайно? Всем известна тайная страсть Ветра к Заре. Тайная? Теперь она уже явная и у всех на устах.

О самом Ветре судачат разное: говорят, что он плут и мошенник, каких поискать. Чего только он ни выкидывает: гасит лампы, фонари, светильники. И все это – чтобы напугать Ночь. А то и вовсе – сбрасывает нарядную одежду деревьев, оставляя их нагими. Шутки дурного тона! Меж тем, как это ни невероятно, Ночь ждет его прихода, а деревья – бесстыжие! – так просто в ножки кланяются, когда он приходит.

Одно из любимейших его занятий – поднимать женские юбки, выставляя напоказ все, что под ними скрыто. Эффектный трюк в старое доброе время! Тогда он вызывал жадные взгляды, двусмысленные восклицания, восторженные «ахи» и «охи». Но... только тогда, потому что сейчас никого этим не удивишь: всё и так напоказ выставлено. Смотреть противно. Однако кто знает... Может, будущие поколения объявят войну всему, что так выставлено напоказ и легкодоступно, и на митингах и демонстрациях будут требовать того, что скрыто и труднодостижимо?

Но пока – пока так, как есть. Так что не будем скрывать пороки Ветра, но и не будем замалчивать достоинства, при-

чем явных: веселый, живой, подвижный, легко вальсирующий, ласковый и всегда готовый помочь другим, особенно женщинам.

Как бы рано он ни поднялся, каким бы холодным ни был, где бы ни находился, сколько бы трудных и дальних дорог ни прошел, на рассвете он у дома Солнца, чтобы помочь Заре. И вот он дует и дует своим огромным ртищем. Но едва затеплится пламя – предоставляет его заботам Зари: она помахивает веером бризов, а он принимается вспоминать и рассказывать все любопытные истории, что довелось ему увидеть и услышать в его бесконечных странствиях. Он говорит о заснеженных вершинах, что скрыты тяжелыми тучами, о головокружительных пропастях, которые вряд ли когда-нибудь доведется увидеть Заре.

Отчаянная голова, ходок, каких мало, любитель поинтриговать, Ветер берет любые преграды, подчиняет себе жизненные пространства, проникает в святая святых, заполняя свою переметную суму историями для тех, кто пожелает их послушать.

И вот Заря, слушая то смешные, то печальные истории Ветра, некоторые из которых очень длинные и с продолжением, совсем запаздывает и, принявшись было за дело, забывает о нем, вся во власти рассказчика. Она грустно улыбается, от особо трогательных историй ее глаза увлажняются, и она замедляет ход Времени, которое в свою очередь замедляет ритм маятников и часовых стрелок, чтобы в тот момент, когда Заря наконец займется, они показали нужное время. От такого многие часы с ума посходили: спешат или отстают, перепутав день с ночью и ночь с днем, и вряд ли когда-нибудь покажут верное время. Кое-какие даже встали, встали навсегда. А всемирно известные точные часы, что находятся на башне всемирно известной фабрики всемирно известных часов (самые точные в мире), – олимпийские чемпионы времени, – покончили жизнь самоубийством, повесившись на собственных стрелках. Они не в силах были вынести медлитель-

ность Зари и отставания производства. Ведь то были швейцарские часы с чувством ответственности и патриотическим долгом.

Да что там часы! Петухи и те потеряли голову: запели, возвещая восход Солнца, когда Заря еще только его будила, слушая Ветер. От такого утратишь оптимизм и повесишь гребешок. Однако петухи вместе с часами направили своему общему начальству – Времени – протест из восьми параграфов и двадцати шести бесспорных пунктов. Но Время – бесконечная величина – не придало этому посланию большого значения: часом раньше, часом позже. Стоит ли волноваться из-за такой мелочи. Да и что такое час в сравнении с вечностью? А кроме того, во всем есть положительный момент – нарушение монотонности. К тому же, Время тоже равнодушно к Заре. Молодая, румяная, радостная, легкомысленная, не придерживающаяся буквы закона. Хоть рядом с ней оно забывало свою вечную скуку и свой хронический бронхит.

Однако на этот раз Заря уж слишком припозднилась. Ветер и тот пытался прервать свой рассказ, обещая досказать его завтра, но она не согласилась и настояла на своем, требуя подробностей. Ну и расстались они с Ветром, когда уже Солнцу пора было припекать.

И вот, одетая в светлый шелк с голубыми и красными радужными переливами, на горизонте появилась Заря. Она задумчива, как видно, все еще во власти рассказанной Ветром истории, вызвавшей явное смятение чувств.

До чего же ей наскучили ее обязанности Зари, наскучило алеть во всю ширь горизонта. И как бы хотелось понять намерения Ветра. Почему он рассказал именно эту историю? Какая в ней мораль? А может, никакой? Может, это просто любовь к искусству рассказывать? Очень хочется Заре разгадать умысел собеседника по его глазам, по его неожиданному вздоху в конце рассказа.

Уж не по ней ли, в самом деле, как толкуют кумушки, вздыхает Ветер? Может, решил просить ее руки? Выйти замуж

за Ветер? Неплохая идея! Тем более он богатый. Да и во всем ей помогает: гасит звезды, разжигает Солнце, сушит росу, раскрывает цветок, имя которого Одиннадцать Часов, но Заря, только чтобы всем досадить, заставляет Ветер делать это между девятью и половиной десятого или даже в десять. Если она станет супругой Ветра, то будет выше всего этого: полетит с ним над горами, заскользит по вечным снегам, побежит зыбью по зеленому хребту моря, запрыгает на его волнах, а если устанет – отдохнет в пещере, куда днем прячется темнота, чтобы там отоспаться.

Очень даже может быть, что этот старый холостяк, такой независимый и переменчивый, решил наконец избрать себе спутницу жизни. Но сколько же рассказывают о нем скандальных историй! Сколько у него любовных приключений! То он кого-то похитил, то он кого-то преследует. На него гnevаются мужья и клянутся отомстить. Нет, качает головой Заря, Ветру даже мысль о женитьбе не приходит. У него, как говорили в старое доброе время, нет серьезных намерений.

Так что и мечтать нечего. Занятая этими размышлениями, идет себе Заря, забыв о Времени. В ожидании ее остановились часы, охрипли петухи, что возвещали восход Солнца. Где же оно? Где? «Неужели еще нет пяти? – изумляются проснувшиеся люди, глядя на часы. – И почему до сих пор не встает Солнце?» Но на небе только тусклый рассвет. Он мешается с пепельным светом уходящей ночи. Уж не свет ли преставление? Спаси и помилуй. Такого еще не видывали.

И тут всеобщие нарекания вынуждают Время, спрятав сообщническую улыбку в усы, побранить Зарю за опоздание, призывая ее к порядку и пригрозив наказанием. Заря, оправдываясь, щебечет, подобно птице:

– Я слушала рассказ Ветра. Ну и опоздала на час.

– Рассказ Ветра? – заинтересовалось Время, всегда искавшее лекарство скоротать вечность. – Нука, нука, расскажи

мне, и, если я найду, что он интересен, прощу тебя. И не только прощу, но и награжу Голубой Розой, которая выросла, дочь моя, много веков назад. Теперь такие не растут, потому что в мире все меняется к худшему, конечно.

Ох уж это скучающее Время!

Заря усаживается подле старика, оправляет складки своего платья и начинает рассказывать. Где-то посередине истории Время задремывает, но Заря не прерывает свой рассказ, потому что ей в этом рассказе слышится голос Ветра. Где он сейчас, этот проказник, раздевающий деревья, нагоняющий облака, преследующий Дождевую Тучу? Дождевая Туча и Ветер – близкие задушевные друзья. Только ли друзья? Заря озабоченно хмурится.

Так вот, вернувшись из Италии в конце ноября 1998 года, я уже в марте 1999 года собиралась в Испанию.

— Теперь поедешь в Гранадский университет с докладом об издании испанской литературы в Советском Союзе! — почти приказным тоном сказал мне Сережа Гончаренко.

— У тебя же были, — продолжал он, — замечательные и, надо сказать, очень трудные редакторские книги по испанской литературе: «Лирика» Луиса де Гонгоры и «Толедские виллы» Тирсо де Молины — шестнадцатый век! Потом роман Педро Антонио де Аларкона «Треуголка» — это девятнадцатый, да и по современной Испании — Хуан Гойтисоло. Так вот, поедешь в группе испанистов. Почти все они тебе знакомы как переводчики или авторы вступительных статей. Это — Степан Мамонтов, Венедикт Виноградов. Он в МГУ заведует...

— Знаю, знаю, — сказала я.

— Потом Витас Силюнас, Элла Брагинская, Наталья Трауберг, Павел Грушко, Наташа Ванханен, ну и из других городов, конечно.

— Хорошо, — ответила я.

— Тогда ты готовишь доклад и приносишь его мне. Я посмотрю его и предложу Посольству Испании включить тебя в группу как члена Союза писателей и бывшего редактора издательства «Художественная литература», который выступает с докладом по изданию испанской литературы в СССР. Доклад, естественно, должен быть написан на испанском языке. Все понятно?

— Да, Сережа, все! Опыт уже имеется.

Отлично помня, как развивался сюжет перевода моего доклада о Жозе Сарамега в Италии, я, написав доклад, тут же отдала его на перевод испанке Августине, с которой когда-то работала на Московском радио, и, получив его, еще и согласовала с ней то, что требовало согласования. Так что на этот раз в Гранадском университете я, как сказал мне позже Павел Грушко; делала доклад на чистейшем испанском языке с «приятным португальским акцентом».

Уезжали мы в Испанию чуть ли не восьмого марта. К Посольству Испании был подан комфортабельный автобус, который доставил нас в аэропорт Шереметьево.

И вот, спустя несколько часов мы уже в Малаге, где опять же нас ждет комфортабельный автобус и везет от берега Средиземного моря к белеющим вдали вершинам Сьерры-Невады в город Гранаду — бывшую столицу последнего арабского халифата. Да, завершив формирование испанской монархии, так называемые католические короли Фердинанд и Изабелла в 1492 году наконец взяли город Гранаду.

В Гранаде нас размещают в достойной гостинице, где кормят завтраком, обедом и ужином (все, как смеемся мы, за счет Хуана Карлоса — короля Испании, что вполне могло быть и правдой) совершенно бесплатно.

Каждое утро мы слушаем доклад за докладом своих коллег-испанистов то в Гранадском университете, то

в других отведенных нам местах города. А вечерами мы гуляем с Натальей Ильиной, доктором наук, заведующей кафедрой испанского языка в Московском государственном университете, теперь уже много лет постоянно живущей в Валенсии со своим испанским мужем-литературоведом. Да, а вот я не смогла бы жить в чужой стране. Это точно! Как не смогла бы сменить свою профессию испаниста, в своей стране на профессию преподавателя русского языка в чужой, даже выиграв конкурс на эту должность (чем, как сказала мне она по телефону, очень гордится Хуан Рамон!) Нет, не смогла бы! Но стоит ли мерить все на свой аршин?!

В субботние и воскресные дни мы все вместе, кроме тех, кому еще нужно было перевести свой доклад на испанский, пускались в путь все на том же комфортабельном автобусе вверх к заоблачным вершинам Сьерры-Невады. Теперь нашим с Натальей Трауберг глазам (мы сидим с ней в автобусе на переднем сиденье) открывается широкая панорама встречающих нас заснеженных гор, которые возникают то справа, то слева (дорога петляет), потом, наконец, нисходят к нам, когда мы вдруг оказываемся у их подножья.

Ознакомившись с окрестностями и отобедав в ресторане на открытом воздухе, мы спустя какое-то время отправляемся в обратный путь все по тому же петляющему серпантину дороги, чтобы, когда стемнеет, успеть увидеть, как вспыхнет и засверкает огнями лежащая внизу Гранада.

Завтра мой доклад. Я к нему готова. И утром следующего дня в Паласио де ла Мадраса я, как только объявили мою фамилию, без страха и упрека (естественно, переводчику доклада — все было сделано блестяще) поднимаюсь на кафедру и, окинув зал взглядом, вдруг в первый раз за все дни нашего пребывания в Гранаде вижу Сережу Гончаренко. Грузный, обмякший, он сидит на

стуле у окна и клюет носом, то ли от недосыпа, то ли, как понимаю я теперь... Нет, я этого не понимаю... Грустно.

Уже несколько лет, как нет его в живых, а мне он все время вспоминается молодым, стройным, высоким и голубоглазым, каким его привел к нам в издательство «Художественная литература» Павел Грушко.

Когда это было? Точно не помню, но Сережа с первых дней появления в издательстве был для меня только Сережей — потому когда однажды он позвонил мне и назвался Сергеем Филипповичем, я совершенно искренне переспросила: «Кто? Кто?» Но то ли подвела электроника, то ли мой вопрос смутил его, — в трубке вдруг послышались короткие гудки.

На свое шестидесятилетие он меня, конечно, пригласил: «Лилечку, — как сказал он своей жене Наташе, — обязательно!»

И вот в малом зале Центрального дома литераторов, где собрались Сережины коллеги, друзья и близкие, он читает собственные, неизвестные мне стихи, в которых громко кричит его разум и явно чувствуется надрыв духовных и физических сил. Потом, заканчивая чтение, Сережа вдруг говорит:

— И наконец, последнее стихотворение! — помолчал, вздохнул и еще раз утвердительно произнес: — Последнее:

Всевышний, не хочу ни славы, ни победы,
Ни восхищенных глаз мне внемлющей толпы, —
Лишь об одном прошу: пускай подольше беды
Не заступают мне и близким мне тропы.
Задорный пусть огонь в моем иссякнет взоре.
На штурм твердынь, клянусь, я больше не пойду,
Но отодвинь, прошу, как можно дальше горе
От всех, кто дорог мне, — и отведи беду

От них, а стало быть, и от меня тем самым.
И больше ничего не нужно мне, Творец!

Что это? Ведь ему только — шестьдесят! Но нет, стихотворение, как я вижу теперь, датировано 2001 годом. Так что, когда он его писал, ему было и того меньше: пятьдесят пять. «Не рановато ли?» — думала я тогда и удивлялась. И уж конечно никак не могла предположить, что его так скоро не станет...

На отпевании в церкви я присутствовала, хотя сама в церковь никогда не хожу. И, если сказать правду, очень удивилась, что и Сережу-то отпевали. На кладбище я не поехала, нет! Но ружейные залпы погребального салюта на похоронах Сережи, о которых я узнала двумя часами позже, потрясли меня до глубины души... Вечная память Сергею Филипповичу Гончаренко!

XXX

Что же касается издательства «Художественная литература» (я ушла из него, отметив свое шестидесятилетие, в июле 1989 года), которым продолжал руководить Георгий Андреевич Анджапаридзе, то оно стало, поспешая, умирать (я сужу по работе своей редакции).

Так, Собрание сочинений (подписное) всемирно известного португальского классика XIX века Жозе Марии Эсы де Кейроша в четырех томах испустило свой дух на втором томе, вышедшем в 1994 году (первый том вышел в девяносто первом году) *в счет дотации, выделенной Комитетом РФ по печати*, о которой ранее, в былые времена, мы не знали и, уж во всяком случае, никогда не оповещали читателя на обороте титула о чем-либо подобном. Ждать реанимации в последующие годы двух оставшихся томов, лежавших мерт-

вым грузом в производственном отделе, не представлялось возможным даже при поддержке Португалии.

Издательство лихорадило, это было ясно каждому. Правда, залихорадило его много раньше, еще при «молодогвардейце», которого нам спустил Комитет по печати из издательства «Молодая гвардия». Однако какое-то время, несмотря на его молодогвардейский задор и замашки (то вдруг предложит космонавту написать предисловие к какому-нибудь тому русского или советского классика, то опубликовать стихи новоиспеченного, никому не известного молодого стихотворца), издательство еще продолжало идти своим путем, издавая классику, под руководством всеми уважаемого главного редактора Александра Ивановича Пузикова, который уже болел. (Вспоминая его сегодня и наши добрые с ним отношения, не могу себе простить, что не откликнулась на его просьбу написать хотя бы две страницы для его книги воспоминаний.) А вот когда его в издательстве не стало, мы все, от работников АХО до старшего редакторского состава, дружно восстали против «молодогвардейца», которого Госкомиздат тут же пристроил в другое издательство, где он дослужился вроде бы до пенсии.

Да, убрать молодого директора сотрудники издательства сумели. А вот сохранить издательство, когда пришел новый, всемогущий, не терпящий критики, зато страсть любящий паблисити Георгий Андреевич Анджапаридзе (он ведь даже снялся в фильме «Осенний марафон» в роли директора ленинградского отделения издательства «Художественная литература» и на презентации в кинотеатре «Октябрь» восседал на сцене с создателями фильма), не смогли. Правда, надо отдать ему должное, что при всем этом он был знающим литературоведом-англистом. Пришел он к нам (естественно, по решению Госкомитета по печати) из

издательства «Радуга». Может, потому «Радуга» и прожила так долго? А «Худлит» — умер. Вернее, не живет и не умирает.

Но ведь именно издательство «Художественная литература» формировало сознание и культуру читателя во всех уголках нашей огромной родины. Издаваемые им тысячными и миллионными тиражами книги рассылались во все библиотеки и были всегда востребованы. Ведь на организуемые издательством вечера к нам старались попасть актеры московских театров, поэты, ученые и даже космонавты.

По уровню своей значимости мы были как Большой театр, Библиотека им. Ленина или Консерватория, которые тоже чуть не рухнули (правда, в буквальном смысле). А мы по вине директора, пришедшего к нам на волне перестройки, и, похоже, плохо осознававшего значение такого издательского гиганта и уж очень заинтересованного в себе самом и своей коммерческой деятельности, рухнули.

Страстно желая сделать из гиганта издательской культуры свое собственное маленькое карманное издательство, Анджапаридзе стал сливать редакции, сокращать редакторский состав, которым всю свою издательскую жизнь дорожил Александр Иванович Пузиков. «Сокращайте кого угодно, только не редакторский состав! Ведь сократить редакторский состав можно в одночасье, а создается он десятилетиями», — всегда говорил Пузиков и стоял насмерть в Госкомитете по печати.

Но... теперь Александра Ивановича Пузикова не было не только в издательстве, но и в живых, и некому было встать на защиту «Худлита», когда при Анджапаридзе, после сокращения штата, стали торговать музейными книгами, снимая их с полок актового зала, растаскивать богатейшую рабочую библиотеку (что от

нее осталось?), нести из издательства старинную мебель: напольные часы с маятником, зеркала и прочий «антиквариат» (в кавычках ли?), и обустроить кабинет репрезентативного директора, который решил перебраться с пятого этажа, где просидели все его советские предшественники, на второй, отобрав замечательное и, как теперь говорят, намоленное помещение, где находился отдел художественного оформления, в котором его редакторский состав работал с незапамятных времен, еще под начальством «царицы» Тамары Вебер — главного художника издательства, а потом и Георгия Клодта, ушедшего на вольные хлеба. И заслуженный коллектив редакции художественного оформления был вынужден перебраться в сделанную для него холодную пристройку.

Поспешила обустроить свою жизнь в издательстве (правда, ненадолго) и секретарь партийной организации. Ее новый кабинет под ее деланные вздохи о невозможности работать под стук молотка и запах краски со всем тщанием ремонтировали по ее желанию и указке (ну, прямо пир во время чумы!) несколько месяцев. Естественно, она надеялась на долгое пребывание в его стенах. Ан, нет! Не случилось. Анджапаридзе убрал ее при первом же представившемся ему случае.

Кабинет главного редактора тоже претерпел изменения, но совсем иного порядка. Вернее, в нем появился творческий беспорядок угнездившегося там нового главного редактора Валерия Сергеевича Модестова, который, сидя за столом Пузикова, почти скрывался за компьютером, прочно обосновавшемся на дубовом письменном столе между все время растущими вокруг него горами книг.

Я наблюдала все это со щемящим чувством свидетеля, не разделяющего такие «революционные» (нет, нет, это я не о главном редакторе и компьютере!) преобра-

зования девяностых годов, которые в результате закончились полным книгоиздательским крахом.

Потом со временем какие-то отдельные, но весьма и весьма далекие от издательского профиля книжечки стали выходить в свет и появляться на прилавке книжного магазина издательства, все еще носившего (но уже не гордо) известный, как теперь говорят, бренд «Художественная литература». И это уже было не началом конца, а почти агонией государственного издательства.

Так что ни о каком третьем и четвертом томе Собрания сочинений португальского классика Эсы де Кейроша (как и прочих классиков с мировым именем!) речь идти не могла. И подписчик их так и не увидел. А жаль! Ведь в этих томах были такие романы, как «Семейство Майя», «Переписка Фрадики Мендеса» и «Знатный род Рамирес» (интересно, сохранилась ли свертка третьего и четвертого тома, подписанная мною в печать?!). А мы ведь в лице тогдашнего директора Георгия Анджапаридзе обещали на презентации первых двух томов в Посольстве Португалии издать все остальные при поддержке заинтересованной страны.

Кто тогда был Послом Португалии? Хорошо помню только, что на презентации первых двух томов он все время меня спрашивал: «Кто же из приглашенных русских есть министр печати и информации?» А я ну никак не могла ни назвать его, ни представить Послу (вообще-то подобное должен был сделать, по всей видимости, Анджапаридзе, но он был, как всегда, занят самим собой), ни даже просто показать новоиспеченного министра, потому что не знала его в лицо. В те годы все и всё так быстро менялось, и отнюдь не к лучшему.

Так вот, на презентации первых двух томов Эсы де Кейроша все тот же малознакомый мне Посол Португалии познакомил меня с советником по культуре, который пообещал помочь издательству получить фи-

нансовую поддержку и на издание тома Вержилио Феррейры. Том должен был выходить в серии «Мировая классика». К этому времени я уже вовсю работала над переводом этого тома, получив стопроцентную поддержку на свой перевод от «Португальского института национальной библиотеки и книги» (таково было новое название бывшего «Португальского института книги и библиотек»).

Где-то в 1996 году издательство «Художественная литература» получила извещение и от Института Камоэнса о выделенной сумме финансовой поддержки на издание тома Вержилио Феррейры.

Сумму поддержки заведующая редакцией назвала грошовой.

И сняла с производства уже переведенный, отредактированный, вычитанный корректором и сданный в производственный отдел том Вержилио Феррейры.

Вот приблизительно так, на наших глазах, начала сворачиваться деятельность крупнейшего в стране издательства «Художественная литература».

Наблюдая за тем, что происходило в главном издательстве страны, забеспокоилась общественность Москвы и Санкт-Петербурга. И вот в газете «Сегодня» в 1995 году появились следующие строки, которые подписала и я, Л. Бреверн:

Газета «Сегодня»

ИСКУССТВО

Среда, 1 октября, 1995 г.

«Худлит» не должен умереть

На днях исполнилось 65 лет старейшему издательству страны — «Художественной литературе».

Это радостное в культурной жизни народа событие омрачено сообщениями «Общей газеты» и программы «Вести» об острой конфликтной ситуации в издательстве.

Сейчас, когда книжный рынок захлестнула волна третьесортной, низкопробной литературы, на фоне падения культуры вообще и культуры книгоиздания в частности, нельзя позволить погибнуть издательству с богатейшей традицией выпуска уникальных книг, известных во всем мире. Именно это издательство долгие годы было эталоном подготовки произведений русской и зарубежной классики. С ним сотрудничали крупнейшие писатели, поэты, ученые. Тексты, подготовленные здесь, становились каноническими для других издателей. Ныне в школах, вузах, на полках книжных магазинов катастрофически не хватает классики, выпущенной специалистами «Художественной литературы».

Мы не имеем права потерять издательство, ставшее культурным достоянием народа. Необходимо помочь ему выжить в сложных экономических условиях и разобраться в том, что мешает коллективу, с которым мы долгие годы плодотворно сотрудничали. Если мы, писатели, сегодня останемся равнодушными, наш народ потеряет еще один очаг культуры и нравственности.

О. Г. Чухонцев, С. Г. Бочаров, Т. И. Пулатов, В. М. Гончаров, Н. К. Старшинов, Е. Н. Лебедев (заместитель директора Института мировой литературы РАН), А. Н. Поздняков, С. В. Михалков, В. Б. Микушевич, В. В. Карпов, В. А. Ленцов, В. А. Костров, В. Терехов, Ю. В. Манн, Н. К. Доризо, В. Н. Крупин, В. Н. Соколов, Л. И. Ошанин, С. Лукницкий, коллектив Российского государственного архива литературы и искусства (директор Н. Б. Волкова), коллектив

Историко-филологического факультета РГГУ (декан Г. А. Белая), коллектив Государственного литературного музея и более чем двадцати его филиалов (директор Н. В. Шехалова), коллектив Государственного музея А. С. Пушкина (заместитель директора Н. И. Михайлова).

По телефону из Петербурга поддержку письму выразили: академик РАН Д. С. Лихачев, академик РАН А. М. Панченко, академик РАН Г. М. Фридендер, В. Э. Вапуру, И. М. Дьяконов, Д. А. Гранин, скульптор М. К. Аникушин, Н. Н. Скатов (директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН), М. С. Трескунов, А. А. Нинов, А. И. Рубашкин.

«СЕГОДНЯ»: Одновременно в редакцию поступило сходное по содержанию письмо критиков, литературоведов и переводчиков. Не имея возможности воспроизвести его текст и полагая, что у авторов двух обращений нет принципиальных разногласий в отношении издательства «Художественная литература», приводим только подписи: академик РАН М. Л. Гаспаров, Л. Г. Андреев, В. Д. Седельник, А. М. Зверев, И. П. Ильин, С. П. Мамонтов, Б. А. Гиленсон, Т. Д. Венедиктова, Ю. П. Гусев, Н. Т. Пахсарьян, Е. З. Цыбенко, В. А. Хорев, Н. А. Соловьева, С. А. Шерлаимова, В. М. Толмачев, В. Н. Кутейщикова, А. Г. Бочаров, В. Б. Земсков, Н. А. Богомолов, В. П. Аникин, А. В. Сергеев, И. Федосенок, Ю. И. Архипов, Т. Венедиктова, А. М. Ревич, Л. Бреверн, Г. Ярославцев, В. Д. Оскоцкий, Б. В. Дубин, М. И. Басманов, Э. В. Брагинская, Л. С. Осповат, А. Мацеевич, С. К. Апт, Е. Я. Суриц, И. А. Бернштейн.

Мы уверены, что весьма многие писатели и филологи были бы рады присоединить свои голоса к обращениям их коллег. Что касается нашего отдела, то стоит напомнить: уже зимой 1992 года мы (тогда еще

в «Независимой газете») писали о государственном значении проблем издательства «Художественная литература». Указывая на грозившие катастрофой трудности, мы стремились обратить на них внимание общественности и тех представителей властных структур, что, игнорируя нарастающие проблемы одного из лучших научно-издательских коллективов страны, обрекали его на исчезновение, а национальную культуру — на невосполнимую потерю. Ответом были исключительно обвинения в некомпетентности и злонамеренности, исходившие как от руководства «Художественной литературы», так и от некоторых коллег-журналистов. Между тем и тогда, и сейчас мы хотели одного — дееспособности издательства. При малейших обнадеживающих знаках с Ново-Басманной (выход в свет давно подготовленных книг или кем-либо субсидированных изданий) мы спешили поделиться искренней радостью со своими читателями. Высоко оценивая достойную работу некоторых новых фирм с мировой и российской классикой, с критикой и литературоведением, мы знали: они не смогут заменить «Художественной литературы» с ее традициями, редакторской школой, культурой работы с авторами, комментаторами и переводчиками. За последние годы издательство утратило слишком много. Однако пока еще существует талантливый и любящий свое дело редакторский коллектив. Помочь ему — значит реально помочь отечественной культуре. Надеемся, что голос не о себе радеющей писательской и филологической общественности будет наконец услышан правительством России. Государственное издательство «Художественная литература» может быть спасено только энергичным и осмысленным вмешательством государства.

Отдел искусств

Однако к призывам разума тех, кто подписал эту публикацию в 1995 году, страна осталась равнодушна. Сегодня тяжело больное издательство «Художественная литература» (былая гордость нашей страны) не живет и не умирает, именуясь сегодня Федеральным государственным унитарным предприятием «Художественная литература».

«Что же вы издаете?» — спросила я, позвонив все еще работающему в стенах этого *предприятия* старому худлитовцу.

«Да что-то издаем...»

«Горько, очень горько».

XXXI

Так вот, как я уже сказала, после отъезда из Москвы португальского Посла Фернандо Магальянэса Круса последовала череда новых Послов и их советников, которых скорее всего просто не интересовало издание в России португальской литературы. И я, честно говоря, все реже и реже стала бывать в Посольстве на приемах, даже по случаю Дня республики. Да и не только я, но и многие другие. На одном из таких приемов, войдя в Посольство, я увидела Виталия Лазаревича Гинзбурга. Мы, как обычно, поприветствовали друг друга. Он пошел вперед в следующий зал, я задержалась в первом. Потом через какое-то время он вернулся и, подойдя ко мне, сказал, пожав плечами:

— Зачем я здесь?! — спрашиваю я себя.

— Вот и я о том же думаю, — ответила я

— А вы кто?

— Я — переводчица португальской литературы.

— Ну так вы здесь по делу.

Минут через десять-пятнадцать Виталий Лазаревич ушел.

Я последовала его примеру.

И вдруг где-то в начале зимы 2002 года (кажется, это был конец ноября) в Россию приехал Посол Жоан Диого Нунес Барата. Приехал и с места в карьер пригласил всех португалистов на обед в ресторан «Шератон-палас-отеля» на Тверской-Ямской, 19. Да, да, это был конец ноября. Шел противный мокрый снег, который лип на высоких каблуках моих кожаных зимних сапог, я скользила и очень боялась упасть. В руках у меня была черная дамская сумка, а в целлофановом пакете — моя визитная карточка: только что вышедший том Эсы де Кейроша в моем переводе. Вошла в ресторан, разделась. Пришедших на званый обед было много. Похоже, обед в ресторане с португальской кухней привлек даже тех, кто теперь уже редко бывал на подобных сходках.

Не без труда я протолкнулась к уже трапезничавшим и тем, кто с тарелками в руках облепил столы с предлагаемыми гостям яствами, среди которых, естественно, присутствовало национальное португальское блюдо *bacalhao*, а по-русски — жареная треска (но какая!). Собираясь положить ее себе на тарелку, я огляделась еще раз вокруг. Ни одного знакомого лица не только среди приглашенных сегодня русских, но и среди португальцев! Нет даже Анны Софии Карвальозы — первого секретаря Посольства. Потом вдруг увидела Марию Фернанду — экономиста Посольства, милую, приветливую женщину, которая тут же подошла ко мне и, по обычаю поцеловав в обе щеки, потащила (нет, нет, не силком, но все-таки очень уверенно) к стоявшему поодаль от всех жующих (как я тут же поняла) новому Послу, чтобы представить меня ему, а его мне. Рядом с Послом, как и положено, был русский переводчик.

Благородное лицо Посла, человека явно интеллигентного, мне сразу понравилось. И я, подав ему руку и на-

звав себя, тут же протянула ему только что вышедший том Эсы де Кейроша. Увидев в руках у Посла книгу, Мария Фернанда, тотчас включившись в разговор, на все лады принялась хвалить меня как переводчицу португальской литературы.

Переводя взгляд с меня на тарахтевшую по-португальски (я так не умею!) Марию Фернанду и снова на меня, Посол, похоже, стал заикаться (это я, конечно, шучу), потому что вдруг принялся повторять один и тот же вопрос: «Traductora do Eça de Queiroz?! Traductora do Eça de Queiroz?!»¹ Ну а прочитав мою дарственную надпись на титуле по-португальски, просто рассыпался в похвалах великому мастеру слова и, конечно, мне, переводчице.

Вот так я была вознаграждена за долгое свое молчание на приемах с «тоже образованными людьми, которые тоже будут, — как сказал мне Посол Фернандо Магальяэнс Крус, — помогать мне в моей благородной работе».

Позже, уже в июне (а может и в мае?) 2003 года, ко мне обратился заведующий Научно-библиографическим отделом ВГБИЛ Юрий Германович Фридштейн с предложением выступить в библиотеке на вечере португальской литературы и рассказать об издании тома Эсы де Кейроша.

— Вечер, — сказал он, — будет посвящен выходу в свет книги «Камозэнс в русской литературе». Свои слова об этой книге скажет Татьяна Балашова, составитель тома. Потом свои слова об Эсе де Кейроше скажете вы.

— Хорошо, я подумаю.

И на следующий день, позвонив Юрию Германовичу, сказала, что согласна принять участие в вечере и приду к семнадцати часам!

¹ Переводчица Эсы де Кейроша?! (португ.)

И вот когда в Овальном зале ВГБИЛ я вышла к столу и посмотрела в зал, то в первом ряду увидела Посла Португалии Жоана Диого Нунеса Барата и его личного переводчика, потом первого секретаря Посольства Анну Софию Карвальоза, советника по культуре Маргариду Гоувейя, Марию Фернанду и других. Словом, все Посольство (нет, не все, конечно), но, по крайней мере, главные лица были в сборе.

И как только я начала говорить, личный переводчик Посла ни на секунду не закрывал рта, шепча тому на ухо, похоже, слово в слово все то, что я говорила по-русски. Иногда Посол по ходу моего выступления что-то переспрашивал у переводчика. Тот тут же отвечал ему. (Переводчик давно работал в Посольстве, хорошо знал меня, так что вполне мог дать ответ на некоторые вопросы Посла, не относящиеся к докладу.)

Следом за мной выступили доктор филологических наук, профессор МГУ Светлана Ильинична Пискунова, Ольга Александровна Сапрыкина и зав. кафедрой романского языкознания, доктор филологических наук Марина Афанасьевна Касарик.

После чего все направились в соседний зал, где должен был состояться фуршет. Вот в этот самый момент ко мне подошел Посол Жоан Диого Нунес Барата и выразил мне свое глубочайшее уважение и большую благодарность за проделанный мною труд по переводу и изданию произведений Эсы де Кейроша в СССР и России, еще не зная, что мною переведено и отредактировано свыше двухсот произведений португальских, бразильских, испанских и латиноамериканских авторов.

Где-то в конце 2003 года, Посольство Португалии попросило меня представить Curriculum vitae.

Устала писать рука, и я решила, отдыхая, подобрать (да уж и пора потихоньку это делать) документальные материалы к книге: фотографии отца в дореволюционное время с Георгиевским крестом, матери в балетной пачке, свой, выданный мне в Португалии, студенческий билет Лиссабонского университета, приглашения в Посольства Португалии и Бразилии и все прочее, что безмолвно свидетельствует об истинности всего того, о чем я сейчас пишу. И вдруг... из большого бумажного пакета прямо мне в руки посыпались наши с тобой, Юрушка, письма, которые ты писал мне из Мирного, Маров, Воркуты и других городов, в которых ты создавал свои монументальные работы. И я стала их читать. Господи, читаю и плачу, читаю и плачу, да, плачу.

Родная моя Лиленька!

Только сегодня собрался написать тебе письмо, очень сильно уставал, много бегал, словом, работал (ты же сама знаешь, как я работаю), так что прости, что долго не писал. Как там у нас?

Ну теперь все по порядку. Летел трудно, всюду из-за нелетной погоды задерживали. Из Домодедово вылетел только в 4 часа утра. Я уж не звонил. Не хотел тебя беспокоить. И так всюду. Словом, летел двое суток. По дороге познакомился со специалистом по алмазам, геологом из Москвы. Он всячески мне покровительствует: живу в люксе гостиницы города Мирного в двух комнатах вместе с ним. (Цена 1 руб. 30 коп. за сутки. Такие уж тут люксы). Те ребята, что должны со мной работать, оказались весьма недружелюбными — эдакие Хемингуэй-охотники, — но беспомощные: жили в интернате, пока я не приехал. Не могли устроиться в гостиницу. Ходят гуськом всюду, даже в сортир. Так что я сам по себе.

Много интересного. Люди живут здесь замечательные. И все, конечно, проникнуто добычей алмазов, хотя об этом как-то не принято вслух говорить. Я видел, как находят алмазы на последнем этапе обработки руды на фабрике. Прямо при мне нашли и мне в руки дали подержать алмаз в 15 карат.

Много рисую на улицах, на фабрике и у себя в люксе, пока еще не надумал, когда отсюда уеду.

Думаю, что до 20 числа буду в Мирном, а может быть, и до конца месяца.

Теперь как у тебя? Получила ли ты деньги? Звонила ли Эля или архитектор? или Эти Моисеевна насчет Минеральных Вод? Как отец? Я что-то очень волнуюсь. Как мать?

Ты это письмо получишь уже тогда, когда, наверное, приедет Бэлка. Поцелуй ее от меня крепко-крепко. Очень хочу вас видеть, трогать, целовать. Кажется, что прошла вечность, а не одна неделя.

Ну ладно, привет всем. Помни, что я тебя очень люблю.

Крепко, крепко целую,

Юра.

Юруш, милый!

Юрушенька, ты мой? Как я по тебе скучаю! Сейчас девять часов вечера и я собираюсь ложиться спать. Как было бы хорошо, если бы ты был рядом. Ты смотри не сожгись на солнце. Купил ли ты себе шляпу или что-нибудь на голову? Очень мне было приятно, когда я наконец получила от тебя письмо. И особенно телефонный звонок. Юруш, я тебе забыла сказать по телефону, что я сама подала в Художественный фонд заявление о продлении Бэлкиного срока пребывания в лагере. Думаю, вопрос решится положительно. Просили позвонить 27.VI. Вышла моя вторая книжка. Интересно, как будет

читаться? (...) В остальном все, как прежде. Отец — так себе. Тамара Андреевна за ним ухаживает. Ты бы написал им отдельное письмо, а то мама твоя обижается. Очень рада, что у тебя все хорошо. Только ешь ради бога. Если будет плохо с деньгами — пиши, понял? Думаю о тебе каждый день, вспоминаю твои грязные (ты говоришь это не грязь, это краска!) лапы. Мой милый, мне их так не хватает. Где и как ты там без меня кормишься? Где ваш архитектор? Бэлочка очень хочет, чтобы ты написал ей письмо в лагерь. Вот тебе адрес: г. Таруса, Калужской области, Пионерлагерь Художественного фонда, Кафенгауз Бэле.

Юрушка, милый, помни, что я тебя жду. Ты, конечно, там трудишься вовсю и тебе скучать некогда. А я скучаю. В воскресенье поеду к Бэлке, повезу ей апельсины, огурцы и ее любимую колбасу, поеду скорее всего одна, а может, с Милой Владовой. Они с Львом Рафаиловичем хотят снять домик в Ладыжино.

Ну, Юруш, спокойной ночи, целую тебя крепко-крепко. А может, ты получишь это письмо утром, а совсем не вечером. Ну, да все равно. Я ложусь спать. Ну приснись ты мне во сне, во сне, как наяву.

Юрушенька, ты мой?

Целую крепко,

Лиля.

Твой, конечно твой, Лилечик! Родной мой.

За меня не волнуйся, у нас сейчас все в порядке, и я даже не очень устаю от работы. И шляпа есть — а-ля плантатор. Мощная шляпа! И сам я почти негр, ну не негр, а араб во всяком случае. Очень рад за твою книжку, за тебя, конечно, хотел бы ее прочесть. Ну приеду и посмотрю (...) Лилушенька, мне без тебя скучно и неинтересно ездить по разным городам. Как бы мы с тобой здесь, в этих городках, побродили бы...

Ну, я думаю, что это мы с тобой еще сделаем. Очень красивые места проезжали, когда ехали через Нальчик в Орджоникидзе на машине. Около Орджоникидзе — Терек. Он очень красив и, знаешь, не лермонтовской красотой, а вполне современной красотой. Свиристый и страшноватый, несется так быстро, что середина реки как бы вздута. Сзади гряда синих гор со снежными вершинами — Казбек. А за ними Грузия, Армения. Обязательно съездим в Армению.

Вообще эти места особенно красивы из автомобиля. Ты едешь, а горы стоят.

Камни в Тереке и других реках точно такие же, как в море, только хуже отполированы.

Да, архитектор уже подписал и картон, и сухой набор, и все бумаги, по поводу которых я волновался. Они уже отосланы в Москву.

Киска, письмо твое получил как раз вечером, спасибо, очень приятно было. И пишу тебе вечером, так что спокойной ночи, Лильчик. И за меня не волнуйся.

Целую крепко,

твой Юра.

Дорогой Юрушка!

Как ты там? Как идет работа? Как ешь, спишь и все остальное?

У нас все в порядке. Мы с Бэлчиком устроились под Тарусой, в Ладыжино. Сняли маленький домик, метров 9, совершенно отдельный. Сняли за 30 рублей и устроились на питание в лагере (завтрак, обед, ужин) на 20 дней. Сейчас идут дожди и как-то не очень. Но природа здесь уж больно хороша и воздух необыкновенный. За питание с нас взяли по 1 р. 20 коп. в день с каждого. Это недорого.

Перед нашим отъездом из Москвы Павел Яковлевич (букинист) прислал девочку, и она сделала список книг

и упаковала три или четыре партии. Заберут их числа 21–25 августа, когда мы вернемся в Москву. Тогда и получим деньги и за эти партии книг, и в Комбинате по твоей доверенности.

Малашонку позвонила. Он обещал выяснить с «Гагариным». Так что, как видишь, дела потихоньку двигаются.

Ты, пожалуйста, береги себя.

Мы тебя крепко, крепко целуем и ждем.

Лиля, Бэла.

Дорогая Лилечка!

Дорогая Бэлочка!

Дорогие мои пионеры!

Очень рад, что вы здорово устроились, даже завидно.

А у нас — черт-те что! Приехали на место стройки и рот разинули: стоит фундамент в чистом поле; и больше ничего. Хотели ехать обратно. Долго ругались с архитектором, и построили стенку (ими она называется «по-научному» пандус). На это ушло 7 дней. Сегодня почти закончили рельеф большой стенки. Впереди — малая и мозаика.

Здесь (в Мирном) работают все с прохладцей, ругаемся мы с ними безбожно. И сегодня архитектор поставил каркас самой трубки. Сейчас все выглядит как настоящая стройка: рабочих до черта, подъемный кран, трактор, автомобили, песок, цемент, леса, грохот. Словом, дым коромыслом. И... комары, мошка, гнус. Меня почти съели. Весь чешусь. Никакие снадобья не помогают! Здесь ведь как: то жара 35°, то прохладно. Днем голый, вечером в твоём свитере. (Кстати, мерки для нового свитера я тебе выслал, можешь вязать новый.)

Лильчик, если погода в Тарусе будет хорошая, оставайся в Тарусе: гарантированный аванс и прочие выплаты ты сможешь получить и позже. У меня пока деньги есть.

Соскучился по тебе и Бэлке очень. Целую крепко обоих. Вышли в конверте ноксирон или что другое — плохо сплю.

Целую, Юра.

Дорогая Лилечка,

Получил наконец твое письмо со снотворным. Очень хорошее письмо. Очень оно мне понравилось. Смеялся, читая письмо Бэлки над ее советом купить противопоко-мариную жидкость.

Комары здесь уже все сдохли. Идет снег, ветер, правда, снег тает. Вчера закончили все работы и два дня ждем худсовет. А его нет и нет, не едет. Как только он приедет, я поеду домой. Очень я соскучился. Ждем, ждем, тоска смертная. Досадно, что теперь и деньги уже не войдут в квартальную выплату.

Мы устали очень, последнюю неделю было очень тяжело работать. Все чихаем, а у меня с Кимом болят зубы.

Очень хочу видеть тебя и Бэлку и очень хочу быть с тобой.

Целую, Юра.

Дорогой Юрушка!

Посылаю тебе третий конверт с лекарствами. Всё ли дошло? Очень жду тебя на праздники: твой день рождения и Новый год. Очень хочу быть вместе. И уже заранее, да, да, меня пугает, что ты опять будешь должен уехать. Не хочу!

Пленки цветной 6х9 нет!

Ждем тебя и целуем,

Лиля, Бэла.

Дорогая Лилечка!

Все-таки лучше, конечно, получить гарантированный аванс, чем отпуск. И я на всякий случай написал

заявление в Комбинат и на то, и на другое. Так будет и аванс, и отпускные.

Очень скучаю и чудовищно устал.

Твой Юра, целую.

Милый родной Юрушка!

Опять к концу твоего месячного отсутствия вижу тебя во сне и мечтаю о том, когда ты приедешь. Лапы у тебя, конечно, шершавые, нос облупленный, а губы мягкие. Очень жду тебя.

В Москве все дела, кроме кооперативных, т.е. то, что мы должны делать вместе с тобой, потихоньку завершаются. Да, ведь я тебе писала, что получила последние деньги за проданные букинисту книги. Кое-что взял (купил) Николай Иванович Павленко и Зимин Александр (ну не помню отчества), ну тот, который написал о «Слове о полку Игореве», что это подделка. Николай Иванович оценил «Атлас» в 50 рублей. Но «Атлас» пока дома.

Милый, родной, мечтаю о тебе как сумасшедшая. Целую тебя, крепко-крепко. Береги себя. Мы с Бэлчиком ждем нашего хорошего, милого, умного, самого умного и красивого папчика.

Лиля.

Милая Лилечка!

Получил твое письмо. Ты бы поспокойнее там! Поменьше переживай и за меня, и за Бэлку. Письмо идет 7 дней. Значит, получишь его числа двадцатого. Вот, конечно, у Бэлки нехорошо. Как же это она по математике четверку получила? Ей ведь нужны одни пятерки для поступления. Боюсь, что она и по-русскому больше четверки не получит. Может и не пройти по очкам на свой биофак.

Но ты-то себя как-нибудь держи в руках, не нервничай. Придумай для себя что-нибудь успокаивающее, на-

пример, хвойные ванны или массаж с физкультурой, ну что-нибудь времяпоглощающее.

Я задерживаться здесь не буду, числа 10 августа все кончится. Я здоров. Ничего не болит. Как-то даже чудно?! Живот не болит. Зубы время от времени ноют (это, наверное, от простуды!), но сейчас не болят, и хорошо.

Здесь очень жарко — тридцать пять градусов в тени, а мы на солнце! Но вообще я здоров, бодр и все в порядке. И очень хочу тебя целовать и ласкать.

Твой Юра.

Бэлку целую крепко и очень переживаю за нее.
Мур, Мяс, Гав!!!

Юруш!

Я очень расстроена твоими делами! Как это меня не касается? Очень даже касается!

Я очень надеялась, что этот хороший мастер, — как его характеризовали в Комбинате, да и ты говорил, что он — мастер своего дела! — обеспечит завершение работы к 1 мая. А что получается сейчас? В чем дело? Они что, пьянствовали периодически или напились только на Пасху? Ну так Пасха — это святое дело, сам Бог велел! Но прошла Пасха, и за работу, конечно, не без воскресных дней (отдых нужен). Они совсем не обязаны работать, как ты, до самоистязания и, кстати, истязания своих близких. Им это ни к чему. Они зарабатывают деньги, а не творческий успех! И им хочется получить деньги и расслабиться. А ты не даешь. Боюсь, что доля твоей вины во взаимоотношениях с работягами есть. Но разрешать им уезжать в Москву сейчас, не закончив работу до 1 мая, нельзя никак. Договор! Если они, не закончив к 1 мая, уедут в Москву, то они в лучшем случае проведут в Москве весь май. Ведь в мае праздников, как ты говоришь, до черта! И они вернутся к работе (если вообще еще раз поедут) только в июне месяце.

Значит, полетит наш Коктебель, а ведь я взяла путевки. Кроме того, зачем мне нужна была гонка со сдачей рукописи в набор, ведь я ее сдаю на полтора месяца раньше, а в ней 18 печатных листов? Это тоже форсированный труд! И мой труд! Я же в Коктебель еду не только отдыхать, но и работать!

Да, с тобой вечная неуверенность в завтрашнем дне и вечные жертвы. Во имя чего? Во имя твоей работы, которую ты до отупения делаешь, забывая обо всем на свете.

Кстати, перед отъездом к тебе этот хваленый Федоров, или как там его, мне (не зная, что я твоя жена) сказал, что он едет, но, возможно, вернется. И я не поняла, да нет, все я поняла, почему.

Сейчас я считаю, что надо приложить все усилия, завершить работу к 1 мая. «Майские обязательства», так сказать, естественно, давая отдых работягам или платя им сверхурочные. Подумай хорошенько и заставь работать сейчас, потому что с 1 мая по 12 мая никто, никакой дурак, кроме тебя, ты меня извини, работать не будет. А они попросту уедут — праздники. А у нас с тобой с 20 мая путевки.

Я одна в Коктебель не поеду. Для себя одной я могла бы взять путевку в Дубулты, все на тот же май. Сил просто нет с тобой: вечная неопределенность и нервотрепка!

Юршик родной, воодушеви своих работяг деньгами, чтобы закончили работу к 1 мая. Не стоит жертвовать нашими чувствами, отдыхом и всем остальным, ей-богу!

Целую крепко, крепко,

Лиля.

Юрушка!

Срочно напиши, как называется краска, которая тебе нужна по адресу: Москва, МИД, СССР. Посоль-

ство СССР в Португалии. Бреверн Лилиане Эдуардовне.

У меня все хорошо. Только очень устаю. Занятия в Лиссабонском университете с 9 часов утра до 6 часов вечера с трехчасовым перерывом на отдых и обед. Поесть успеваю, а отдохнуть нет. Ведь я еще частенько бегаю к своим писателям на встречи, как в перерыв, так и после 6 часов вечера, а то и много, много позже. Тут ведь вся жизнь начинается после 12 ночи, а я хочу спать. Так что уж как получается.

Целую крепко. Лиля.

**Москва. МИД. СССР. Посольство СССР
в Португалии. Бреверн Лилиане Эдуардовне.**
Черновцы. Главпочтамт, до востребования, Кафенгауз Ю.Б.

Лилечка!

Очень скучаю. Ужасно. Рад, что получил от тебя письмо. Краска называется в голландском наборе «Rebrant». Во французском «Печталек» (написано непонятно), в ФРГ — «Берлинская лазурь». Это концентрат небесно-голубого в разбеле (?). Ее в СССР не выпускают. Целую крепко, Юра.

P.S. Рассчитываю пробыть в Черновцах до 18–20 августа.

Юра.

Юрушка, лапчик!

Я вылетаю из Лиссабона 12/VIII. Рейс 332 в 10 утра (по лиссабонскому времени). Буду в Москве в 19 ч. 15 мин. (по московскому времени).

Если не сможешь быть в Москве (почему-либо), я как-нибудь доберусь сама, или Бэлчик (если она еще в Москве) встретит.

Все хорошо. Целую крепко-крепко, Лиля.

Юрушка, родной!

Прилетаю 2 мая в 17.25 рейсом СУ-583 из Рима. Самолет вроде бы «Рим–Москва–Токио», а может «Рим–Москва»?

На всякий случай телефон ССОД (Союз Советских Обществ Дружбы) 290-24-62. Ты все можешь спросить у Игоря Ароновича Ермолаева, если мы задержимся.

Теперь о Коктебеле. Прежде всего позвони ребятам на Шаболовку 232-23-94. Аня (сестра Бэлкиного Саши) или Сережа (ее муж). Они скажут, взяты ли нам билеты на поезд или нет. Если нет, то: Курский вокзал, на Феодосию, на 4 мая (поезд только по четным числам).

Деньги оставляю — 50 рублей и уребят на Шаболовке — 40 рублей на билеты.

Очень соскучилась.

До встречи.

Да, ребята: ул. Лестева, 17, кв. 14.

Лиля.

А вот и письма Бэлочки, которая присылала нам их с ББС (Беломорской биологической станции МГУ, базирующейся на Белом море), где она, уже будучи студенткой биофака, каждый год проходила практику.

Мамчик! Привет!

Получила твое письмо (пиши, пожалуйста, разборчивей).

Вчера исправилась погода — солнышко. У всех настроение исправилось. Здесь уже грибы — подберезовики. Второй раз жарим на всю группу. Вообще-то мы тут каждый вечер что-нибудь жарим: то рыбу, то оладьи, то грибы; всем приходят посылки, так что жить можно, но жрать хочется ужасно.

Мама, ты, если сможешь, пошли мне посылку, как получишь это письмо (она долго идет). Пришли приблизительно 10 пачек халвы и еще чего-нибудь на свое усмотрение.

Папе письмо написала. Что буду делать после практики в июле — не решила, но на всякий случай хорошо было бы выслать приблизительно 30 рублей.

Я целыми днями работаю, даже письмо пишу, сидя за установкой. Не помню, писала я тебе или нет — я работаю на морских звездах. В отлив ходим по «берегу» (морское дно) и собираем звезд, медуз, морских червей и т.д.

В хорошую погоду здесь красиво, а в плохую тоскливо и работать лень, потому что хочется спать. Мы насушили морских звезд на печке, получилось красиво, привезу, если не поломаю.

Вроде всё.

Пиши, как ты там живешь, как справила день рождения?

Целую крепко,

Бэла, 5/VII.

Мамчик! Привет!

Как ты там? Это очень плохо, что я так долго не писала. Дело попросту в том, что я все никак не могла решить, что мне дальше делать и как быть. Настроение у меня менялось 100 раз на дню: то в Москву, то в Севастополь, то — остаться здесь, потом перебирала все варианты, и никак. Моя группа уехала отсюда 22 июля. Я осталась официально — делать курсовую работу, но это, как ты понимаешь, фикция. Под этим соусом я могу тут жить сколько хочу, а здесь очень здорово. Работать в Москве (а в Москву я ехать хотела только для этого), то есть ходить каждый день в МГУ и сидеть там с 10 утра до 11 вечера в подвале у меня нет сил и неохота; ехать отдыхать в Севастополь — это в некотором смысле чушь

(из города Москвы — в город Севастополь??? Как вспомню Алушту, так вздрогну). Поэтому (сегодня, во всяком случае) я решила остаться здесь до конца августа.

Тут красиво, море, купаемся (вода 17° С), грибы, ягоды. Пока черника, а дальше будет — голубика, брусника, костяника и т.д. Привезу ягод. Намаринуем брусники. Грибы уже сейчас мариную, и едим их через 3 дня — великолепно!!!

Чтобы было быстрее, пожалуйста, пришли телеграмму о том, какого ты мнения придерживаешься по этому поводу!!!

Мамчик! Милый мой, я тебя целую очень крепко, соскучилась.

Вышли телеграмму, чтобы я знала твое мнение.

Целую крепко,

Бэла; 29 июля.

Мамуля! Наше Вам с кисточкой!

Вчера получила твою посылку, и деньги, и письмо (т.е. 13 августа). Большое спасибо. Видишь, как долго идет сюда посылка. Яблоки дошли очень хорошо, а огурцы все сгнили. Вообще мы вчера получили 4 посылки на 6 человек. Прямо-таки уелись. Кроме того, грибами я объелась, ну на всю зиму хватит. Я такого никогда в жизни не видела. Представь себе: берешь большое ведро и прямо за лабораторией за 15 минут набираешь его полным подберезовиками. Это без всяких преувеличений. Вообще здесь все очень целесообразно устроено: грибы растут там, где люди чаще ходят, а далеко — их нет. Например, идешь по берегу моря, а прямо у кромки воды (здесь же нет камней или песка, здесь сразу лес) растут грибы.

Не помню, писала или нет: у нас уже давно никаких белых ночей нет. Темно ночью — ужас, даже ходить страшно, того гляди, свалишься: ничего не видно

и небо — черное, а звезд нет. Не знаю почему. Говорят, зимой здесь северное сияние во все небо и цветное бывает, а чаще все-таки белое. Вот здорово бы посмотреть. Прочла «Убить пересмешника». Ты не беспокойся, со жратвой у нас все в порядке: посылки косяком пошли. Когда приеду, не знаю, но думаю, что 31 августа утром (это, значит, поезд уходит отсюда 29-го вечером). Дело в том, что у Сашки день рождения 28 числа. Но точно я еще не решила. Очень рада, что папа уже закончил свою работу. Хорошо бы вам отдохнуть немного. Может, в Тарусу на недельку, а? В это время ведь оттуда уже все дачники разъезжаются.

А здесь отдыхать чудесно. Представь себе, напротив нас остров Великий, там заповедник и в нем живет единственный человек — сторож Артур. Уже сколько лет живет. Вот так бы одной пожить хоть месячишко. Крутом птицы, море, ягоды, грибы. Да, я два раза видела тюленя. Только, говорят, раньше их было куда больше. Прямо у нашего пирса (причала) они выплывали, а теперь у ББС море грязное. Еще говорят, белухи тоже прямо здесь же плавали. А они, когда выныривают, то шумно дышат: ух, ух. Идешь по берегу, а за тобой: ух, ух, оборачиваешься, а это белуха, она белая-белая. Это дельфин такой. Только теперь этого нет, а жаль.

Это очень здорово, что папа купил мне серьги. Приеду, пойду на Калининский прокалывать уши, в этот Институт красоты. Там, говорят, хорошо очень делают.

Да, ты знаешь, 1 сентября — воскресенье. (Это чтобы ты не волновалась.)

Папа уже, наверное, придет, когда ты получишь это письмо. Я его целую. Вообще я очень рада, что ты наконец написала вразумительное письмо. Я теперь в курсе событий. Насчет Никсона я знаю, но это меня как-то не очень волнует. А про то, что бабы — дуры, Столбова дела плохи, а в ванной и сортире дырки аккуратные

проделали — это все очень интересно. Особенно мне понравились твои политические дела в заграничных газетах. Очень я за тебя рада. И вообще, если настроение у тебя соответствует духу письма полностью, это здорово! Здорово!

Целую крепко вас обоих,

Бэла.

Пишите. 14 августа.

Мамчик! Папка! Привет!

Как вы там? Что-то я волнуюсь, что от вас до сих пор нет ни одного письма. Все ли в порядке? Или вы обиделись, что я написала очень коротенькое письмо? Я все жду и жду ответа, но, видно, не дождусь.

Я здорово закрутилась последние дни с работой. Мне Бабская (преподаватель, которая проводит здесь практику физиологов III курса) дала 3-х девочек, и нам вчетвером удалось сделать очень хорошую работу.

Тут получились очень интересные результаты и абсолютно новые, так что очень хорошо, что я поехала. Эта работа отчасти продолжение той, по которой написана статья (зимой), но гораздо лучше и ценнее. Сегодня практика 3 курса кончилась, и они уезжают в Москву 13 июля, а я хочу еще до конца месяца тут кое-что доделать, потому что в Москве этой работой заниматься нельзя, а если оставить все так, как есть, то надо будет продолжать следующим летом, а я хочу все побыстрее.

Саша¹ приехал 2 июля. Живем мы отдельно: я с девочками, а он с мужиками — в этом проявляется полное идиотство здешнего начальства, которое прекрасно знает, что мы муж и жена.

¹ Александр Борисович Цетлин — доктор наук, профессор МГУ, директор Биостанции МГУ на Белом море.

Меня просто бешенство разбирает. Ну что за хамство, скажите, пожалуйста? Ну я могу понять: много народа, нет лишней комнаты; ну так надо это сказать, извиниться, наконец пообещать («как появится возможность»...) А то никто ничего, будто все в порядке вещей.

В конце-то концов, мы приехали сюда работать, университет кончили; почему мы должны жить врозь и со студентами?

Как у вас с погодой? У нас тут холодно, а главное, дождь. Пусть бы уж холодно, но без дождя.

Когда Лилина Вера уезжает в лагерь? И вообще, что там у вас интересного творится? Пишите.

Целую, Бэла. 10 июля.

XXXIII

Когда в очередной раз позвонил Жорж (теперь, после проверки его документов в гостинице, он в Москве не бывает, но звонит, как правило, около Нового года, вернее, под европейское Рождество), он сказал мне, что племяннику наконец удалось сменить свою материнскую фамилию на отцовскую:

— Так что он теперь...

— Ну что ж, — прервала я его, — мои ему поздравления. Советское время, надо думать, кануло в вечность, а потому теперь нет нужды бояться иметь знатную фамилию. Ее можно открыто признать и носить без зазрения совести, считая ее заслуженной наградой. Вопрос только — за что?

Так что пусть гордится происхождением, доставшимся ему от деда, с которым, как говаривал вам мой племянник, он поступил бы так же, окажись он на месте своего отца. Но отец-то его был пятнадцатилетним ребенком, а ему-то уж, поди, полсотни отстукало, к тому

же все дела тридцать седьмого — тридцать девятого в открытом доступе, пора бы было с ними и ознакомиться. Звоните, я всегда рада вашему звонку, Жорж, — сказала я и, уже собравшись положить трубку на рычаг, вдруг одумалась. — Жорж, а вы-то все-таки чем сейчас занимаетесь и поддерживаете ли отношения с Бернхардом Бреверном, возглавляющим сегодня нашу большую немецкую семью?

— Да, иногда еще езжу куда-то. Но это скоро кончится, Лилиана, годá! Как-никак к шестидесяти пяти подбирается. Потом, диабет мучает. Да и какая-никакая пенсия есть. А теперь еще прибавку к ней получаю.

«Вот так вот, — подумала я, — скоро шестьдесят пять стукнет, а за душой — ничего, кроме дворянского достоинства, означенного в книге «Семья фон Бреверн», да пенсии — венца прожитой жизни.

— И будете болтаться без дела в свои-то шестьдесят пять? — поддела я его.

— Скорее всего займусь делами русского кладбища. Моя жена вот работает при церкви, я ведь вам говорил.

— Да, да, но вы-то где? На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа?

— Нет, нет, я буду заниматься... да не будем определять события.

— Не определять, Жорж, а опережать. Ну, всего доброго. Здоровья Вам!

Когда состоялся этот разговор, не помню, но, конечно, много позже того, как я отдала Жоржу написанную мною бумагу о моем отце. Ах да, это можно проверить. Ведь бумагу об отце, которую я отдала тогда ночью Жоржу, я сознательно ксерокопировала. Потом перевела на немецкий язык, вернее, это мне сделала соседка-немка, и отослала Бернхарду фон Бреверну.

Вот она. Значит, это был 2003 год. А ответ на нее я получила 19.01.04. А вот и доподлинный ответ досточти-

мого Familienstiftung V. Brevern¹, который ничего, кроме раздражения, у меня не вызвал.

XXXIV

Второго сентября 2004 года в Выставочном зале на Кузнецком, 20 состоялся вернисаж первой и последней (при жизни) персональной выставки моего мужа — живописца, графика и монументалиста Юрия Бернгауза.

Честный, бесконечно требовательный к себе художник, с 1954 года участвовавший в зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках, создававший монументальные работы в буквальном смысле от Москвы до самых до окраин (Москва, Воркута, Мары, Мирный), он никак не соглашался на персональную выставку, говоря: «Мне есть еще над чем поработать», и все откладывал, откладывал, откладывал.

Однако подошедший 75-летний юбилей решил эту проблему мгновенно.

Вот тогда-то мы и начали готовиться к персональной выставке. Я, дочь, зять и внучка взяли на себя все, что не сумел бы сделать сам художник. Зять перевозил отобранные Юрием картины, дочь печатала все, что надо было печатать, внучка разослала во все газеты и журналы рекламу. А я связалась с каналом «Культура», по которому с первых дней открытия выставки на Кузнецком, 20 в новостях культуры шел материал, отснятый в мастерской Юрия Кафенгауза. Я же написала и «Слово о художнике», позже опубликованное в октябрьском номере газеты «Наш изограф».

¹ Семейный фонд Бревернов (нем.).

На вернисаж пришло руководство МСХа, товарищи по цеху, друзья... Поздравляли, произносили речи, говорили добрые слова и очень удивлялись, что персональная выставка Юрия Кафенгауза — первая за пятьдесят творческих лет.

Затем пришел зритель и приходил каждый день вплоть до закрытия выставки. Молодые и старые, профессионалы и любители, литераторы и студенты художественных вузов, которые оставляли свои благодарственные записи в книге отзывов.

Ну а мы с мужем, начиная с вернисажа, каждый день до шести вечера проводили в залах, встречая гостей — знакомых и незнакомых, званых и незваных, принимая от них как изустно, так и письменно (в книге отзывов) благодарность «за яркую, жизнерадостную выставку...», «за светлое представление о жизни...», «торжество цвета...», «симфонию мелодических красок...», «чарующий мазок...», «большое мастерство с ярко выраженным почерком, своим, неповторимым...» и, наконец, за «замечательную душу художника, которая просматривается за разнообразием техник, поиском форм, и насыщенность цветом и жизнью».

А возвращаясь вечером домой, включали телевизор и еще, и еще раз смотрели, как бы со стороны, на мелькавшие на голубом экране полотна хорошо знакомого нам художника.

Ну, а поскольку все имеет свое начало и конец, кончилась, а вернее, закрылась Юрина выставка, и начались наши обычные трудовые будни: у мужа — в мастерской, куда он отправлялся ежедневно, как бы он себя ни чувствовал, а у меня — дома, за письменным столом.

Но теперь, когда стрессовое (все-таки стрессовое) состояние кончилось, Юрий нет-нет да стал чувствовать какие-то боли в животе слева, не говоря уже о тех болях, которые давно ни при каких облегчающих душу

состояниях никуда не уходили. И он решил обследоваться (естественно, не переставая работать!)

Не переставала работать и я, время от времени вспоминая об отданных в Посольство листках своего Curriculum vitae, тем более что мое 75-летие уже состоялось в июле 2004 года. А ведь мне кто-то из посольских, а может из наших русских, работающих в Посольстве, как-то сказал, что мое 75-летие решено отметить.

Обследование Юры, который сегодня смотрит на меня неотрывно со всех своих фотографий, стоящих на моем письменном столе, просто потрясло нас. Обнаружена аневризма аорты и подвздошных артерий, разрыв которых повлечет за собой мгновенную смерть. Операция показана, да! Но кто даст гарантию (да никто!), что он встанет с операционного стола? Ведь у него было три инфаркта, астма и... Господи! Как же была глупа наша молодость, когда в Ирпене (Доме творчества писателей) под Киевом, куда Юра приехал после тяжелой работы на чудовищной жаре в городе Мары (Туркмения), мы, обратившись к врачу-кардиологу (Юра себя плохо чувствовал), который жил со мной в одном коттедже и пользовал живущих в Ирпене писателей, не послушали его, когда тот сказал, что у Юры «сердечная зевота», и это серьезно! И прописал серьезное лекарство, которое мы решили, по глупости, конечно, не принимать. А ведь послушай мы его тогда, может, в восемьдесят седьмом мы упредили бы тот страшный трансмуральный инфаркт, а в 2008-м — все остальные сердечно-сосудистые беды. Да, народная мудрость гласит: «Знать бы, где упадешь, соломки подстелил бы». Так то — мудрость! Она приходит с годами (и то не у всех!). А тогда, «тогда мы были молодыми и чушь прекрасную несли, фонтаны были голубыми и розы красивые росли», как писала Юнна Мориц.

Ну вот и окончился две тысячи четвертый год и начался две тысячи пятый: январь, февраль, март, апрель... Что же происходило в эти месяцы? Да, как всегда, много всего... Но вот в конце апреля произошло, а вернее, случилось нечто невероятное: мне позвонили из португальского Посольства и сказали, что я, Лилиана Иоганнес-Эдуардовна Бреверн, награждена Президентом Португалии орденом Инфанта Дона Энрике, и что вручение ордена состоится 4 мая 2005 года в 17.30 в Посольстве Португалии, и что я лично от себя могу пригласить 15 человек.

Честно сказать, я была потрясена услышанным и долго переспрашивала советника по культуре Маргариду Гоувейя, которая так тараторила по-португальски, что я, не имея устной практики (я же всегда была связана с печатным словом), не очень ее понимала.

А она, на той же скорости, а может, и увеличив ее, произнесла те же слова и в том же количестве еще раза два и, распрощавшись со мной, похоже, уже на ходу — она всегда куда-то спешила — повесила трубку. Повесив трубку, я бросилась к португальскому толковому словарю «Lello» и, раскрыв его на странице Ордена и медали Португалии, была изумлена набором знаков отличия этого ордена. Который из них? — вопрошала я себя, потом, перелистав страницы все того же словаря, остановилась на статье об Энрике Мореппавателе (португальском инфанте, сыне короля Дона Жоана I и Доны Филиппы де Ленкастре), рожденном в Порто в 1394 году. А продолжая читать статью дальше, узнала, что Энрике Мореппаватель — это одно из самых известных имен не только в истории Португалии, но и в истории европейской цивилизации. Как следовало из статьи, Энрике принял участие в знаменитой экспедиции

в Сеуту¹, создал мореходную школу, построил астрономическую обсерваторию и верфи для строительства португальских каравелл. Потом пригласил в Португалию космографов, выдающихся математиков и с ними и со своими приверженцами стал изучать морские карты. И каждый год одна из его каравелл, построенная и оснащенная на его личные средства и ведомая его единомышленниками, естественно, находившимися у него на службе, уходила открывать новые земли. Умер Энрике Мореплаватель в 1460 году, подготовив все необходимое для того, чтобы позже, уже спустя 38 лет, совершил свой подвиг Васко да Гама (1469–1524), проложив морской путь из Европы (Лиссабона) в Южную Азию (Индию), обогнув Африку. Энрике Мореплаватель похоронен, как и его родители, в монастыре Баталья.

Надо сказать, Баталья — красивейший монастырь: готическая архитектура с крытыми галереями и великолепными витражами. Построил его Дон Жоан I в честь победы при Алжубароте над испанским королем Доном Хуаном. Монастырь я видела своими собственными глазами в 1976 году, когда посетила Португалию в первый раз.

Да, потрясающие сведения об Энрике Мореплавателе!!!

Теперь я бросилась к Большой Советской Энциклопедии: ну должен же Дон Энрике Мореплаватель там быть! Долго искала на Энрике, но безуспешно. И вдруг совершенно случайно словарь открылся на букве «Г», и среди 22 английских, немецких и французских Генрихов я нашла португальца Генриха Мореплавателя.

¹ Сеута — город в Африке на севере Марокко; порт в Средиземном море напротив Гибралтара, которым завладел, отбив его у мавров в 1415 году, первый португальский король Дон Жоан I.

И что же я о нем прочла в нашей единственно достоверной и неукоснительно точной энциклопедии (так все мы, старшее поколение, знали ее с молодых ногтей)! А вот что:

«Генрих Мореплаватель (Dom Henrique o Navegador (1394–1460), португ. принц (сын Жуана I), организатор морских экспедиций к северо-западным берегам Африки, положивших начало португ. экспансии на этот материк. По инициативе Г.М. начался вывоз афр. рабов в Португалию».

И больше ничего!..

Ну и занесло же меня сегодня, когда я пишу эти строки о 2005 годе, принесшем мне известие о моем награждении орденом Инфанта Дона Энрике. Отложив в сторону словарь «Lello», я судорожно стала составлять список приглашаемых мною друзей и коллег на торжественное вручение мне ордена в стенах португальского Посольства. И надо сказать, управилась довольно быстро. И стала так же быстро обзванивать всех тех, кого хотела видеть на своем торжестве. А когда всех пригласила на назначенный день и час, предложенный мне португальским Посольством, вдруг снова позвонила советница по культуре и сказала, что хотела бы изменить время. На что я ответила прямым отказом.

— Невозможно, Маргарита, — сказала я, — я уже всех пригласила на семнадцать тридцать.

Тогда она запросила все адреса и телефоны приглашенных, чтобы подтвердить им желание Посольства видеть их в назначенный день и час.

А сама я стала ждать официальных приглашений мужу и дочери. Их принесли утром 4 мая.

В столь значительный для меня и торжественный день я была в черном костюме из тафты и черных португальских туфлях на высоком каблуке с двумя книгами в руках: томом Эсы де Кейроша, вышедшим в издатель-

стве «АСТ» в серии «Мировая классика», и романом Вержилио Феррейры «Во имя земли», вышедшем в издательстве «Б.С.Г.-Пресс», ну, и конечно, заготовленным текстом своего выступления.

В числе приглашенных были: Нина Сергеевна Литвинец — руководитель отдела книгоиздания Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с которой я была знакома еще по издательству «Прогресс», где она когда-то была директором; директора и редакторы книжных издательств «Б.С.Г.-Пресс» и «АСТ», в которых издавались в последние годы мои переводы, и заведующий Научно-библиографическим центром ВГБИЛ Юрий Германович Фридштейн. Еще среди приглашенных были: Евгений Солонович — переводчик итальянской поэзии, Виталий Гнатюк — переводчик и диктор Московского радио (редакции вещания на Португалию) и другие.

Первым взял слово новый Посол Португалии Мануэл Марсело Курто (как оказалось, он неплохо говорит по-русски), сказав, что мне присвоен орден в чине офицера, чем тут же отвел иронический крючок, на который хотел было подцепить меня Женя Солонович, шутиливо бросивший, что мне еще служить и служить португальской литературе, чтобы дослужиться до офицерского чина.

— Нет, нет, — сказал Посол, — Лилиане Бреверн 13 декабря 2004 года присвоен орден в чине офицера, о чем свидетельствует наградной лист, который я сейчас вместе с орденом и вручу ей.

Что незамедлительно сделал.

Теперь пришло время держать ответ мне. И вот что я тогда сказала:

«Ваше Превосходительство господин Посол Португалии Мануэл Марсело Курто и госпожа Марсело Курто, дамы и господа!

Я чрезвычайно признательна Португалии за высокую оценку моего труда. Чрезвычайно признательна Ассоциации португальских писателей, которая после визита ее президента Жозе Гомеса Феррейры в нашу страну в 1975 году и моей беседы с ним в издательстве «Художественная литература» прислала мне, редактору, для работы пять ящиков классических и современных произведений португальской прозы и поэзии. Признательна и всегда помню президента Лиссабонской академии наук Жасинто до Прадо Коэльо, посетившего наше издательство и пришедшего в восторг от изданного у нас в стране произведения Фернана Мендеса Пинто «Странствия» (XVI век), да еще с комментариями. Признательна, помню и храню письма писателей (их у меня более двухсот) Жозе Гомеса Феррейры, Жасинто до Прадо Коэльо, Ромуло Карвальо, Софии де Мело Брайнер Андресен, Вержилио Феррейры, Фернандо Наморы, Жоакина Пасо Д'Аркуса, Урбано Тавареса Родригеса, Мануэла Сеабры, Марии Ондины Брага, Марио Клаудио, Жозе Сарамачи и других, которые во время моей стажировки в Португалии в 1978 году на филологическом факультете Лиссабонского университета, куда я была направлена Комитетом по печати СССР, познакомили меня со страной, ее культурой и всем тем, что могло быть мне необходимо в моей работе.

Чрезвычайно признательна я и «Португальскому институту книги и библиотек». Он все время опекал меня, высылая справочную литературу и периодику: «Литература, искусство, философия» и журнал «Литературные беседы». Сегодня я получаю газету «История и антология португальской литературы». Самым ценным для моей работы переводчика стал присланный том «Открытие Португалии», который особенно помог мне, когда я переводила роман Виторино Немезио «Непогода в проливе», поскольку ни на

332

Азорах, ни на Мадейре я не была. С 1993 года «Португальский институт книги и библиотек» начал оказывать мне поддержку в соответствии со своей программой поддержки перевода, что и дало мне возможность в наши трудные годы перевести и издать несколько книг. Последние две вышли в 2002 и в 2003 годах. Это том Эсы де Кейроша (в серии «Мировая классика»), в который вошли романы «Кузен Базилио», «Город и горы» и повесть «Мандарин». И отдельное издание романа Вержилио Феррейры «Во имя земли». И ту, и другую книгу сегодня я с большой радостью имею честь преподнести Его Превосходительству Послу Португалии Мануэлу Марсело Курто».

Неделей позже мы с мужем в нашем доме за нашим небольшим (непьющим) столом отпраздновали это знаменательное событие в кругу (опять же небольшом) друзей и наиболее близких коллег, которые вольно или невольно способствовали моим успехам в переводах и получении ордена. Это, конечно, Татьяна Бердикова — главный редактор издательства «Б.С.Г.-Пресс» и его директор Александр Иосифович Гантман, естественно, Юрий Германович Фридштейн, Виталий Гнатюк, переводчик и диктор Московского радио на Португалию и Бразилию. И Наташка, Наталья Леонидовна Трауберг (сегодня ее уже нет в живых), с которой у нас был пройден большой путь от взаимного неприятия, когда я редактировала ее перевод с португальского (что это было — «Посмертные записки Браз Кубаса»? Нет, не помню, она ведь переводчик с испанского), до душевной близости, которая вдруг возникла у нас друг к другу во время нашей поездки в Испанию, когда мы, сидя на переднем сиденье в автобусе, поднимались к белеющим вершинам Сьерры-Невады, и продолжалась практически до последнего дня ее жизни, когда я, честно говоря,

не зная, что она сама уже на пороге смерти, позвонила ей и сказала, что мой муж умер.

— Как же тебе должно быть плохо! — с состраданием сказала она мне.

То были ее последние слова, которые я слышала.

Вообще чаще всего люди становятся задушевными друзьями после какого-нибудь кризиса в их отношениях, когда и тот, и другой может беспристрастно оценить степень утраты.

А может, это только в моей практике?

Примерно в тот же год, может, в ноябре 2005, Посольство Португалии провожало своего первого секретаря и по совместительству советника по культуре (высокообразованную и интеллигентную, как мы, русские, называем таких людей) Анну Софию Карвальоза в Норвегию. Пошла на повышение (узнала я), и по заслугам. Посол Мануэл Марсело Курто устроил ей по этому поводу прощальный ужин, и, надо сказать, на широкую ногу, чего со времен Посла Фернандо Магальяэнса Круса я в Посольстве Португалии давно не видела. То был первый год пребывания Мануэла Марсело Курто в Москве в ранге Посла.

На прощальный ужин я с мужем была приглашена Анной Софией Карвальоза, ну и Послом, конечно, и чтобы оставить по себе память у Анны Софии, я отправилась в универмаг «Москва» и купила ей красивый шерстяной платок с большими кистями и набивным цветочным узором (как же эти платки назывались? Не помню. Ах, да, павлово-посадские!), чтобы, как я сказала, набрасывая его ей на плечи: «Он согревал вас в холодные норвежские вечера». Ну и, конечно, цветы от мужа.

Так вот, потоптавшись под аперитив в первом зале Посольства в ожидании подтягивавшихся приглашенных, мы, когда нам было предложено, подошли к веду-

щей в другой зал двери, на которой висел план рассадки. Я, естественно, стала искать свою фамилию и фамилию мужа и, найдя их помеченными по разные стороны стола, несколько растерялась. Но тут, как всегда в Посольстве, пришел мне на помощь Виталий Арсеньевич Гнатюк, тихонько подошел ко мне и повел меня к столу на предложенное мне (как поняла я тут же) почетное место, тихо говоря по-русски, что скорее всего место по левую руку от меня будет пустым (переводчик, который должен был сидеть на этом месте, заболел), так что, если что, муж сможет сесть с вами рядом, если захочет, конечно!

А когда я садилась на подвигаемый мне Послом стул и обнаружила, что Посол садится со мной рядом, а по правую руку от Посла садится София, а с другой стороны стола по правую руку супруги Посла садится мой муж, я, естественно, улыбнулась.

Стол был красиво сервирован, официанты разливали белое вино в бокалы, а закуска из даров моря уже лежала на тарелке каждого.

Надо сказать, что, выпив за Софию... ой, нет-нет! Первый бокал Посол поднял за пришедших гостей, и прежде всего за нас с мужем, как он сказал, «одаренных людей: художника и переводчицу португальской литературы» (орден красовался у меня на груди), мельком заметив, что его дети тоже русские по матери; потом за Софию, за ее знания, талант и умение работать с документами и людьми, выразив сожаление, что с ней приходится расставаться, и пожелал ей дальнейших продвижений на дипломатическом поприще и так далее, и тому подобное.

В ответ свое слово сказала София, умно и достойно.

Потом установилась тишина: все принялись работать вилками и ножами. И блюда стали следовать одно за другим.

Отужинав, все дружно поднялись из-за стола, чтобы размяться и наконец поговорить с теми, кто сидел далеко друг от друга.

XXXVI

Потом последовали годы 2006 и 2007-й, которые мы с мужем прожили в страхе перед неотвратимым грядущим, естественно, стараясь не выказывать этот свой страх друг другу. Муж держал себя в руках (во всяком случае, внешне) и жил той же активной жизнью, какой жил до обрушившегося на нас диагноза. Вставал чуть свет, а зимой даже затемно, и уходил в мастерскую работать: дописывать свой пятиптих. И возвращался, как и прежде, не раньше восьми часов, дав схлынуть людскому потоку, устремлявшемуся в метро в вечерний час пик. Ведь любой случайный толчок в живот или грудь (как сказал врач) мог положить конец его существованию на нашей грешной земле. Я это хорошо понимала и всегда говорила: «А может, лучше выйти на час-другой раньше, пока не началась еще толкучка в метро и свободны троллейбусы и автобусы?» Он отвечал, что постарается, если получится: ты ведь сама знаешь, как трудно оторваться от работы.

Как всегда, я ему часто звонила и терпеливо ждала его прихода. Терпеливое ожидание стало в эти последние годы сущностью моей тревожной жизни.

Дочь по субботним и воскресным дням, побуждаемая нашей внучкой Сонечкой, которая настойчиво требовала поехать за дедом (деда она очень любила), всегда старалась заехать за отцом на своей машине в мастерскую и доставить его домой в целости и сохранности.

Я, как и все предыдущие годы, когда он приходил, бросалась снимать с его ног ботинки (делая это сам, он

задышался), но почему-то теперь он упорно отказывал мне в моем желании помочь. (Может, хотел подбодрить?)

Иногда он будил меня ночью криком. Проснувшись, я будила его: «Проснись, проснись, тебе что-то приснилось?» Он отвечал мне: «Да, мне приснилась мать, она манила меня руками, как маленького».

«Но ведь чтобы сны не снились, надо готовиться ко сну: возвращаться домой раньше и, ложась спать, думать о хорошем».

Да попробуй тут думать о хорошем, когда знаешь, что всё — и хорошее, и плохое — может в одночасье исчезнуть, что и случилось в январе 2008 года.

Следующие полгода мы разбирали мастерскую. Боже, какое количество живописных работ, как законченных, так и начатых, сделанных им самим эмалевых красок, загрунтованных под эмали металлических плит, которые он подготовил для монументальной работы в Черновцах, и всего остального сопутствующего материала! Это я только сейчас так разумно оцениваю все им сделанное, а тогда я могла лишь вытирать пыль, подметать пол и смотреть на дочь и зятя, работавших в поте лица. Фотографируя и вводя работы в компьютер, они подготавливали их для посмертной выставки, которая должна была состояться через год, в 2009 году. Когда же и физически, и морально тяжелая работа для дочери, зятя и меня закончилась, они уехали на Биостанцию МГУ, находящуюся на Белом море, а я... я улетела в Вену, чтобы хоть на время забыться, знакомясь с красотами прошлого Австро-Венгерской империи и слушая любимую музыку Иоганна Штрауса, его вальс «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса», ну и увидеть сегодняшний Зальцбург — город фестивалей — и его чарующие окрестности с вознося-

щимися в небо снежными вершинами, которые, как я понимаю сегодня, я видела (если видела) сквозь призму своей утраты. Вот так! А вернувшись в Москву, уехала в Дом творчества писателей «Переделкино», чтобы писать статью для книги-альбома: «Юрий Кафенгауз. Живопись. Графика. Эмали. Монументальное искусство» о моем муже-художнике, которая обязательно должна была выйти в свет к открытию посмертной выставки художника.

XXXVII

Посмертная выставка работ мужа открылась 13 апреля 2009 года в выставочном зале Московского союза художников в Старосадском переулке. Приуроченный к выставке альбом в исполнении издательства «Виртуальная галерея», составленный дочерью и мной и отредактированный Юрием Германовичем Фриштейном, подоспел как раз вовремя. Так что каждый пришедший на вернисаж мог не только посмотреть выставку и оставить свои впечатления в книге отзывов, но и приобрести альбом с работами художника и, естественно, прочесть статью «Душа и судьба художника».

Так вот, в тот погожий солнечный день 13 апреля 2009 года на открытии посмертной выставки было многолюдно, что, естественно, не могло меня не радовать, тем более в стенах Союза художников. И я радовалась, радовалась этой безотчетной радостью, принимая букеты цветов за мужа, с которым прожито шестьдесят лет, и которого уже не было в живых, и который *«вот так со стороны»*, как он говорил, уже никогда больше не увидит плодов своего нелегкого труда.

Время от времени уходя в себя, я мало кого узнавала из присутствовавших, разве только тех, кто подходил ко мне и поздравлял (с чем? Его нет!) с выставкой, или тех, кого лично я не приглашала, а они пришли, и присутствовали, и выступали, как Евгений Бунимович, который с детства был знаком с нашей семьей. Потом снова, погружаясь в себя, думала: что же я могу сказать здесь собравшимся о своем Юре и, естественно, о себе, ведь мы с ним были единым существом, имевшим одну общую нервную систему до его последней секунды жизни, когда связывавшая нас, но никому не видимая ниточка оборвалась, и связать ее уже не мог никто.

Вот это я и сказала, когда подошла моя очередь. И снова ушла в себя, не слыша, что говорил издатель Владимир Николаевский. Потом вдруг увидела, что куда-то побежала моя дочь, и вернулась на место с книгой-альбомом, открытой на первой странице, что-то хотела сказать, но ее перебил председатель Московского союза художников Василий Бубнов вопросом: «У вас все?» и тут же дал слово очередному художнику, потом еще одному, еще и еще...

Надо же! Все выступали по собственному почину (у нас списка выступавших не было: мы забыли его сделать, короче, не сделали), сменяя один другого, как верные друзья и соратники, которых при жизни у мужа никогда не было.

А когда выступления закончились, все пошли в зал, где был накрыт, как это положено, стол.

И опять ко мне подходили художники с добрыми словами о выставке и альбоме и оставляли в книге отзывов следующие строки:

«Огромное спасибо за выставку! Богатая, разнообразная живопись, в которой отразилось и время, и то, что вне времени.

Н. Ванханен. 13.04.09.

Поздравляем с открытием выставки. Очень радостно, что вы нам дали возможность увидеть эти замечательные работы.

Вера Рут. 13.04.09

Beautiful art, inspirational,
Congratulations on the opening
of the exhibition¹

Liza Root. 13.04.09.

Прекрасная живопись, мощная, грамотная.

Спасибо.

(подпись неразборчива) 14.04.09.

Неизгладимое впечатление. На глазах у зрителя очевиден рост молодого художника: переход от реальной академической школы к предельной условности ради выразительности. В восторге от набросков и графических работ 1970–1972 гг. С благодарностью к организаторам.

С уважением, А. Хомко (художник)

15.04.09.

Спасибо за творчество!

Своеобразные, свежие работы, несмотря на разные годы создания, объединяются интересной композицией, ритмом, красочными пятнами. Огромное удовольствие от соприкосновения с замечательным искусством.

Спасибо,

Мустафин Ильдар

15.04.09.

Мощнейший композиционный дар! Спасибо за выставку родственникам.

Художник-монументалист

Богачева Наталья. 15.04.09.

¹ Восхитительное, вдохновляющее искусство. Поздравления по случаю открытия выставки. Лиза Рут (англ.).

...Какая замечательная выставка! Юрий Бернгардович блестяще владел рисунком, очень красиво и свободно владел живописью, как мастер-монументалист. Считаю, что многие его работы могли бы украшать многие музеи мира в отделах современного искусства.

16.04.2009 г.

Скульптор Озерский Ю.И. Член МСХ

Это выставка красивых картин красивого человека. Спасибо за радость.

Е. Дворецкая, И. Масуренкова

17.04.09.

Праздник. Ощущение связи времен, природы и человека, связи внутри себя, доброе, вечное, ясное, разное. Это про нас и для нас.

Взгляд и сверху, и изнутри — изумительный полет!

Низкий поклон.

17.04.09. Подпись неразборчива»

Когда выставка закончилась, картины мужа наконец вернулись в осиротевший без них дом. И я несколько ожила и даже перестала плакать. Да нет, временами я, конечно, плакала — и не просто плакала, а заливалась слезами, что вообще-то естественно при таком горе.

XXXVIII

Теперь новое грядущее лето представлялось мне неясным и туманным. Лето — время отпусков. И застать кого-либо на рабочем месте, как в музеях, так и в библиотеках, которым мы хотели подарить книгу-альбом о Юрии Кафенгаузе, было очень трудно, и мы с дочерью решили оставить это на осень.

А потому весной, в мае (месяц, который я люблю) я уехала из Москвы в Переделкино, но провела там из

пяти задуманных дней только четыре: сотрудники Дома творчества писателей устроили субботник и принялись сгребать сухую палую листву и сжигать ее. Дышать угарным газом мне не хотелось, да и глядеть на еле двигающихся и плохо слышащих стариков (которым на поверку было много меньше моих грядущих восьмидесяти), мне было тяжело, и я сбежала из Переделкино в Москву, заранее договорившись о своем возвращении в первых числах июля. В конце концов, пора было вернуться и к своей собственной книге, которую я писала.

Не скажу, что сразу у меня все пошло-поехало, как хотелось бы. Смерть мужа, похороны, книга и посмертная выставка его работ выбили меня из колеи, и теперь войти в колею было не так-то просто. Теперь меня многое отвлекало: и влачимое мной одинокое полуголодное бытие (я перестала есть, как прежде), и мучающие меня раздумья о том, о чем раньше я никогда не задумывалась, и даже нет-нет да охватывающая меня ярость (явно унаследованная от отца), направленная теперь и на самых близких, и на далеких, которые меня вольно или невольно обидели в этот год после утраты мужа, который был для меня всем: и другом, и любовником, и отцом моей дочери, все шестьдесят с лишним прожитых с ним лет.

И тут, вдруг... я по телевизору увидела передачу Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» о Швейцарии, которая невероятной красотой своих убеленных сединами гор, прозрачностью озер, шумом низвергающихся водопадов и тишиной спокойно, мирно живущих городов пленила меня. Мне так захотелось все это увидеть воочию!

«Поеду! Поеду, даже одна поеду. Пора! Надо учиться жить одной, надо!» — повторяла я слова, сказанные мне как-то одним хорошим человеком. «А может, не учиться жить одной? — думала я. — А учиться любить себя? А получится ли это у меня? И долго ли продлится такая моя

любовь? Ведь такого опыта у меня нет! Да и вряд ли случится!» Однако в туристическое агентство пошла, в котором в прошлом году покупала вместе с соседкой путевку в Вену. И, подбадриваемая зятем и дочерью: «Мам, у тебя же юбилей — восемьдесят лет, давай, давай, пусть это будет подарком к твоему юбилею», — подала заявку, на классическую Швейцарию (7 дней/6 ночей). Цюрих — Берн — Женева, ну и масса других по пути встречающихся городов: Штайн-на-Рейне, Лозанна, Люцерн, Интерлакен и многие другие. Вылет 20 июня.

И вот, когда пошло оформление (дети уже были на Белом море), начала сомневаться в своих возможностях ехать в одиночестве. Потом, отдавая себе отчет в том, что жить в одиночестве в Москве я буду три месяца, все-таки решилась на поездку. И не пожалела.

До Домодедова ночью меня довез муж внучки Верочки и его отец. Довезли и проводили до самого последнего рубежа, куда вход провожающим воспрещен. Расцеловались и расстались.

«Теперь я должна быть собранной до предела, — думала я, — и делать все четко и точно, что должна делать до посадки в самолет. А самолет полетит сам без моих усилий, и в нем уже можно расслабиться и закрыть глаза», — что я и сделала.

Когда я глаза открыла, стюардессы уже разносили то ли завтрак, то ли обед (вылет был ночным), который я, не колеблясь, тут же съела и стала приглядываться к тем, кто летел в самолете, в надежде опознать по внешнему виду едущих в Швейцарию туристов. Но, честно говоря, так и не сумела это сделать. И только когда самолет приземлился в Цюрихе и все мы вышли из самолета и стали проходить паспортный контроль, рискнула спросить у матери (конечно, она мать!) с дочерью, которая была вся из себя раздета до неприличия, не по туристической ли путевке они в Цюрихе?

— Да, по туристической, — ответили они мне.

С этой самой минуты я старалась держаться их, поскольку полуобнаженная русская дива (оказавшаяся замужней женщиной) хоть и плохо, но все-таки говорила по-английски. А я, полунемка, не только не говорила, но и мало что понимала по-немецки, а ведь Цюрих и Берн — немецкоговорящие кантоны. А все остальные, с нами путешествовавшие, похоже, вообще не знали никакого иностранного языка (во всяком случае, не обнаруживали своего знания), тем более моего португальского, испанского и даже французского. Вот такая была у меня компания.

Так вот, оказавшись в Цюрихе в 8.30 утра, мы до двух часов дня (как и было запланировано) ездили по городу в прекрасном (слов нет!) автобусе (то была обзорная экскурсия по городу) и только к трем дня прибыли в четырехзвездочный *Swissotel Zürich*.

И тут прямо в вестибюле отеля со мной произошло чудо, обыкновенное чудо, которое случается со мной (за мою безгрешность, конечно!) довольно часто. Нет! Я не заговорила по-немецки, я заговорила по-португальски с присоединившимся к нашей группе в Цюрихе относительно молодым человеком, назвавшим себя португальцем.

— Нет, — сказала я уже по-португальски, услышав его португальское произношение, — вы не португалец, финальное «s» португальцы произносят как «ш» русское, а в вашей речи оно чисто русское «с».

— Так вы говорите по-португальски! — сказал он мне — теперь уже на нашем общем родном русском языке.

— Да, — ответила я. — Я переводчица португальской литературы.

— А я — действительно русский, натурализовавшийся в Португалии.

И тут мы несказанно обрадовались нашей встрече. Все семь дней, сидя в автобусе на переднем сиденье справа, мы (все почему-то решили, что мы давно знако-

мы) объехали всю Швейцарию (нет, не совсем всю, но почти всю).

Мы поднимались в горы и карабкались на водопады, совершали прогулки на катерах по Рейну (к Рейнскому водопаду) и Женевскому озеру, блуждали по Шильонскому замку и лабиринту зеркал, возносились к снежным вершинам Швейцарских Альп по зубчатой железной дороге и гуляли по всем городам (что были и не были обещаны туристической компанией): Штайну-на-Рейне, Люцерну, Цюриху, Лозанне, Берну, Интерлакену — курортному городу, расположенному между озерами Тун и Бриенц (вот где мне хотелось бы провести недельки две-три, купаясь в прозрачной воде этих озер), — ну и международному городу Женеве. Это уже французский кантон с Дворцом наций, кафедральным собором Святого Петра, площадью Бур-де-Жур, ратушей, и колледжем Кальвина, и знаменитым фонтаном Женевы (ее визитной карточкой), который бьет из Женевского озера. Струя фонтана достигает 150 метров высоты.

Надо сказать, водой в Швейцарии — чистой, прозрачной, необыкновенно вкусной — хоть залейся! И везде она одна и та же, даже в туалетах (лучше бы нам ее в Москву по трубам, как мы газ в Европу, транспортировали!!!) Ведь гидрографическая сеть Швейцарии включает в себя три больших речных бассейна: Рейн, занимающий 70% территории, Рона — 16% и По — 10%. Да еще Дунай со своим притоком Инн. И озера: Женевское, Цюрихское, Фирвальдштеттское и Боденское, не считая тысячи всяких мелких. Ну и низвергающиеся с гор водопады.

Еще Швейцария славится, во всем мире как всем нам известно, единственными точными швейцарскими часами. Но, как открыли мы и все прочие заезжие, еще и сырами, и шоколадом. Развесной шоколад с орешками и плиточный (в уникальной упаковке, не позволяю-

щей шоколаду ломаться) я привезла на свой восьмидесятилетний юбилей.

Так вот, во французском кантоне официальным языком является французский. Но какой только речи здесь не услышишь, включая португальскую и другие прочие, в основном, конечно, в кафе и всяких торговых точках. Но французский язык главенствует, как и французский образ жизни со всеми его издержками, включая жриц любви, торгующих здесь своим свежим и не очень свежим товаром, выставленным напоказ на отведенных им закоулках города. Думаю, что жрицы любви изъясняются здесь на всех языках мира — город же международный!

Да, такого (и не только такого) не потерпят ни Цюрих, ни Берн — немецкие кантоны Швейцарии. (Ничего не могу сказать об итальянском и романском, говорящем на ретороманском языке, — не видела. Может, конечно, и в Берне, и в Цюрихе подобное сокрыто от глаз приезжих? Но не думаю, нет! Однако и не хочу зарекаться без надобности. Каждый живет по-своему: кому мил рай, граничащий со скукой, а кому — ад преисподней. На вкус и цвет товарищей нет! И не будет!

XXXIX

Мое возвращение в Москву было тоже презабавным. В аэропорту Домодедово меня должен был встречать знакомый таксист по имени Икрам, который в прошлом году возил меня в переделкинский Дом творчества писателей.

Как и положено, внучка моя позвонила ему накануне и сообщила день и час, когда я прилетаю (теперь уже самолетом из Женевы). Правда, перезвонив внучке, я сказала, что боюсь в толпе встречающих не узнать Икрама.

«Хорошо, — сказала Верочка, — он будет тебя ждать с плакатом, на котором будет написана твоя фамилия».

И вот я в московском аэропорту Домодедово, в битком набитом людьми зале, где идет паспортный досмотр, короче, на границе, где скопилось такое множество людей, прилетевших из всех стран и со всех континентов, что перейти ее если и удастся, то только к вечеру, а может, и к ночи. Не зная, что делать (такого столпотворения мне не приходилось видеть нигде: ни в Лиссабоне, ни в Мадриде, ни в Париже, ни в Вене!), я, увидев мужчину в форменной одежде аэропорта, бросилась к нему (если, конечно, можно было, оказавшись в такой толпе, броситься) — то есть, скорее всего, стала протискиваться сквозь плотную стену потных тел, держа в руках свой паспорт и билет члена Союза писателей России. И о чудо! Услышав мой возраст (толпа стоящих, естественно, была молодая), увидев мой паспорт и билет Союза писателей России, носитель форменной одежды скомандовал: быстро идите за мной. Так, через десять минут я оказалась в своей родной стране России, вернее, в следующем зале аэропорта с бегущей дорожкой, на которой (почему-то «мордой» вниз) крутились чемоданы сразу трех, а может, и четырех прилетевших рейсов. Приподнимая то один, то другой похожий на мой чемодан, я старалась, перевернув его (что в мои годы уже трудновато), заглянуть ему в знакомое лицо и обнаружить розовый бантик на молнии (опять же спереди). Честно говоря, я делала это, выбиваясь из сил, но хорошо понимая, что другого не дано, иначе я рискую, не получив вовремя чемодан, упустить Икрама. И вот наконец мой чемодан в моей руке. Все в порядке, все в порядке.

Да, поездки идут мне на пользу, возвращают к реальности, самостоятельности и дают силы жить.

Вернувшись в Москву двадцать шестого июня, я уже первого июля была в Переделкино, естественно, навес-

тив мужа на Новодевичьем кладбище. Принесла ему цветы: белые чистые лилии. Все убрала, помыла. Потом постояла молча, поверяя мысленно ему свои думы о нашем прошлом и свои надежды на будущую публикацию того, что пишу я сегодня о нашей с ним прожитой жизни и нашем творчестве.

В Переделкино меня встретили очень приветливо, наградив ключом от хорошего номера (естественно, не по меркам Швейцарии) во втором корпусе, где мне всегда комфортно.

Первая неделя пролетела быстро, и вот уже я в такси еду домой на свой восьмидесятилетний юбилей, на который едет ко мне с Белого моря наша с тобой, Юруш, дочка Бэлочка (а это ведь день и две ночи сюда и день и две ночи обратно), чтобы все купить, приготовить и отпраздновать мою знаменательную дату. Да, и мою поездку в Швейцарию опять же подарила мне она, наша Бэлочка.

Так что юбилей мой проходит на высоком уровне (ничего другого сказать не могу). Ведь даже когда я почти решила отказаться от поездки в Швейцарию (Бэла, Саша и Соня уже были на Белом море), Саша в волнении позвонил мне и уговаривал не отказываться. «Вы ведь, — сказал он, — Лилиана Эдуардовна, выбрали замечательный маршрут, потом, вас довезут на машине до аэропорта Дима с отцом, будут с вами в аэропорту до тех пор, пока вы не пройдете паспортный контроль, — и так далее и тому подобное». И я сдалась на милость уговорщиков.

Действительно, чего я боюсь? Оказаться за границей в одиночестве? Но я ж не впервой еду, и не одна, а с группой. И поехала. А вернувшись домой, собрала на свое восьмидесятилетие гостей.

Гостей (вернее, их количество) наш небольшой стол в столовой всегда ограничивал: больше восьми, ну от силы десяти человек принять не мог и не старался, даже будучи раздвинутым. И я из восьмерых возмож-

ных решила пригласить шестерых коллег-друзей. Ведь дружбы «маленький оркестрик под управлением любви» всегда играет слаженнее, даже когда «оркестранты» работают вилками и ножами за праздничным столом.

До прихода гостей, пока Бэлочка трудилась на кухне, я, накрывая на стол, вдруг решила позвонить Жоржу в Париж! Видать, забыл поздравить с утра? Не позвонил бы в разгар празднества!

— Жорж, это Лилиана, вы часом не забыли, — произнесла я полустрого, — что у меня сегодня восьмидесятилетие. Юбилей!

В телефонной трубке что-то заквакало и закрикало, потом послышались короткие гудки.

Я опять было начала набирать номер, но на пятой цифре услышала голос Жоржа:

— Приветствую вас и поздравляю, но с вашего разрешения перезвоню чуть позже, тут у меня...

И в телефонной трубке опять послышались короткие гудки.

Так вот, на мое восьмидесятилетие пришла ко мне, как я говорю, «моя молодежь» — коллеги. Все они моложе меня, как минимум, лет на двадцать.

Не пришел только Саша Базин — переводчик-синхронист с португальского, какое-то время преподававший перевод в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. Мориса Тореза, который я окончила.

Не пришел, потому что не смог. А не смог, потому что умер. Умер где-то вскоре после смерти моего мужа. Тогда, в 2008-м, он первым пришел ко мне, узнав о моем горе, вернее заскочил, чтобы помянуть «хорошего человека и замечательного художника», — как сказал он, — подняв стопку водки. (Познакомился он с ним много раньше, в начале девяностых, когда вместе с Карлосом Фино — португальским корреспондентом, возглавляв-

шим тогда португальское телевидение в Москве, — приехал к нам, чтобы писать передачу обо мне — переводчице португальской литературы, некогда работавшей на Московском радио в редакции вещания на Бразилию и Португалию, а потом и редактором в издательстве «Художественная литература».)

Да, так вот, спустя год после смерти моего мужа умер Саша. И где?! В Америке. Каким занесло его туда ветром?! Что хотел он там найти? От кого или чего спрятаться? Может, от себя? Но от себя не спрячешься, как ни старайся.

Когда я видела его в последний раз до того, как он пришел ко мне помянуть мужа? Ах да, в ВГБИЛ на открытии во внутреннем дворике Библиотеки бюста крупнейшего поэта и прозаика Бразилии XIX века — Машаду Д'Асиса, создателя и первого президента Бразильской академии литературы. Европейского писателя по всем параметрам. (Почему я его не переводила? Скорее всего, по глупости!)

В тот день Саша Базин по окончании действия в актовом зале ВГБИЛ, посвященного Машадо де Ассизу, отвез меня домой на своей новой машине.

Узнав об этом, Саша Богдановский, переводчик произведений Жоржи Амаду, Пауло Коэльо, Жозе Сарамаго и многих других, с удовольствием прихвастнул мне, что у него машина лучше и он мог бы отвезти меня домой на своей.

Так вот, Саша Богдановский, повивальной бабкой которого мне довелось стать в миг его рождения переводчиком бразильской литературы (он ведь объявился у меня в издательстве «Художественная литература» сразу по окончании Ленинградского университета), пришел на мой восьмидесятилетний юбилей первым с большой охапкой красных роз. Розы розовые (количеством не сосчитать) от моей школьной подруги вре-

мен войны, которая никак не могла прийти ко мне в этот день по состоянию здоровья, уже стояли на моем праздничном столе, принесенные мне доставкой цветов на дом.

Потом пришел Виталий Арсеньевич (как же мне нравится это отчество!) Гнатюк, переводчик и диктор на Португалию и Бразилию. Потом двоюродная сестра мужа Лидия Михайловна и поэт-переводчик с испанского Наталья Ванханен, с которой мы какое-то время работали в редакции «Литератур стран Латинской Америки, Испании и Португалии».

Ну и Юрий Германович Фридштейн, заведующий библиографическим центром ВГБИЛ, ставший редактором книги о моем муже.

Саша Богдановский шутил и шумел весь вечер, что было очень приятно. А когда мы сели за стол, потребовал водки, не заметив ее в хрустальном обличии (теперь ее, «зеленую», прямиком в бутылках ставят на праздничный стол), и поднял тост за меня, восьмидесятилетнюю, и наш с ним тридцатилетний стаж знакомства:

— А вы, Лиλιана Эдуардовна, надо сказать, за эти годы почти не изменились!

И не преминул воспользоваться случаем и в шутливой форме напомнить мне, как я отлучила его на какое-то время (теперь уже не помню за что. Но была же причина: что-то не сдал к сроку, или еще что-нибудь в этом роде) от переводов в издательстве «Художественная литература» (но потом-то вернула!), добавив, таким образом, перчинку к своему тосту. И тут же стал нахваливать кулинарные способности моей дочери, с самого утра трудившейся в поте лица, не позволяя мне помогать ей.

За Сашей Богдановским байки обо мне (времен столбовского владычества в редакции) стала рассказывать поэтесса Наташа Ванханен, припоминая, как я «сражалась» с беспорядками в издательстве.

Сказал свое слово и Виталий Гнатюк. Сколько же лет назад он со мной познакомился на иновещании Московского радио? Тогда там еще работала Люся Румянцева! Господи! Как давно это было! Люси Румянцевой уже давно нет в живых: она еще в начале девяностых почти не передвигалась по своему дому в Валентиновке.

О знакомстве со мной, которому тоже уже шесть лет, говорил и Юрий Фридштейн. В свойственной ему ироничной манере он сказал о якобы приписываемой ему заслуге в получении мной высокого португальского ордена.

Однако весь мой пятидесятилетний труд по переводу, редактированию и изданию португальской литературы с легкостью мог бы остаться втуне, а попросту незамеченным (как это частенько случается со многими достойными труженниками в такой огромной стране, как наша), если бы не добрая настойчивость и даже раздражение Юрия Германовича, который (после моего отказа выступить в Овальном зале ВГБИЛ по случаю выхода в свет тома Эсы де Кейроша в моем переводе) все-таки, когда спустя день я позвонила ему и согласилась, великодушно выслушал и поблагодарил меня.

Выпив за меня, мы молча помянули моего Юру. Потом выпили за Бэлочку, устроившую мне этот праздник. Потом курящие вышли на лоджию, где Саша Богдановский никогда не бывал.

Так вот, моя молодежь (я считаю их молодежью) сегодня общается со мной на равных, что меня несказанно радует. Значит, держат меня за равную себе, молодым. А ведь что может быть радостнее того, когда к тебе на твой восьмидесятилетний юбилей приходят твои коллеги, да еще не по чувству долга, а по долгу чувства, которое связывает их со мной, а меня с ними.

Когда же все снова собрались за столом, теперь уже фруктовым и сладким, на котором красовался и мой

фирменный торт (его я все-таки сделала сама), раздался телефонный звонок.

— Лилиана, это Жорж. Я ведь вам звонил несколько раз, и вчера, и позавчера. И решил, что вы в отъезде.

— Да, да, Жорж, я была в отъезде и вернулась из Швейцарии, гуляла там по городам, весям и пажитям. Теперь заканчиваю книгу о себе, муже, отце и своей литературной деятельности.

— Да, вы молодец!

— А вы?

— Что я?! Как я говаривал вам уже, теперь, будучи пенсионером, работаю на кладбище.

— Жорж, не говаривал, а говорил! Потом, на каком кладбище? Сент-Женевьев-де-Буа?

— Нет, Лилиана, нет! Я работаю на Военном кладбище Русского экспедиционного корпуса, который просуществовал во Франции до конца войны России с Германией. Создан он был в тысяча девятьсот шестнадцатом году во время Первой мировой войны. Тогда во Францию были направлены русские особые бригады, которые участвовали в боях на западном фронте. После семнадцатого года солдаты Русского экспедиционного корпуса отказались воевать и требовали вернуть их на родину. Между прочим, в Русском экспедиционном корпусе служил и Родион Малиновский, и имел французские награды. В Россию он вернулся в двадцатые годы. Вот так.

— И что вы там, на кладбище делаете? — спросила я.

— Да все, что приходится, Лилиана. Следим за порядком, подновляем памятники и надписи. Короче, храним память о русских воинах. Да, а совсем недавно мы с женой отметили наш сорок пятый год совместной жизни.

— А мы с мужем прожили шестьдесят лет. Вот так. Выходит, я вас, Жорж, обскакала.

— Лилиана, разве вы занимались конным спортом?

— Нет, нет, Жорж, обскакать по-русски значит перешеголять, заткнуть за пояс, переплюнуть, утереть нос, наконец! Нет, вы это не поймете.

— Нет, Лилиана, то, что вы сейчас перечислили, я понять не могу, тем более по телефону.

— Ну и слава богу. Всех вам благ, Жорж.

Повесив трубку, я всерьез задумалась о сорвавшихся у меня с языка нелестных словах Жоржу. Однако, я ведь действительно обскакала его, перешеголяла и заткнула за пояс.

Я, Бревьерн Лилиана Иоганнес-Эдуардовна, родившаяся в 1929 году в Москве и окончившая Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, будучи членом Союза писателей СССР и России с 1988 года, награжденная в 1985 году медалью «Ветеран труда», в 2004 году почетным орденом Португалии Инфанта Дона Энрике (аналог ордена Почетного легиона Франции) за перевод и издание, а вернее, открытие португальской литературы русскому читателю, а в декабре 2009 года и медалью «55 лет Московской организации Союза писателей России» за верное служение отечественной литературе, по-прежнему, каждый день, с раннего утра («жаворонок») в свои уже 80 с лишним работаю за своим письменным столом.

**ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
ПОРТУГАЛЬСКИХ И БРАЗИЛЬСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ И ИЗДАТЕЛЕЙ**

Жозе Гомес Феррейра¹.
Лиссабон, Португалия,
март 1976.

Уважаемая Лилиана Бревен!

Благодарю Вас за письмо и за желание издательства дать возможность советскому читателю познакомиться с одним из крупнейших поэтов нашего века: Фернандо Пессоа. Ваше предложение написать предисловие к «Лирике» Пессоа считаю сверх почетным, но, к сожалению, принять не могу. Причины следующие: я люблю этого великого поэта как страстный читатель. Я никогда не читал его как критик (...). Чтобы написать предисловие на 25 страниц о Фернандо Пессоа, мне нужно время на раздумье, на чтение чужих работ о таком необычном поэте, хорошо известном в нашей стране.

Потом, мне скоро исполнится 80 лет, и я хочу использовать время на то, чтобы привести в порядок свои бумаги и закончить свои начатые книги.

Простите мне мой эгоизм. Ведь в Португалии нет недостатка в писателях, которые меня заменят, и с удовольствием.

¹ Жозе Гомес Феррейра (1900–1985) – португальский поэт, прозаик.

Очень признателен. Обнимаю Вас. Моя жена шлет Вам свои наилучшие пожелания. Всего наилучшего от Вашего друга и товарища.

Жозе Гомес Феррейра.

P.S. Возвращаю Вам состав антологии, который я нашел блестящим.

Жасинто до Прадо Коэльо¹.
Лиссабон, Португалия,
май 1976.

Уважаемая коллега,

Я позаботился о том, чтобы наш журнал «Колокио Летрас» получала ваша Государственная библиотека иностранной литературы (...). Очень жаль, что антология «Лирика» Пессоа выйдет в свет только в 1978 году. Я рассчитываю быть в Москве в сентябре 1977, чтобы познакомиться с московскими научными и культурными институтами.

Спешу обратить Ваше внимание на две ошибки в моем машинописном тексте, которые я обнаружил позже: на стр. 8. В оригинале моего предисловия в датах 2 и 3 ноября, а должно быть 2 и 3 декабря, поскольку, как говорится позже, Пессоа умер 30 ноября (...). Особо заинтересовало меня Ваше намерение составить антологию «Стихотворения в прозе» португальских писателей. Важно только различать поэтическую прозу (романы Раула Брандана или Вержилио Феррейры) и поэму в прозе.

Португальская поэзия изобилует поэмами в прозе: «Зеленые глаза» Алмейды Гаррета, «Заметки на манже-

¹ Жасинто до Прадо Коэльо – вице-президент Лиссабонской Академии наук, редактор литературного журнала «Колокио Летрас», который в 1976 году посетил издательство «Художественная литература» и принял предложение написать предисловие к «Лирике» Пессоа.

тах» Эсы де Кейроша, рассказы Софии де Мело Брайнер Андресен и других.

Даю Вам адрес моей аспирантки, которая написала диссертацию на эту тему...

Всегда в Вашем распоряжении, с искренним уважением и дружбой

Жасинто до Прадо Коэльо.

Журнал «Колокио Летрас».

Лиссабон, Португалия,
декабрь 1977.

Уважаемый друг!

С большим удовольствием высылаем Вам сегодня материалы для того, чтобы Вы использовали их, как сочтете нужным, для задуманной Вами антологии. Пишу «высылаем» потому, что работающий у нас в журнале поэт Луис Амаро занят как раз этой работой: подбором, фотокопиями, что может послужить основой для Вашей работы.

Я же Вам уже выслал кое-какие книги для перевода на русский. Это книги, вышедшие в издательствах «Берtrand» и «Мораэс». С удовольствием вспоминаю мой визит в Москву и наши встречи в издательстве. Жду Ваших писем. Мои наилучшие пожелания Вашему директору.

Жасинто до Прадо Коэльо.

Журнал «Колокио Летрас».

Лиссабон, Португалия,
май 1978.

Дорогой друг!

Наконец получили письмо, в котором Вы пишете, что пришли материалы для Антологии. Запоздываю

с ответом из-за нехватки времени, так как нагрузил на себя все возможные и невозможные дела, включая поездку на конгресс в Софию и лекции по социологии в институте на Азорах и в Лиссабоне, где мы принимали трех советских поэтов (...). Познакомился с вашим профессором Еленой Вольф, она рассказала о своем открытии португальских манускриптов.

Когда Вы снова будете в Португалии? (...) Мы всегда в Вашем распоряжении для любой информации, в которой Вы нуждаетесь.

Наилучшие пожелания

Жасинто до Прадо Коэльо.

P.S. Высылаем еще два стихотворения в прозе. Может, написать предисловие к этой Антологии?

Секретариат Министерства культуры.

«Португальский институт книги и библиотек».

Лиссабон, Португалия,

январь 1989.

В связи с Вашей просьбой в письме от 31.10.88 г. (к сожалению, только сегодня 13.01.89) высылаем Вам роман Эсы де Кейроша «Кузен Базилио». Посылка идет обычной почтой.

Наши наилучшие пожелания

Президент

Жозе Афонсо Фуртадо.

Португальское агентство по авторским правам.

Лиссабон, Португалия,

октябрь 1977.

Наконец, хотя и с опозданием (...), лучше позже, чем никогда (...), посылаем Вам (после беседы с Вержилио

Феррейрой) две книги: роман «Явление» — бестселлер и роман «Краткая радость», считающийся на сегодняшний день его лучшей книгой (...).

Если Вы хотите переписываться с Вержилио Феррейрой, вот Вам его адрес: Авенида США. 65-6°. Лиссабон, 5. Португалия.

С дружеским приветом,

Лопе Рибейро.

Португальское издательство
«Ливрариа Бертранд».
Амадора, Португалия,
январь 1978.

Уважаемая сеньора,

Пользуясь любезной подсказкой сеньора Жасинто до Прадо Коэльо, мы высылаем Вам каталог опубликованных в нашем издательстве книг, которые мы можем предложить Вам для перевода.

Фигейредо Магальяэнс.

Ромуло де Карвальо.
Лиссабон, Португалия,
январь 1980.

Уважаемая сеньора Лилиана Бревен!

Как Вам, конечно, известно, Антонио Жедеан — это мой литературный псевдоним. Однако, на этот раз я, обращаясь к Вам, подписываюсь своим настоящим именем — Ромуло Карвальо. И пишу это для того, чтобы не вызвать у Вас удивления. Дело в том, что помимо моего литературного труда, я занимаюсь историей Португалии XVIII века. И совсем недавно вышла в свет моя книга об отношениях между Португалией и Россией XVIII века. Один экземпляр этой книги я посылаю Вам, обращая Ваше внимание на стр. 175, где

в сноске я указываю Ваше имя¹, поскольку именно Вам я обязан той информацией, которую Вы предоставили мне по моей просьбе.

Был бы очень Вам признателен, если бы Вы подсказали мне какое-нибудь московское учреждение, которое было бы заинтересовано получить эту книгу.

Ромуло де Карвальо.

Издательство «Каминьо».
Амадора, Португалия,
июнь, 1980.

Дорогой друг!

Обращаемся к Вам по подсказке нашего общего друга писателя и переводчика русской литературы на португальский язык Мануэла де Сеабры. Предлагаем перевести роман португальского писателя Жозе Сарамыго «Поднявшиеся с земли», получивший высокую оценку в Португалии (...). Мы надеемся на Ваш интерес к новой португальской литературе, родившейся после 25 апреля.

Высылаем Вам по почте один экземпляр этой книги.

Зеферино Коэльо.

¹ В 1957 году в Ленинграде было опубликовано «Избранное» Сумарокова, где напечатана поэма, к которой я обращаюсь в своей книге. Информацией и посланным мне текстом поэмы мы обязаны Лилиане Бреверн, редактору редакции «Литератур стран Латинской Америки, Испании и Португалии», издательства «Художественная литература».

Жозе Сарамаго.
Лиссабон, Португалия,
сентябрь 1981.

Лилиана Бреверн,

Я узнал от своего издателя, что Вы переводите мой роман «Поднявшиеся с земли»¹ и что он должен быть опубликован в СССР в 1982 году. По этому поводу я хочу выразить Вам свою симпатию (...) я рад, что роман выйдет на русском языке (...).

По своему опыту я хорошо знаю, что не всегда переводчик переводит то, что ему нравится: я ведь сам много переводил, но очень хочу надеяться, что мой роман Вам понравился (...). А если это так, то высылаю Вам свои следующие книги: «Учебник живописи и каллиграфии», в котором я затрагиваю вопросы творчества, сборник рассказов «Почти предмет» (фантастика), в котором особо обращаю Ваше внимание на рассказ «Вещи»; пьесу «Ночь», действие которой происходит в редакции журнала в ночь на 25 апреля 1974 года², и ещё одну пьесу «Что я сделаю с этой книгой?», в которой речь идет о Камозэнсе. Обе пьесы были поставлены на сцене и показаны по телевизору.

Жду от Вас известий для диалога, который может быть полезен для нас обоих. Литература сближает людей.

Жозе Сарамаго.

¹ Ни одного романа Жозе Сарамаго я не переводила и об этом ему тут же написала.

² Революция «красных гвоздик» в Португалии.

Жоржи Амаду.
Алагоиньяс 33 — Рио Вермельо 40000
Салвадор Баия, Бразилия,
апрель 1980.

Дорогая Лилиана!

Поздравляю тебя вместе с журналом «Иностранная литература», в котором опубликован «Кот»¹! Пришли мне экземпляр номера этого журнала.

Жоржи.

Февраль 1981.

Дорогая Лилиана!

Я получил журнал с твоим переводом «Кота». (...) Зелия и я желаем тебе счастливого Нового года. Привет Вере и Инне².

Дружески обнимаю тебя,

Жоржи Амаду.

Лилиана!

Благодарю за поздравление с Новым 1982-м годом. Шлем тебе в ответ свои от Зелии и меня.

Жоржи.

Издательство «Сивилизасан бразилейра».
Рио де Жанейро, Бразилия,
сентябрь 1979.

Уважаемая сеньора!

Наш коммерческий директор Абельардо Мафра, который только что вернулся из Москвы, где представлял наше издательство на «Второй международной ярмар-

¹ Имеется ввиду сказка для взрослых Жоржи Амаду «История любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки».

² Литературовед Вера Кутейщикова и переводчик Инна Тынянова.

ке книги», сообщил нам о Вашем профессиональном интересе относительно книг бразильских авторов, вошедших в наш каталог.

Заказной почтой отправляем сегодня Вам следующие книги: Адониса Фильо, Эрберто Салеса, Афранио Коутиньо «Введение в бразильскую литературу», Нельсона Вернека Содре «Что нужно читать, чтобы знать Бразилию», а от меня лично: книгу североамериканского профессора Сильвермана «Современная бразильская литература».

Если какая-нибудь из этих книг вызовет Ваш издательский интерес, напишите нам, чтобы обсудить будущий договор.

Мои наилучшие пожелания,
Директор-президент

Энио Силвейра.

Жоаким Пасо Д'Аркос.
Лиссабон, Португалия,
август 1977.

Уважаемая сеньора!

Очень рад, что отправленные мною книги Вами получены. Высылаю отдельно еще несколько моих романов (...), составивших цикл «Хроника лиссабонской жизни», которые вошли в великолепное издание коллекции «Агилар». Разрешите мне поставить Вас в известность, что на сегодняшний день я — единственный португальский писатель из живущих, который представлен своими романами в этой Коллекции.

Жоаким Пасо Д'Аркос.

Вержилио Феррейра.
Лиссабон, Португалия,
октябрь 1978.

Дорогая Лилиана,

Знали бы Вы, как был я рад получить Ваше письмо. Нет, я печалился совсем не потому, что не буду опубликован в Советском Союзе, нет! Мне было горько, что вдруг оборвется моя дружба с тем человеком, который после своего короткого пребывания в Лиссабоне оставил о себе такую теплую память (...). Я жду Ваших вопросов по тексту романа. Хотелось бы надеяться, что сумею на них вразумительно ответить.

Вержилио.

Март 1980.

Дорогая Лилиана!

(...) Очень рад, что выходит моя книга в Вашем переводе. Надеюсь ее получить по почте. Мой роман «Явление» вышел в Польше и скоро выйдет в Испании. Надеюсь, что Вы уже получили книги португальских молодых писателей, которые могут Вас заинтересовать (...).

Мы с Режиной все время Вас вспоминаем и нашу прекрасную поездку в Эвору. Вы, Лилиана, должны были бы быть послом (не иначе!), поскольку Вы наделены таким даром, как человеческое обаяние, что так дорого при общении с людьми.

Надеемся на новую встречу.

Вержилио.

Февраль 1981.

Дорогая Лилиана!

Вчера, наконец, пришли экземпляры моей книги, вышедшие в издательстве «Художественная литература». Они меня очень порадовали. Теперь я буду прочитан русским читателем, который хорошо знаком с Достоевским. Ведь именно книгам Достоевского я обязан тем, что реализовался как писатель.

Жаль, что не могу прочесть длинное предисловие к моей книге. Да, фотография моя в томе лучшая из всех, что я тебе выслал.

Большой привет тебе от Режины.

Апрель 1987.

Дорогая Лилиана,

Ну с Наморой все, как всегда: стоит мне получить публичное признание (я имею в виду выход в свет моего тома в серии «Мастера современной прозы» издательства «Радуга»), как Намора тут же организует публикацию в литературной газете Португалии о том, что его роман «Река печали» в переводе Лилианы Бреверн опубликован в советском журнале «Иностранная литература». А позже этот перевод выйдет в издательстве «Радуга», в серии «Мастера современной прозы». Это так?¹

Посылаю тебе вырезку из этой литературной газеты, в которой ко всему вышесказанному еще и добавляется, что роман «Река печали» опубликован и в ГДР, и в ФРГ. Вот так!

Вержилио.

¹ Перевод опубликован в журнале «Иностранная литература» (1987, № 3–5). В серии «Мастера современной прозы» вышел в 1988 г.

Ноябрь 1987.

Дорогая Лилиана,

Думаю, что ты задолжала мне письмо. Но пишу я. И пишу потому, что должен тебе сообщить, что буду сопровождать президента Португалии (Марио Соареша) в поездке в Советский Союз. Президент республики сделал мне это предложение, и я его принял. Честно говоря, меня очень пугает холод, который стоит у вас в ноябре, и тяжелое пальто, которое я вынужден буду надеть. Но поездка столь соблазнительна, что я все-таки согласился. Вот почему я опережаю твое письмо. Так что, мы скоро встретимся в нашем Посольстве и поговорим.

Вержилио.

Посольство Португалии.

По случаю визита Его Превосходительства

Президента Португальской Республики Доктора Марио Соареша в Советский Союз Посол Португалии в СССР имеет честь пригласить Ваше Превосходительство на торжественное открытие выставки современной португальской живописи, состоящей из коллекции картин, которые принадлежат «Центру современного искусства» Фонда Калуште Гулбенкяна. Открытие состоится в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 25 ноября 1987 года в 16 часов.

Его Превосходительство Президент Марио Соареш и его супруга будут присутствовать на торжественном открытии выставки.

Москва, 16 ноября 1987 года.

Вержилио Феррейра.
Лиссабон, Португалия,
декабрь 1994.

Дорогая Лилиана,

Только что получил твое письмо. И тут же, как получил, отправляю тебе ответ, как ты мне подсказала, с дипломатической почтой.

Я согласен на публикацию моей книги (тиражом в 10000 экз.) без получения гонорара. Если же этот тираж будет продан, думаю, будет справедливо оплатить мне (согласно авторскому праву) мой труд.

Желаю тебе, Юрию и внучкам счастливого Рождества и Нового года.

Вержилио.

Апрель 1995.

Дорогая Лилиана,

Давно тебе не писал, но в том вина не моя, болел. Я переговорил с Институтом Камозенса. Там мне сказали, что тебе нужно обратиться в наше Посольство в Москве, к советнику по культуре. Это вопрос его компетенции.

То, что ты мне пишешь о происходящем у вас в России, нас не удивляет. Все это мы знаем из наших газет, журналов и видим по телевизору. Кстати, мы видели по телевизору и тебя (передачу о тебе португальского ТВ). Ты хорошо выглядишь: молодая и красивая, ну просто звезда Голливуда! Возвращаясь к переменам в вашей стране, я считаю, что все это — результат многолетней коммунистической диктатуры. Но мы надеемся, что ваша великая страна возродится.

Твой друг
Вержилио.

Урбано Таварес Родригес.
Лиссабон, Португалия,
декабрь 1977.

Дорогая Лилиана,

Попытаюсь ответить на твои вопросы. Я тут попал в транспортную аварию. Ну и, приложив силу, повредил руку так, что несколько дней не мог писать.

Все время вспоминаю тебя с большой нежностью и дружбой. Но к делу, отвечаю на первый вопрос! Имеется в виду функционер — дипломированный юрист, который во времена фашизма всегда был на стороне своего хозяина. Теперь на второй... что касается слова *estaço*. Оно, как тебе известно, многозначно. Здесь... как бы это тебе сказать? Речь идет о конце связи (ну трудно... не знаю) между Густаво и Орхидеей.

Знаешь что... я даю тебе полное право на авторизованный перевод тех мест в моих новеллах, которые тебе покажутся неудобоваримыми. Вот так!

С Мануэлом Феррейрой я переговорил, напомним ему еще раз.

Твой самый большой друг,

Урбано.

Февраль 1978.

Дорогая Лилиана,

Получил три экземпляра антологии с моими новеллами. Благодарю тебя за все приложенные усилия по изданию этой книги, и за перевод моих новелл, и за соавторство в моих новеллах. Всегда помню, что сказал ваш советник по культуре Степан Мамонтов: у тебя, Урбано, «Смерть аиста» написана хорошо, но в переводе Лилианы читается много лучше.

Что касается здоровья Фернандо Наморы я не очень понял. То ли у него был гипертонический криз, то ли... какая-то аномалия.

Читаю Мальро и живу в свое удовольствие: солнце, море... поспеваю везде и всюду.

Мой тебе поцелуй,

Урбано.

Фернандо Намора.

Лиссабон, Португалия,

февраль 1978.

Уважаемый друг,

Совсем недавно, разговаривая с Урбано Таваресом Родригесом, я узнал, что кроме перевода новелл Урбано, Вы собираетесь издать антологию португальского рассказа. Но это оказалось ошибкой. Как понял я позже, то была антология, которая уже вышла в издательстве «Прогресс».

Однако это заблуждение дало мне повод написать Вам письмо о возможности создать на паритетных началах десяти томную библиотеку португальской прозы на русском языке в России и русской литературы на португальском языке в Португалии. Хотя для изданий подобных библиотек в Португалии не существует на сегодняшний день структуры, которая бы координировала согласованную работу издательств. Но в Португалии издаются произведения и Льва Толстого, и Горького, и Достоевского. И соответственно литературоведческие работы. Лично я написал работу о Льве Толстом.

Что же касается двух моих романов для предполагаемой библиотеки, то выбор их я предложил бы сделать Вам.

И последнее, Ваш португальский в письме просто поразителен: такая правильность, а главное — естественность речи. Мои поздравления!

С сердечным приветом,

Ф. Намора.

Сентябрь 1981.

Уважаемая Лилиана!

Не скрою, меня удивило Ваше молчание. Хотя я очень хорошо знаю, что наша работа подчас нас поглощает целиком, не давая отвлечься ни на секунду.

Меня очень порадовало известие, что «наш» роман «Хлеб и плевелы» скоро выйдет в свет, как и Ваше желание перевести другие мои романы. Вам ведь известно, что публикации для писателя и большой читательский спрос на его книги — огромный стимул для работы. Совсем недавно я узнал, что одна из моих книг будет издана в Индии (...). Очень рад, что Вы оценили по достоинству наш журнал «Литература, искусство, философия». Что касается «Современного португальского рассказа», то я получил письмо, написанное по-русски, в котором запрашивались права на публикацию рассказа «Родственник из Австралии». Естественно, я подписал бумагу.

Порадовался, что моя книга стоит в плане 1983 года.

С лучшими чувствами,

Ф. Намора.

Март 1983.

Лилиана,

Очень рад, что ваше издательство запланировало мой двухтомник, в который войдет и роман «Река печали». Состав двухтомника мне кажется очень интересным. Он представляет меня и как прозаика, и как поэта. Надо сказать, что у меня много неизданных стихов, которые я вам высылаю.

Ф. Намора.

Июнь 1984.

Дорогая Лилиана,

Я только что получил ваше письмо, а днем раньше — известие, что за роман «Река печали» мне присуждена Премия «Фиальо де Алмейды».

Представляю, как трудно было Вам перевести этот роман за такой короткий срок. Меня даже мучают угрызения совести. Очень надеюсь, что отпуск даст Вам возможность хорошо отдохнуть.

Ф. Намора.

Сентябрь 1984.

Лилиана!

Очень рад, что перевод моего романа «Река печали» уже в журнале «Иностранная литература».¹

Теперь о полученных мною премиях:

Премия «Фернандо Шинаглиа» — Союз писателей Бразилии.

Премия «Дона Диниса» — Фонд Дома Матеуса.

Премия «Фиальо де Алмейды» — Сообщество СОПЭМ.

Ф. Намора.

Февраль 1986.

Уважаемый друг!

Почему задерживается публикация романа «Река печали»? Очень хотел бы получить информацию относительно планов издания моего «Избранного в двух томах: названия произведений, порядок публикаций и даты. Ведь мне вот-вот исполнится семьдесят лет.

¹ См. сноску на стр. 367

Любопытно, что в Югославии уже готовы первые тома. Там меня издают в шести томах. В первых томах идут «Заметки врача», «Река печали».

В мае месяце я еду на презентацию.

Я избран в Европейскую академию наук, искусств и литературы. Академия находится в Париже. Я буду вторым португальским писателем.

Жду ваших известий. Всего доброго в Новом году.

Ф. Намора.

Август 1988.

Зита Намора.

(жена Ф. Наморы)

Уважаемая сеньора Лилиана,

Только что получили вышедший в вашем издательстве двухтомник Фернандо. Очень, очень Вам признательны. И очень сожалею, что писать Вам вынуждена я, потому что состояние здоровья моего мужа тяжелое, и он писать Вам уже не может. Он очень страдает от невыносимых болей, и только морфий помогает ему на время забыться. Потом в минуту проблеска сознания Фернандо, увидя свой двухтомник у меня в руках, сказал мне: «Лилиана здесь, она присутствует при моей смерти». Двухтомник пришел в критический момент нашей совместной жизни. Этот момент очень, очень страшный.

Моя благодарность Вам и мои лучшие пожелания.

Зита Натора.

Мануэл де Сеабра.

Паред, Португалия,

март 1978.

Дорогой товарищ,

К сожалению перед моим отъездом из Москвы мы не повидались. Но, как мы с Вами договаривались, я все

же успел отдать Елене Вольф конверт с материалом для статьи о моем визите в журнал «Иностранная литература»¹. Надеюсь, он дошел и вовремя. Сейчас я перевожу пьесу Вампилова «Утиная охота», которую успел посмотреть в Москве. Работа не без риска. Сумею ли заинтересовать хоть один из португальских театров ее постановкой? Если нет, то моя работа коту под хвост. Но все-таки надеюсь (...).

Сегодня отправил вам Португальский словарь синонимов, который забыл вам отдать. Послал заказной почтой на издательство «Художественная литература», чтобы не пропал (...). Надо сказать, что за восемь лет пересылки книг из Португалии в Советский Союз у меня пропал только один текст. До апреля месяца буду в Португалии, потом уеду в Барселону.

Мой барселонский адрес: Каррер де Байлен, 56.3. Барселона-9. Испания. Тел. 245-01-63.

Мануэл.

Апрель 1978.

Дорогой товарищ,

Вчера мы с Урбано были в Ассоциации португальских писателей, где шли перевыборы в ее органы управления (в которые я вошел), и смеялись по поводу случающихся ошибок в переводах, когда листали его книгу новелл. Нет, нет, не в ваших! Естественно, эти ошибки подчас неизбежны, так что вы, не колеблясь, всегда обращайтесь ко мне с любым вопросом. А сегодня я обращаюсь к вам со своим вопросом: в поэме Маяковского «Конь-огонь» есть две строки, которые я не понимаю:

«на спину сплетённому,
Помогай Буденному».

¹ В №11 за 1978 г. журнала, в рамках дискуссии о проблемах перевода было опубликовано выступление М. де Сеабры «Traduttore, traditore?».

Если можете, объясните, пожалуйста, что такое Буденному? Заранее благодарен (...).

Что касается вашей поездки на стажировку в Лиссабонский университет — это очень хорошо! Вам понравится. Ведь в Португалии вы уже были? Если вы меня предупредите, я вас встречу в аэропорту, а если это не случится по какой-нибудь причине, звоните: тел. 247-54-15. Я живу под Лиссабоном. (...) Скоро отправлю вам свои переводы с русского, в том числе «Господа Головлевы».

Мануэл.

Май 1978.

Дорогой товарищ,

Получил вашу открытку из Крыма и надеюсь, что вы там хорошо отдыхаете от работы в издательстве и от московской зимы. Благодарю за три книги, которые вы по моей просьбе мне прислали: «Как закалялась сталь», «Виринея» и «Цемент». Хочу надеяться, что сумею компенсировать ваши затраты. Что необходимо вам из Португалии? Не стесняйтесь сказать! И еще благодарю за разъяснения о Буденном. В своем переводе я опустил его имя, потому что португальским детям будет трудно понять, кто он такой. А так, как сделал я, думаю, будет понятно:

Красавец конь гнедой,
помогай революции.

Несколько дней назад я разговаривал с Наморой о вас. Если все-таки вы поедете в Лиссабонский университет, напишите мне или сообщите по телефону название отеля и номер, в котором остановитесь.

Сердечный привет,

Мануэл.

Февраль 1979.

Дорогой друг,

Простите, что только сегодня посылаю вам свои годоводные поздравления. Я не сделал это раньше, потому что был в Барселоне, где на каталанском языке вышел мой перевод поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Сейчас перевожу «Целину» Брежнева. Получили ли Вы Словарь синонимов? Что из книг привезти в июне? В июне я буду в Москве. Меня пригласили на Пушкинский день в Михайловское.

Лучшие пожелания от моей жены,

Мануэл.

Май 1979.

Дорогой друг,

Я так и не был в Москве в июне месяце, но, кажется, поеду на Пятую встречу переводчиков советской литературы, которая продлится с 30 июля по 8 августа. Что вам привезти из книг? Сегодня высылаю Вам Первый том произведений В. Маяковского, который я составил (и перевел на португальский язык), основываясь на трехтомнике, который вы привезли мне в прошлом году.

До скорого,

Мануэл.

Август 1980.

Дорогой друг,

Один мой знакомый из Москвы, который был у меня в гостях в Португалии, сказал мне, что в журнале «Иностранная литература», где меня принимали в мой

последний приезд, была опубликована встреча со мной. Это так? Либиана, попросите издателей журнала выслать мне один экземпляр этого номера. Я очень хотел бы прочесть. И еще он сказал, что якобы и мой роман тоже опубликован в этом журнале¹. Со мной о возможности издания моего романа беседовала в журнале Татьяна Кудрявцева, которой я и выслал рукопись. В Португалии этот роман намечено издать в 1982 году.

В будущем году я снова должен быть в Советском Союзе, но не на конгрессе и достаточно долго. Надеюсь, увидимся.

Мануэл.

¹ Эти публикации в журнале не появились

Об авторе

Лилиана Иоганнес-Эдуардовна Бреверн – переводчица португальской и бразильской художественной литературы, член Союза писателей СССР с 1988 года. С 1963 года по 1989 год работала редактором португальской, бразильской, испанской и латиноамериканской литературы в издательстве «Художественная литература».

В 2004 году за многолетний переводческий труд и издание на русском языке португальской литературы награждена президентом Португалии Жорже Сампайо почетным орденом Инфанта Дона Энрике в чине офицера.

Библиография

В переводах Л. Бреверн вышли произведения португальских и бразильских писателей XIX и XX веков:

Алберто Ранжел, Лима Баррето, Грасилиано Рамос [Новеллы] // «Под небом Южного Креста»: Бразильская новелла XIX–XX вв. – «Художественная литература», 1968.

Урбано Таварес Родригес. Рассказы: «Камнем в болото», «Смерть аиста» // Иностранная литература, 1975, № 8.

Жозе Мария Эса де Кейрош. Новеллы. — «Художественная литература», 1976.

В переводе Л. Бреверн: «Клад», «Жозе Матиас», «Совершенство».

Грасилиано Рамос. «Сан-Бернардо»: Роман и рассказы. — «Художественная литература», 1977

В переводе Л. Бреверн: Роман (перевод в соавторстве с И. Чежеговой) и рассказ «Свидетель».

Илзе Лоза, Алвес Редол, Вержилио Феррейра, Аугустина Бесса Луис, Урбано Таварес Родригес [Новеллы] // Современная португальская новелла. — «Прогресс», 1977.

Урбано Таварес Родригес. Смерть аиста: Рассказы. — «Правда», 1977. (Б-ка журнала «Огонек»).

Урбано Таварес Родригес. «Суррогат счастья»: Новеллы. — «Художественная литература», 1977.

В переводе Л. Бреверн: «Камнем в болото», «Предрассветные птицы», «Даже если так будет...», «Ну что ж, посмотрим...», «Дядя Бог», «Смерть аиста», «Когда скрывают тучи», «Агония».

Мануэл да Фонсека. «Посеешь ветер» // Современная португальская повесть. — «Художественная литература», 1979.

«Сказки и легенды Португалии». — «Художественная литература», 1980.

В числе переводчиков также Т. Коробкина, И. Чежегова и др.

Жоржи Амаду. «История любви Полосатого кота и сеньориты Ласточки» // Иностранная литература, 1980. № 12.

Вержилио Феррейра [Романы]. — «Художественная литература», 1980.

В переводе Л. Бреверн — роман «Явление».

Жозе Ж. Вейга. «Тени бородатых королей»: Повесть. — «Художественная литература», 1981.

Фернандо Намора. «Хлеб и плевелы»: Роман. — «Прогресс», 1981.

Алвес Редол [Романы]. — «Радуга», 1982. (Серия «Мастера современной прозы»).

В переводе Л. Бреверн — роман «Яма слепых».

Вержилио Феррейра, Илзе Лоза, Урбано Таварес Родригес, Алтино де Тожал [Рассказы] // Современный португальский рассказ. — «Художественная литература», 1983.

Жозе Мария Эса де Кейрош. Избранные произведения: В 2 т. — «Художественная литература», 1985.

В переводе Л. Бреверн — повесть «Мандарин» и рассказы.

Освалдо Франса Жуниор. «Бразилец Жорже»: Повесть // Лит. альманах «Латинская Америка». Выпуск 3. — «Художественная литература», 1985.

«Сказки народов мира». — Смоленск, 1985.

«Сказки народов мира». — «Детгиз», 1985.

Вержилио Феррейра. «Явление», «Краткая радость»: Романы и рассказы («Всего лишь люди», «Письмо», «Звезда») — «Радуга», 1986. (Серия «Мастера современной прозы»).

Фернандо Намора. Избранные произведения: В 2 т. — «Художественная литература», 1988.

В переводе Л. Бреверн — романы «Река печали» и «Хлеб и плевелы».

Виторино Немезио. «Непогода в проливе»: Роман. — «Художественная литература», 1988.

Жозе Мария Эса де Кейрош. «Кузен Базилио», «Город и горы»: Романы; «Мандарин»: Повесть. — «АСТ», 2002. (Серия «Мировая классика»).

Жозе Родригес Мигейс. «Николай! Николай!»: Роман; рассказы; Вступительное «Слово переводчика». — «Аграф», 2000.

Жоржи Амаду. «Тереза Батиста, уставшая воевать»: Роман. — «АСТ», 2003. (Серия «Мировая классика»).

Вержилио Феррейра. «Во имя земли»: Роман; Вступительное «Слово переводчика». — Б.С.Г.-Пресс, 2003.

Жоржи Амаду. «Тереза Батиста, уставшая воевать»: Роман. «АСТ», 2004. (Серия «Классическая и современная проза»).

Жоржи Амаду. «История любви Полосатого кота и сеньориты Ласточки»: на русском и португальском языках. — «Центр книги Рудомино», 2012.

Вержилио Феррейра. «Утраченное утро жизни». — «Центр книги Рудомино», 2014.

Литературно-художественное издание 12+

Лилиана Бреверн
СУДЬБА, СУДЬБОЮ, О СУДЬБЕ...

Ответственный редактор
Г.С. Чередов

Художественный редактор
С.А. Виноградова

Младший редактор
А.С. Куняев

Оператор компьютерной верстки
А.Ю. Бирюков

Оператор компьютерной
верстки переплета
и блока иллюстраций
Е.В. Мелентьева

Технолог
М.С. Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»
109189, Москва, ул. Никольямская, д. 1
Отдел реализации издательства: (495) 915-31-00
e-mail: synkova@libfl.ru, amin@libfl.ru
<http://www.facebook.com/CentreBook>

Технологическое сопровождение ООО «Бослен»
<http://www.boslen.ru>; e-mail: info@boslen.ru

Подписано в печать 11.06.2014
Формат 84×108/32
Тираж 300 экз.
Заказ № 3248.

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10

